

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ-АВГУСТ

"НАУКА"

МОСКВА - 1997

Степанов Ю.С. (Москва). Непарадигматические передвижения ударения в индоевропейском (I. Вокруг законов Ваккернагеля и Лескина).....	5
Кибрик А.Е. (Москва). Иерархии, роли, нули, маркированность и "аномальная" упаковка грамматической семантики.....	27
Живов В.М. (Москва). Заметки об историческом синтаксисе русского языка (По поводу книги: G. Hüttl-Folter. Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen. Böhlau Verlag. Wien; Köln; Weimar, 1996. 319 S.).....	58
Ясаи Л. (Будапешт). О принципах выделения видовой пары в русском языке.....	70
Филимонова Е.Ю. (Москва). К вопросу об иерархическом упорядочивании лиц. Выделенность 2-го лица. Гипотеза языковой корреляции.....	85
Пиррайн Е. (Мюнстер). "Область метафорического отображения" – метафора – метафорическая модель (на материале фразеологии западно-мюнстерландского диалекта).....	92
Потапова Р.К., Проккопенко С.В. (Москва). К опыту изучения семантико-синтаксической ритмизации текстов художественной прозы.....	101
Воркачев С.Г. (Краснодар). Безразличие как этносемантическая характеристика личности: опыт сопоставительной паремиологии.....	115

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Шелестюк Е.В. (Москва). О лингвистическом исследовании символа (обзор литературы).....	125
--	-----

Рецензии

Гак В.Г. (Москва). <i>Т.А. Репина</i> . Сравнительная типология романских языков (французский, итальянский, испанский, португальский, румынский).....	143
Тихонов А.Н. (Москва). Контактологический энциклопедический словарь-справочник. Выпуск I: Северный регион. Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в контактах с русским языком.....	147
Бояркина В.Д. (С.-Петербург). Национальные лексико-фразеологические фонды.....	150
Вендина Т.И. (Москва). <i>Л.П. Комягина</i> . Лексический атлас Архангельской области.....	153

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов,
А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик,

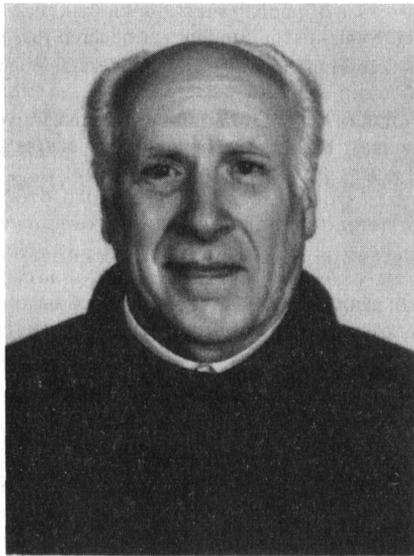
Г.А. Климов (отв. секретарь), Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров,

В.М. Солнцев, О.Н. Трубачев (главный редактор), А.М. Щербак

Зав. отделами Л.Л. Агафонова, М.М. Маковский, Г.В. Строкова

Зав. редакцией Н.В. Ганнус

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2.
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-74-42



29 апреля 1997 года скончался

ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ КЛИМОВ

ответственный секретарь редколлегии, отдавший двадцать шесть лет своей жизни делу издания журнала. Все, кто знал наши "Вопросы" с близкого расстояния, безусловно знают, сколь важно было участие Климова, с какой неизменной ответственностью и высочайшим профессионализмом он делал свою работу. Климов-ученый – совершенно особая тема, и о ней – не здесь. Он был в наших глазах эталоном человеческой корректности, столь дефицитной в нынешней жизни. Таким и запомнится.

© 1997 г. Ю.С. СТЕПАНОВ

**НЕПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ УДАРЕНИЯ В ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ
(I. Вокруг законов Ваккернагеля и Лескина)***

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

В исходном (в рамках данной работы) пункте термины "ударение" и "передвижение ударения" берутся в их общем, генерализующем значении: не предпринимается ни вопрос о природе ударения – тоновое оно, музыкальное или динамическое; ни вопрос о природе "передвижения" – засвидетельствовано ли оно реально в диахронии между разными временными срезами одного диалекта (языка) или же как соотношение между синхронно наличными формами одного диалекта, как, например, русск. *под бóком* – *под боком*. (Таким образом мы стремимся и здесь сохранить принцип, которого давно уже придерживаемся в общей теории языка, – "принцип независимости состояний": выделяемые параметры в исходной точке должны рассматриваться как независимые, вплоть до доказательства обратного, т.е. их связей [Степанов 1975]. Но, конечно, и в этой области есть свои общепринятые презумпции, или "аксиомы", например, следующая: "Подобно тому как ударение новогреческого языка обычно занимает место древнегреческого тона, так и ударение литовского, русского, сербского и других языков донныне занимает место тона, наличествовавшего в общебалтийском и общеславянском" [Мейе 1938: 162]. В наши дни, на глазах, возникает новый подход с новой аксиоматикой, которая обсуждается и одновременно формируется в таких работах, как [Николаева 1993].) По мере изложения генерализующие термины уточняются и заменяются более точными раздельными.

В дальнейшем мы намерены сопоставить закон Лескина с законами Шахматова, Вандриеса и другими, характеризующимися по крайней мере одной общей чертой: их языковым материалом является с д в и г ударения "в л е в о", от последнего слога слова или словосочетания к началу. В достаточно общей форме вопрос об их сходстве не ставился, хотя вообще сходства отмечались, причем весьма по-разному. Либо как чисто типологические, так что, например, "слоговые интонации", связанные с этими законами, рассматривались как исторически независимые [Kuryłowicz 1934]. Либо сходства как бы сами собой подразумеваются как некие расплывчатые типолого-генетические параллели [Collinge 1985]. Здесь в предлагаемой формулировке "сдвиг ударения влево" рассматривается как первично наблюдаемый факт, в его, так сказать, феноменологическом облике. Что касается его квалификации, отношения к типологии, к генетически унаследованным акцентуационным парадигмам, и т.д., то это как раз то, что предстоит определить.

Таким образом, нас прежде всего будет занимать вопрос о методе, т.е. о способе, каким наблюдаемые различные факты можно уложить в достаточно единое

* В основе статьи лежит доклад, прочитанный на "Первой всероссийской конференции по проблемам сравнительно-исторической индоевропеистики", 3–6 февраля 1997, МГУ. Другая часть этого доклада публикуется в материалах названной конференции (Научные доклады филологического факультета МГУ. Вып. 2. 1997).

теоретическое описание, сделать их теоретически сопоставимыми, сравнимыми. (После чего можно будет более строго поставить вопрос об их сходной или, напротив, несходной природе.)

В своем подходе мы опираемся на наблюдения над живыми языками, прежде всего над современными литовскими диалектами [Степанов 1972], а также на наблюдения над живой речью, прежде всего русской, в ее отношении к стиху – на современные, "неклассические" теории стиха. Две эти базовые установки подробно рассматриваются ниже (пункты II и IV–VI).

При таком, "непарадигматическом", подходе первичными данными являются слог, просодия слова (просодическая схема слова, суперсегментные характеристики слова), просодия фразы, а не морфема в ее интонационном устройстве (не "морфема как носитель интонации – акута, циркумфлекса и т.д."). Поэтому данный подход совершенно отличен от подхода так называемой "парадигматической акцентологии" [В.А. Дыбо, П. Гард, Б. Стунджа (Stundžia) и др.].

Именно этот пункт является центральным для разграничения двух названных подходов. "Парадигматическая акцентология" опирается на "аксиому", сформулированную Ф. де Соссюром на материале литовского языка: интонируемый внутренний отрезок слова, содержащий долгий гласный, в литовском языке определен самим фактом в своей интонации (так же, как он определен, например, в своем количестве и тембре); интонация будет всегда акутовой, если только она не изменилась в силу какого-то особого обстоятельства. "Интонируемый отрезок" ("tranche intonable") де Соссюром, в сущности, не определен, но ближе всего сопоставляется у самого автора со слогом, иногда – только с гласным в пределах слога и в соответствии с этим имеет второе название "вокалический отрезок" ("tranche vocalique") [Соссюр 1977а: 599–600]. Поскольку исходное рассуждение проведено применительно к "внутренним" интонируемым отрезкам, то точно таким же образом (и так же без авторского определения) эти отрезки оказываются ближе всего к понятию "корневая морфема". В дальнейшем так и стало пониматься все исходное построение де Соссюра, а именно: корневые морфемы литовского языка имманентно обладают каждая своей интонацией, точно так же, как они обладают своим набором фонем.

Однако все дальнейшее исследование литовской акцентуации самим де Соссюром (в частности, и его "закон", т.е. "закон де Соссюра") проводится применительно не к морфемам, а к слогам. Между тем никаких корреляций между морфемой и слогом в литовском языке, да и вообще в индоевропейских, в рамках "парадигматической акцентологии" не устанавливалось. Таким образом, "аксиома" де Соссюра является достаточно априорным и вместе с тем дерзко "сильным" утверждением.

(Существенно иначе трактуется, например, закон Лескина в интерпретации де Соссюра сравнительно с авторской, лескиновской. Сравним: у А. Лескина: "Правило гласит: из исконных долгих конечных слогов слоги с циркумфлексным ударением сохранили старую долготу, слоги же с акутовым ударением сократились" – "Die Regel lautet: von den ursprünglichen langen Endsilben haben die mit geschliffener Betonung die alte Länge bewahrt, die mit gestossener aber verkürzt" [Leskien 1881: 189]. У Ф. де Соссюра: "Прямым следствием или, скорее, предпосылкой закона Лескина о сокращении гласных в конечных слогах является тот факт, что восходящая и нисходящая интонации присущи (или были присущи в определенный момент) долгим безударным гласным в той же мере, как и долгим ударным гласным. Конечные гласные с нисходящей интонацией сокращаются, а конечные гласные с восходящей интонацией сохраняют свое количество независимо от места ударения" [Соссюр 1977а: 598]. Нашу трактовку закона Лескина, которая более близка к авторской, см. ниже.)

Далее в "парадигматической акцентологии" роль корневой морфемы (уже вовсе безотносительно к слогу) все более гипостазуруется, ср.: "Тот факт, что традиционные акцентные типы производных определяют выбор акцентных типов производных, свидетельствует о том, что именно корневой морфеме (а не основе или слову в целом) следует приписать некое качество – "валентность", определявшее выбор акцент-

ного типа..." [Дыбо 1981: 9], так же [Stundžia 1995] ("просодия слова априори исчислима").

Между тем, с точки зрения "непарадигматической акцентологии" все эти положения могут быть прочитаны ровно наоборот: связь между акцентным типом производного слова и интонацией корневой морфемы определяется словообразовательным типом, словообразовательной моделью слова как целого и т.п. Исходное положение де Соссюра "морфема имманентно несет в себе интонацию, так же, как она несет в себе свой состав фонем" точно так же заменимо на противоположное: определение фонемы является производным от слога, следовательно – от слогового устройства слова в целом (принцип: "зависимость понятия фонемы от понятия слога", – см. [Степанов 1974; Степанов, Эдельман 1976]). И т.д. Сама базовая мера "интонируемый отрезок" не приравнивается исключительно к слогу, ни тем более только к гласному в пределах слога, но может совпадать с некоторой промежуточной единицей между слогом и словом [Николаева 1993: 25].

Итак, рассматриваемые нами сдвиги ударения не зависят от акцентных парадигм, в том смысле, что последние не являются их источниками, хотя часто выступают в качестве упорядочивающих рамок. Напротив, эти сдвиги связаны с принципами слога-деления и вообще слогового устройства, существующими в данном языке, т.е. с тем, является ли данный язык "слогосчитающим", "моросчитающим" или некоторым образом совмещает оба эти принципа.

Что касается самых общих причин названных сдвигов, то здесь можно высказать лишь предварительную гипотезу. Эти причины, по-видимому, двух типов – внешние и внутренние, внутриязыковые. К внешним относится прежде всего влияние субстрата – так в латышском, в диалектах литовского, в эолийских диалектах древнегреческого. (О механизме таких акцентных взаимодействий можно получить представление из случая, рассмотренного Р. Якобсоном, – один русский диалект в карельском окружении [Jakobson 1962b: 239].)

Но с внешними причинами гармонируют, их "допускают" внутренние факторы, которые могут иметь и вполне самостоятельное воздействие. Мы имеем в виду такую особенность индоевропейского слова и индоевропейской фразы, как их тенденцию к "сильной точке интенсивности" в своей ритмической организации. В рассматриваемом нами материале получает обобщение идея, спорадически высказывавшаяся разными исследователями как применительно к слову [Vendryes 1902; Булаховский 1947: 162; Герценберг 1979: 37; Николаева 1992] (в последней работе особенно четкая, резюмирующая формулировка), так и применительно к фразе [Wackernagel 1892; Николаева 1996].

Несколько предварительных примеров разъяснят общий характер нашей работы.

1. П а д е ж н а я м е т а т о н и я. В литературном литовском языке противопоставлены, как форма с накоренным ударением форме с ударением на окончании, *jáunas* Им. ед. муж. "молодой" – *jaunà* Им. ед. жен. "молодая"; в некоторых диалектах, где имеется оттягивание ударения, форма муж. рода остается такой же, а форма жен. рода приобретает вид *jaiņa*, т.е. противопоставляется первой как форма с циркумфлексом форме с акутом (хотя здесь обе имеют накоренное ударение). Это пример падежной метатонии. Подобные же случаи имеются, как известно, в классическом (аттическом) греческом: ἀγών "собрание" Им. ед. – ἀγῶνος Род. ед. муж.; δοτήρ "раздатчик" – δοτήρος Род.; μήτηρ "мать" – μήτηρ Зват., и т.п. Не говоря о внешнем сходстве, в обоих языках сходны и глубинные основания этого явления: в литовском в этм диалекте передвинутое ударение не может быть сдвинуто справа налево более чем на одну мору; в греческом – вторая мора, считая от конца слова для ударения, по удачному выражению А. Мейе, "омертвлена". Иначе говоря, причина и там и тут лежит в "морном" строении слова в обоих этих языках.

Напомним, однако, что расположение морных вершин в слоговых интонациях этих двух языков "обратное": в греческом акут – сильноконечный (◡◡), циркумфлекс –

сильноначальный (∪ ∪); в литовском как раз наоборот: акут ∪ ∪, циркумфлекс ∪ ∪ (более точную формулировку см. ниже).

Уже из этого элементарного сопоставления вытекают следующие "дескриптивные выводы", важные для техники описания фактов.

2. **Несовпадение терминологий.** Вообще, при описании индоевропейских слоговых интонаций используются две пары противопоставленных дифференциальных признаков – либо одна (I), либо другая (II), но сами пары часто взаимозаменяются. В следующей таблице (табл. 1) даем их слева в русских терминах, а далее – в обычных соответствиях, т.е. как бы в "переводах", на других языках:

Таблица 1

	Русск.	Нем.	Франц.	Англ.	Литов ¹ .	Междунар.
I	1. Резкий (острый)	Stosston	rude	rude		Акут
	2. Нерезкий (плавный)	gestoßen Schleifston geschliffen	doux, douce	falling slurred		Циркумфл.
II	1. Сильноконечный (восходящий)	steigend	montante	rising	tvirtaḡalė	Акут
	2. Несильноконечный (сильноначальный, нисходящий, падающий)	fallend	descendant	falling	tvirtaprā dė	Циркумфлекс

¹В литовском соответствия "циркумфлекс" и "акут" - обратные (см. ниже).

Из этого сопоставления видно, что в разных традициях, использующих разные европейские языки, и даже у разных авторов, пишущих на одном языке, противопоставление акута и циркумфлекса описывается в разных системах: либо в терминах "резкий/плавный" (I), либо в терминах "сильноконечный/сильноначальный" (II). Это неизбежно чревато путаницей, пример чего находим даже в такой солидной обзорной работе, как книга У. Леманна [Lehmann 1996: 59]. Там и.-е. акут описывается как "falling accent" ("падающий"), хотя рядом дается нем. Stosston "резкий тон", а и.-е. циркумфлекс как "slurred accent" ("размытый"); между тем в европейской традиции термин "падающий", или "нисходящий", закрепился за циркумфлексом, а к акуту во всех его разновидностях (т.е. также и к "нео-акуту, новому акуту") применяется только термин "rising" ("восходящий"). Термины "акут" и "циркумфлекс", не влекущие никаких фонетических ассоциаций, являющиеся лишь именами значков (соответственно, ˘ – акут; ˘ – или ˘ – циркумфлекс) остаются поэтому универсальными и предпочтительными; они применимы также к литовскому: в то время как "акут как восходящий" здесь не подходит, сам термин "акут" (как "резкий") остается (см. табл. 1).

Итак, применительно к нашему дальнейшему изложению эти термины означают: 1) **древнегреческий**: акут – восходящая слоговая интонация с иктусом (сильной долей) на второй мере гласного, если последний рассматривается сам по себе, или, что то же, на первой мере гласного, считая "справа", от конца слова; одновременно это интонация резкая (во всяком случае, более резкая, чем циркумфлекс); **циркумфлекс** – нисходящая слоговая интонация с иктусом на первой мере гласного, считая "слева", или на "второй", считая "справа", от конца слова; это интонация плавная; 2) **литовский**: акут – резкая падающая интонация с иктусом на первой мере "слева" (на второй "справа"); **циркумфлекс** – плавная восходяще-нисходящая интонация с иктусом при переходе от одной меры к другой. Следует подчеркнуть, что это описание является теоретическим конструктом, весьма удобным, между тем как фонетическая реализация в современном литовском не укладывается в "двухморную" схему. На территории Литвы в диалектах и вариантах литературного языка слоговые интонации весьма вариативны и различительным признаком акута и циркумфлекса является относительный момент появления пика

интенсивности, т.е. различительная сила приходится, по-видимому, на начальную или срединную часть слоговой интонации ("первую слева" долю) (см. [Гаршва 1977; Pakerys 1982: 152]).

Как в литовском, так и в древнегреческом, циркумфлекс – более "протяженная", фонетически более "вязкая" интонация, что неоднократно побуждало исследователей описывать ее не как "двухморную", а как более длительную, может быть даже "трехморную".

3. "Моросчитающие" языки. Этим явлением много занимались основатели современной фонологии "пражцы" Н.С. Трубецкой и Р. Jakobson (см., например [Jakobson 1962 a]); понятие введено Н.С. Трубецким в его "Основах фонологии" [Трубецкой 1960: 216–217; 231], но нельзя сказать, что введено с полной ясностью. Автор рассматривает языки, в которых слогообразующие гласные или сонанты имеют неодинаковую характеристику на всей своей длине: одна доля их отличается от другой, например, по высоте тона, и тем самым один такой гласный (или сонант) может быть противопоставлен другому; такое противопоставление приобретает смыслоразличительную значимость. «Геминированную, или в более общем виде – многочленную, значимость долгих слогоносителей можно назвать "арифметическим пониманием количества", а языки, в которых обнаруживается такое понимание, – "моросчитающими языками" (поскольку минимальная просодическая единица в таких языках не всегда совпадает со слогом). Этим языкам противопоставляются "слогосчитающие" языки, где просодические единицы всегда совпадают со слогом и где долгий слогоноситель (если только он вообще существует) должен расцениваться как целостная единица, а не как сумма ряда более дробных единиц» [Трубецкой 1960: 216–217].

Неясность здесь состоит в том, что при таком понимании противопоставленными единицами оказываются моры как признаки гласного (или сонанта). Но ведь в других случаях противопоставленными фонологическими единицами выступают не признаки фонем (Merkmale; features), а сами фонемы в целом (например, в русском противопоставлены [т'] и [т], а не "палатальность" и "ее отсутствие"). Кроме того, противопоставление по морам возможно не только для гласных, но и для согласных, – например, в русском *подать* и *поддать* различаются своими "д" – одноморным в первом случае и двухморным во втором.

Поэтому признак "моросчитающий", как он введен Н.С. Трубецким, мы отнесем не к языку в целом, а только к его системе гласных, т.е. будем считать, что язык с такими особенностями является "языком с моросчитающей системой гласных". Литовский мы не относим к "моросчитающим" языкам, но к языкам с "моросчитающей системой гласных".

Последовательно "моросчитающим" языком мы будем считать такой язык, в котором "морный признак" относится и к системе гласных, и к системе согласных (хотя бы и не ко всем согласным), где, следовательно, имеют место моро-слоговые явления "растяжения / сокращения". Таков древнегреческий и, по-видимому, в несколько более слабой степени древнеиндийский, особенно ведийский. Конкретным языковым примером "растяжения" может служить греч. $\tau\upsilon\beta\epsilon\iota\varsigma$ из $^*\tau\upsilon\beta\epsilon\upsilon\tau\varsigma$ прич. акт. наст. вр. "кладущий". (В учебнике С.И. Соболевского [Соболевский 1948: Указатель] подобные явления вводятся под двумя терминами – "растяжения" и "удлинения" без четкой разницы. В новейшем учебнике [Славянская 1996: Грамм. указатель] выделяется "заместительное удлинение", как в приведенном примере, но зато рубрикации простого "удлинения" и "растяжения" потеряны. Мы, как это сделано в нашей книге [Степанов 1975: 155], будем стараться последовательно различать "удлинения" – продления гласного без изменения тембра, например, $\epsilon \rightarrow \eta$, и "растяжения", или "заместительные удлинения", обычно при "выпадении" согласных в пределах слога, – с изменением тембра, например, $\epsilon \rightarrow \epsilon\iota$, как в вышеприведенном примере. Эти понятия, как и их различение, важны для интерпретации многих фонетических явлений, например, закона Остгофа.)

II. ПРИНЦИП "НАБЛЮДЕНИЕ НАД ЖИВЫМИ ЯЗЫКАМИ". ЛИТОВСКИЙ ЯЗЫК

Материал явлений и законов, названных в заголовке, относится в основном к трем ареалам индоевропейской языковой общности – 1) балтийскому, прежде всего литовскому; 2) славянскому; 3) древнегреческому. В данной статье используется главным образом литовский и древнегреческий. Таким образом литовский язык важен для нас в двух отношениях: в методическом – он прямо отвечает требованию "наблюдать живые языки", в "источниковедческом" – он поставляет обширную базу фактов.

1. Просодические особенности литовского слова. В литовском слове прежде всего обращает на себя внимание его пластичность: просодический облик слова изменчив по диалектам и гибок в литературном языке. В литературном языке просодическим центром слова является ударный слог, несущий на себе отчетливо выраженную слоговую интонацию (акут или циркумфлекс в их выше характеризованном смысле), но в определенной мере по отношению к ударному слогу выравниваются и все остальные слоги. К. Буга так описывает это явление. Возьмем, например, слово *vėgėlė* "налим" с ударением на последнем слоге (т.е. в форме Им. ед.); "все предударные слоги, т.е. *vė* и *gė*, имеют такую же интонацию, как и ударный *lė*, только более слабо выраженную" [Būga 1961: 19]. Но в Им. мн. то же слово имеет ударение на первом слоге и сильноначальную интонацию (т.е. акутовую в литовском смысле): *vėgėlės*. Используя два знака, эти две формы можно записать так: *vėgėl'ė*, но *vėgėlēs*, иными словами, они различаются интонациями всех своих слогов, как ударных (это основное различие), так и безударных (это сопровождающее, индуцированное) различие.

Пример К. Буги, однако, не вполне ясен и даже двусмысленен. Во-первых, Буга записывает Им. мн. указанного слова с интонацией акута на первом слоге, в то время как современные нормативные словари дают здесь интонацию циркумфлекса, т.е. *vėgėlės* против *vėgėlēs* у Буги. Во-вторых, поэтому из этого примера неясно, выравниваются ли интонации по и н т о н а ц и и ударного слога или же только по н а п р а в л е н и ю к м е с т у ударного слога. Первый случай сам К. Буга не рассматривает, и мы говорим здесь об этом лишь как о чисто теоретической возможности. Однако в истории литуанистики известны факты, когда такая возможность могла быть принята во внимание. Так, например, Л. Ельмслев сформулировал закономерность, согласно которой "всякий ударный слог принимает интонацию непосредственно следующего за ним слога (т.е. слога "справа". – Ю.С.)" [Hjelmslev 1932, 5 и 234]. Эта закономерность, если она действительно подтвердится на достаточном материале (что, кажется, до сих пор не обследовано), может принадлежать, конечно, только к области живой, актуальной деривации, словопроизводства и, следовательно, относиться к сфере м е т а т о н и и. Но примеры в таком случае могли бы быть очень разнообразны: 1) *kója* → *pakōjui* "нога" → "нога в ногу" (наречие); *pakōjė* "место у ног, под ногами"; при интонации суффиксальных элементов-*ũ* (*pakeliũ*), *-ė* (*garbė*); 2) *ėsti*, *ėda* "есть, ест" → *ė~desis* "корм" и т.д. Обычно метатония происходит так, что акут заменяется циркумфлексом, но правило Ельмслева (или, как некоторые говорят, "закон Ельмслева") позволяет объяснить и такой редкий случай обратного, как *garbė~* → *garbė' myla* "честь" → "честолюбие", который в ином контексте рассматривается также Е. Куриловичем [Kurýłowicz 1934: 26]. Метатония вообще – это мена интонации в одном корне, принадлежащем двум разным словам – исходному и производному, т.е. явление, лежащее в плане парадигматики. Здесь же перед нами метатония, определенная дополнительным условием – гармонией получающейся новой интонации с интонациями других слогов того же слова, т.е. явлением синтагматики, что можно было бы назвать а с с и м и л я ц и е й по интонации соседних слогов.

Второй случай, о котором говорит пример К. Буги (и на этот раз и сам Буга), иной: интонации безударных слогов выравниваются по н а п р а в л е н и ю к ударному

Типы оттягивания ударения в аукштайтских диалектах (непрерывная градуальная классификация)

№ зоны	Схема оттягивания (для двухсложных слов)	Пример	Населенные пункты
I	<p>Предпослед- Последний ний слог слог</p> <p>— ← ◡</p> <p>Под долгим здесь понимается только собственно долгий и <i>ie, io</i> но не: <i>ai, au, ei, ui, ar, al, am, an</i> и т. п.</p>	<p>^s<i>mėsa</i> < <i>mėsà</i></p> <p>^s<i>plīta</i> < <i>plytà</i></p> <p>^s<i>kiemu</i> < <i>kiemù</i></p> <p>но: <i>sausà, laukùs, tvarkà</i></p>	Palomenė Pabaiškas Bagaslaviškis Gelvonai и др.
II	<p>— ← ◡</p>	<p><i>jaūna</i> < <i>jaunà</i> (при муж. роде <i>jáunas</i>)</p> <p><i>šalti</i> < <i>šaltù</i> (при <i>šáltas</i>), т.е. при оттягивании на акут возникает метатония. Именуются случаи двойного ударения: <i>laūkùs</i> < <i>laukiùs</i></p>	Uoginiai Debeikiai Palėvenė Troškūnai (зона двойного ударения: Svėdasai, Rimšė, Zarasai, Dusetos и др.)
III	<p>— ↘ ◡</p> <p>↙ ◡</p>	<p><i>saus̄s</i> < <i>saušà</i></p> <p>^s<i>vien̄s</i> < <i>vienà</i></p> <p><i>vis̄s</i> < <i>viš̄t̄</i></p> <p><i>šak̄s</i> < <i>šakà</i></p>	Небольшая зона: Biržai, Vabalninkas и др.
IV	<p>— ↘ ◡</p> <p>↙ ◡</p>	<p><i>gaid̄is</i> < <i>gaid̄ys</i></p> <p>но: <i>sakōs</i> < <i>sakūi</i></p> <p><i>šakà</i> < <i>šakà</i></p> <p>При оттягивании возникает метатония</p> <p><i>ḡyva</i> < <i>gyvà</i> (при <i>ḡyvas</i>)</p>	Только в нескольких деревнях около: Šaukėnai Panevėžys
V	<p>— ↘ ◡</p> <p>↙ ◡</p> <p>↖ ◡</p> <p>↗ ◡</p> <p>бывший долгий</p>	<p>^s<i>skiedros</i> < <i>skiedr̄os</i></p> <p><i>plāt̄os</i> < <i>plataūs</i></p>	Pašvitinys Šeduva Linkuva Vaškai и др.

языка). Ему предшествует в литуанистике краткая история. Первоначально, еще в 1930-е годы А. Салис предложил классифицировать явления оттягивания по тому слогу, на который происходит оттягивание; позднее В. Гринавецкис использовал вообще иную систему терминов; наконец, З. Зинкявичус предложил брать за основание классификации тип конечного слога, с которого происходит оттягивание [Zinkevičius 1966: 37 (сн.)]. Учитывая характер и того, и другого слога и их соотношение, мы тем самым в понятии "конечного ансамбля" обобщаем приемы Салиса и Зинкявичуса.

III. ЗАКОН ВАККЕРНАГЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ ЛЕСКИНА НА ЛИТОВСКОМ МАТЕРИАЛЕ

Прокомментируем прежде материал, приведенный в табл. 2. Мы не включили в него глагол. Действительно, материал литовского (и вообще, балтийского) глагола сопротивляется какой-либо слишком прямолинейной структурной трактовке, не только с точки зрения "оттягивания ударения", но и с точки зрения парадигм акцентуации. Во всех отношениях картина здесь остается сложной, противоречивой и к тому же "пятнистой", страдающей большими пробелами в изученности материала (см. [Stang 1966: 449 и сл.; Zinkevičius 1981: § 550]). Некоторые относящиеся сюда трудности мы

отметили раньше [Степанов 1972: 178–181]. Теперь же остановимся на вопросах, связанных именно с "движениями ударения".

Прежде всего, проблемой является различие слоговых интонаций приставок глагола и имени в их отношении к интонации предлога. Ср.:

В предлоге	В глаголе	В имени		
<i>prõ</i>	<i>prà-kala</i>	"продалбливает"	<i>prà-kalas</i>	"пробойник"
"	<i>prà-kasa</i>	"прокапывает"	<i>prà-kasas</i>	"прокоп"
"	<i>prà-neša</i>	"объявляет"	<i>prà-našas</i>	"пророк"
"	<i>pra-karpo</i>	"прорезает"	<i>pra-karpà</i>	"прорез"
"	<i>prà-teka</i>	"протекает"	<i>pró-taka</i>	"проток"
<i>põ</i>	<i>pa-bėga</i>	"убегает"	<i>pó-bėgis</i>	"побег, бегание"
"	<i>pa-gimsta</i>	"рождается"	<i>pó-gymis</i>	"природный нрав"
"	<i>pà-veikė</i>	"воздействовал"	<i>pó-veikis</i>	"воздействие"
<i>priė</i>	<i>pri-kiñba</i>	"пристает"	<i>prie-kaba</i>	"прицеп"
—	<i>at-skaito</i>	"отсчитывает"	<i>at-skaità</i>	"отсчет"
			<i>atà-skaita</i>	"отчет"
<i>niõ</i>	<i>nù-veda</i>	"отводит"	<i>núo-vada</i>	"участок" (полиц.)
<i>ũž, užũ</i>	<i>už-lėidžia</i>	"занавешивает"	<i>užũo-laida</i>	"занавеска"
"	<i>ũž-kala</i>	"забывает"	<i>ũž-kalas</i>	"забойка" (деталь саней)
			<i>ũž-kalas</i>	"то же" (диал.)

и т.п. (для ясности приставки отделены дефисом).

Оставим сейчас в стороне приставки, отличающиеся усложненным составом – двусложные, типа *ata-*, и/или сильно варьирующиеся как в говорах, так и в литературном языке, типа *už-*, *ũž-*, *užũo-*, *ažu-*. Тогда применительно к оставшимся, т.е. односложным, членам этого класса слов можно сформулировать (пока в общем виде, без большой детализации) следующее правило. В то время как именная приставка и предлог образуют пару, противопоставленную стандартными отношениями метатонии, глагольная приставка является внепарным третьим членом с интонацией краткости и обычно сильным экспираторным ударением. Типичный пример: *niõ* предлог, интонация циркумфлекс; *núo-* именная приставка, интонация акут; *nù-* глагольная приставка, интонация краткости. Если в качестве диагностического слова взять и.е. **prõ-//*prõ-* с чередующимся долгим и кратким **-o-*, то в литовском наиболее близкие к праформе варианты находим 1) в паре предлог – именная приставка: *prõ* предлог "через, сквозь" с циркумфлексом – *pró-taka* "проток" (букв. "течение сквозь") с акутом; праформа с долгим **-o-*; 2) в паре именная приставка *prà-našas* "пророк" (букв. "проносающий") с долгим *-a-* (долгота – новая, фонетическая, не этимологическая) с циркумфлексом – глагольная приставка *prà-neša* "проносит, объявляет" с интонацией краткости; праформа с кратким **-o-*. В обоих случаях, т.е. в сравнении (1) и (2), наиболее "исконной" на литовской почве формой следует признать приставку имени.

Рассматривая такие "тройки", мы полагаем, что здесь проявляется действие двух независимых фонетических тенденций. С одной стороны, действует тенденция к передвижению ударения между последним и первым слогом фонетического слова, частью этого процесса (этой тенденции) является и отношение предлога как проклитики с последующим словом; проявление этого – регулярные фонетико-просодические отношения между предлогом и именной приставкой. В литовском эта тенденция осложняется и усиливается общелитовской живой и динамической тенденцией к продвижению ударения слова "справа налево". С другой стороны, на весь выше-названный комплекс накладывается какая-то система иной природы, а именно – тенденция выделять "пик интенсивности" словосочетания, содержащего глагол, каковой пик интенсивности занимает всегда "крайне левую", начальную позицию. Своеобразие

литовских глагольных приставок в фонетико-просодическом отношении мы склонны трактовать как прямое проявление этой второй тенденции.

Уже из приведенного материала видно, что он состоит в связи с двумя достаточно общими закономерностями. Прежде всего, в связи с законом Лескина, поскольку глагольная приставка обнаруживает "акутовое сокращение" конечного слога, что является – в других типах слов – главным предметом этого закона (к этой связи мы вернемся ниже – разд. VI–VIII).

С другой стороны, в этом материале просматривается – пока не очень ясно – какое-то отношение к закону Ваккернагеля, на чем мы сейчас остановимся.

Закон Ваккернагеля в первоначальной формулировке (1892 г.), как известно, гласит, (1) что в индоевропейском предложении энклитики исконно занимают второе место после первого, ударного слова. К настоящему времени на материале различных древних и архаичных индоевропейских языков выявлен целый комплекс сопутствующих закономерностей, в частности, (2), (3), (4) и др., и мы будем понимать закон в этом широком смысле.

(2) В хеттском и других анатолийских языках первое место часто занимает частица, вводящая предложение, за которой следует целая цепочка энклитических частиц и местоимений, например, хет. *nu-wa-za-kan* "и – показатель прямой речи – возвратная – туда".

(3) В главном предложении в древнеиндийском преверб занимает первое, ударное, место, а глагол следует за ним как энклитика, например, *prá gacchati* "он идет вперед".

(4) В придаточном предложении в древнеиндийском, напротив, глагол занимает последнее, ударное место, а преверб предшествует ему, как проклитика и одновременно как энклитика по отношению к частице или союзу, вводящим это предложение, например, *yáḥ pra gacchati* "кто идет вперед".

Исследуя синтаксис превербов в древнегерманском, П. Хоппер отмечает, что в этом языке, как и вообще в индоевропейском, это один из самых загадочных фрагментов грамматики. Однако основные аспекты его ясны: в германском преверб может занимать или одну или другую из двух основных позиций (модельных позиций) – он или предшествует глаголу, стоящему на последнем месте, или занимает первое место в предложении (причем первая модель является, по-видимому, базовой); энклитики размещаются между превербом и глаголом [Норрег 1975: 42–43]. Положение дел в соответствующем фрагменте литовского языка во многих отношениях близко к этим чертам других индоевропейских (см. также ниже).

Таким образом, первоначальная узость в формулировке закона Ваккернагеля, относящаяся к т и п а м р а з м е щ е н и я частиц в предложении, в настоящее время восполнена и устранена (см., в частности, на греческом материале [Dunn 1989]).

Однако закон Ваккернагеля изначально содержал и неясность другой природы, более существенную. Оставалось неясным, относится ли закон к а к ц е н т н ы м т и п а м с л о в (которые занимают места в предложении в соответствии со своим типом) или же он характеризует а к ц е н т н ы е м е с т а во фразе (которые в соответствии со своей природой могут принимать в себя те или иные типы слов). Сразу скажем, что мы склонны трактовать закон во втором смысле. И именно материал литовских предлогов – превербов – приставок наталкивает на это в первую очередь: ведь этим словам (соответственно, морфемам) нельзя приписать никакой изначально заданной слоговой интонации, напротив, последняя возникает – притом в разном виде – в зависимости от положения этих слов во фразе (см. также ниже о греческом материале).

В направлении такой же трактовки идут современные исследования индоевропейской просодии. Мы имеем в виду те работы, в которых постулируется (а в некоторых и экспериментально доказывается) существование в индоевропейской фразе (предложении) "пика интенсивности". Прежде всего нужно указать цикл работ Т.М. Нико-

лаевой, которая по поводу нашего предмета замечает: "Закон Ваккернагеля звучал асинтаксически и асемантически: безударные слова (клитики) занимают вторую позицию в предложении"; это формулировка Ваккернагеля – "классический пример того научного мышления, при котором существуют лишь слова, ударные и безударные, но никак не интонация как система" [Николаева 1996: 18]. От такого понимания закона Ваккернагеля мы сейчас и отказываемся.

Но если понимать последний "синтаксически" и "в системе интонации", то сразу возникает вопрос о том, какова природа акцентного выделения (или нескольких таких выделений), в соответствующих сильных местах фразы по закону Ваккернагеля. Ответ на этот вопрос формировался долго и тяжело, начиная с классической работы (диссертации) Ж. Вандрисса (1902 г.) "Разыскания об истории и результатах начальной интенсивности в латинском языке" [Vendryes 1902]. Лишь в 1979 г. Л.Г. Герценберг смог, в порядке аргументированной гипотезы, определенно заявить, что "наряду с тонами в языке существовало кульминативное словесное ударение. Оно, по-видимому, падало на первый слог, не имело фонологического значения..." [Герценберг 1979: 37]. Детально обследовав типологически и экспериментально индоевропейский материал, Т.М. Николаева сформулировала обобщающую теорию, согласно которой индоевропейское слово имеет просодическую схему, в которой начальная ("правая") часть связана преимущественно с интенсивностью, а конечная ("левая") преимущественно с длительностью. «Предлагаемая теория объясняет "прояснение" первого слога как ударного во многих языках, поскольку первый слог индоевропейского слова является максимально повышенной точкой акцентной линии слова» [Николаева 1992: 76].

Закон Ваккернагеля в его современном прочтении мы понимаем как закон, формулирующий распределение "сильных" мест интенсивности в индоевропейском предложении. Распределяясь по этим (разным) местам, разные типы слов приобретают различный просодический облик. Собственный акцентный тип слова независим от его места в предложении, но результирующий облик слова является следствием совмещения собственного акцентного типа и просодической характеристики, протекающей от места во фразе.

Вероятно, можно было бы выразиться и иначе: в зависимости от положения под пиком интенсивности (или вблизи от него) проявляются латентные просодические свойства слова. Литовские "тройки" 1) предлог, 2) преверб, 3) приставка являются иллюстрацией этого.

Приведем еще некоторые чисто литуанистические аргументы. Прежде всего, отметим сильноударенное начальное положение вопросительной частицы *aĩ* с интонацией циркумфлекса. Ее параллелями (а также средствами перевода) в русском выступают *ли* и *а*. Например, *Aĩ pažįsti tą žmogų?* "Знаешь ли ты этого человека?" или "А ты знаешь этого человека?" Две названные русские частицы как бы раздельно моделируют сложный характер литовской *aĩ* – русск. *ли* передает ее семантику, русск. *а* – ее начальное положение и функцию "введения" в предложение. (Этимологически русск. *а*, по-видимому, то же самое слово.)

К сожалению, насколько нам известно, на литовском материале нет никакого обзора частиц в их статусе энклитик и проклитик, подобного работе Р. Якобсона (1933 г.) на славянском материале [Jakobson 1971]. Между тем некоторые балтославянские параллели здесь очень интересны. Так, Якобсон указывает, что окончания славянского императива, который обычно занимает первое место в предложении, структурно уподобляются (по закону Ваккернагеля) структуре энклитических частиц. В вышеприведенном нашем примере энклитикой оказывается глагол; и, если считать, что на него падает второстепенное, слабое ударение, то уж безусловно энклитична (и одновременно – проклитична) его приставка.

Далее, надо отметить такую своеобразную черту литовского синтаксиса, как возможность употреблять одну глагольную приставку в качестве эквивалента всей

глагольной фразы, обычно во второй реплике диалога, – при этом всегда в начале реплики и в сильноударенной позиции. Например: *Ar pažįsti jį? – Pà!* "Ты познакомился с ним?" – По!" (т.е. "Да, познакомился"). Ср. другие примеры [Zinkevičius 1966: § 588]: – *Ar nupióvet šiėnq? – Nù!* "Скосили сено? – Да!"; – *Ar jau iškepė duonq? – Iš, iš!* *Seniai jau.* "Испекли хлеб? – Да! Давно уже", и т.п.

Позиция, в которую помещается при этом преверб, настолько сильноударенная, что по аналогии с превербом в этой позиции иногда выделяется просто начальный слог глагольного слова, не являющийся приставкой: *Ar girdė jai? – Gir!* букв. "Слышал? – Слы!".

Итак, рассмотренные факты – "тройки" предлог – глагольная приставка – именная приставка с меной слоговых интонаций в них; сильноударенное начальное положение вопросительной частицы *aĩ*; отделяемость глагольной приставки в сильноударенной начальной позиции глагольной фразы как ответ на вопрос (в последних двух случаях мы имеем дело с парой взаимосвязанных предложений – вопрос и ответ) – мы считаем отражениями закона Ваккернагеля на литовской почве.

Рассмотрим теперь альтернативное объяснение особенностей литовских превербов. Хотя, заметим сразу, изъятие вопроса о превербах из более широкого комплекса вопросов, очерченного выше, – это уже существенно иной вопрос, в сущности, относящийся скорее к морфологии. Как бы то ни было, мне известно только одно подробное системное (хотя, скорее, морфологическое и акцентологическое) объяснение этого фрагмента литовского языка – принадлежащее Йонасу Казлаускасу (1930–1970) и выполненное на материале именно литовского глагола с учетом диалектных данных [Казлаускас 1967; Kazlauskas 1968: 49–122]. Соприкасающиеся по теме работа Х. Педерсена [Pedersen 1933] относится главным образом к материалу имени, а статья К. Эбелинга [Ebeling 1963] главным образом к славянскому материалу. (Попытки обобщения типа [Kortland 1977] остаются малоудачными.) Объяснение Й. Казлаускаса полностью отлично от нашего. В некоторых пунктах, однако, имеется важное совпадение. Й. Казлаускас принимает как "первоначальное" положение ударения на глагольной приставке и затем переход его "вправо", на корень слова для некоторых фонетических типов глаголов. Мы, как уже было сказано, полагаем, что единое ударение глагольного слова никогда не имело места в таком виде, но что глагольная приставка (как ударная, так и безударная) попадала под "пик интенсивности", с различными последствиями этого "события" в зависимости от разных фонетических условий словосочетания, фразы в целом, акцентной парадигмы глагола и семантики.

С позиции Й. Казлаускаса трудно объяснить наличие ударения не на приставке, а на корне в таком типе, как *pa-šaukia* против *àp-serga*, что легко объясняется при принятии двух пралитовских акцентных парадигм – окситонной (она же подвижная) и баритонной [Stang 1966: 450; Zinkevičius 1981: 96–99]. Но и с той, и с другой позиции труднее объяснить такие случаи современной речи, как ударение на приставке *pà-šaukia* при сохранении неподвижного накоренного (баритонного) ударения в причастии *šaukiąs* вместо **šaukiąs*. Если бы речь шла об изменении типа парадигмы, превращении баритонной в подвижную (что в принципе в литовском возможно), то оставалось бы необъясненным, почему это изменение затрагивает только "левую", приставочную зону слова. Такого же типа неологизмы *àp-si-suka* при более старом *ap-sì-suka*, и отчасти *nè-be-galiu* [Zinkevičius 1966: § 587].

Представляется гораздо более естественным объяснять все такие случаи продвижением ударения слова и словосочетания (фразы) "влево", к пику интенсивности, в тех говорах, а также в некоторой части литературного языка, где допускается такое движение в согласии с общей системой.

Й. Казлаускас (в указанной работе) высказал интересную мысль, что, возможно, имеется семантическое основание для сохранения постоянного ударения на приставке,

– то именно, что приставка и глагол срастаются в тесное семантическое единство, отличающееся по значению от бесприставочного глагола; аналогичным образом некоторые приставки, возможно, имеют более наречное, обстоятельственное значение, тяготеющее к более свободному положению (в частности, к тмесису). Но эта мысль требует детального обследования материала, еще не осуществленного. Такое положение дел, если оно подтвердится, было бы подобно тому, что имеет место в немецком языке в противопоставлении отделяемых и неотделяемых приставок, но в фонетическом отношении как бы в зеркальном отражении, поскольку в немецком как раз срастающаяся приставка теряет самостоятельное ударение.

Вернемся к фонетическому объяснению. Если, как мы полагаем, в рассматриваемых нами фактах имеет место совмещение двух фонетических тенденций – "движения ударения" и "проявления пика интенсивности", то, может быть, косвенное подтверждение этому можно видеть в других, родственных системах – жемайтской, латышской и штокавской. В жемайтском диалекте литовского, как отмечает Й. Казлаускас, "в настоящее время подсистема фонологического словоударения противопоставляется подсистеме внефонологического разграничительного словоударения, характерной особенностью которого является переход на предшествующий предлог", – с нашей точки зрения, проявление "пика интенсивности". "С диахронической точки зрения фонологическое словоударение всегда имеют: 1) слова с ударным акутированным слогом, ср. *vârna* "ворону", *sakâu* "говорю" и т.д., 2) слова с ударным внутренним (только неконечным) циркумфлектированным или кратким слогом, ср. *rõnka* "руку", *veinrõnkis* "однорукий", *bagûlis* "лежащий" и др. Остальные слова не имеют фонологического словоударения. ...Внефонологическое словоударение обладает той особенностью, что его реализация проявляется в виде определенного слогуударения..." [Казлаускас 1967] и т.д. (следует детализация). С этим гармонируют и более новые описания. Так, Ю. Пабрежа, отмечая как одну из важнейших черт просодии северожемайтского диалекта аттракцию ударения – его оттяжку с конечного краткого и долгого циркумфлектированного слога, подчеркивает, что она представляет собой не завершенное, установившееся, а динамическое явление, распространяющееся географически – с юга на север, и социально – она прогрессирует в речи молодого поколения. Отмечается также тесная связь с фразовой интонацией: аттракция начинается в слабых частях фразы, лишенных логического или эмфатического ударения. Высказывается гипотеза о влиянии на зарождение этого явления куршского субстрата [Пабрежа 1984].

Л а т ы ш с к и й я з ы к предоставляет нам ту аналогию, что в нем регулярно сильное ударение на первом слоге слова порождает сопутствующее явление в виде возникновения (наряду со старым акутом и старым циркумфлексом) т р е т ь е й слоговой интонации, "ломаной" (знак ^), которая, однако, будучи в историческом смысле новой, нарушает стабильность системы. В говорах трехчленная система снова стремится к двучленной, причем в верхнелатышских говорах циркумфлекс (˘) поглощает собою акут (˙), а в западнелатышских, наоборот, акут (˙) поглощает циркумфлекс (˘), между тем как второй, противопоставленной интонацией и там и тут остается новая, "ломаная" [Endzelin 1923: § 14]. Явление неустойчивой трехчленности можно сравнить с трехчленностью литовских "троек" – предлог, приставка глагола, приставка имени (см. выше).

Несколько другую аналогию дает с е р б о х о р в а т с к и й ш т о к а в с к и й. П. Гард (безотносительно к литовскому) формулирует его особенность в следующем виде: "всякое ударение, сначала (précédemment) находящееся на неначальном слоге передвинулось на предшествующий слог, где оно приняло форму восходящего ударения (d'un accent montant) (˘ на долгом гласном, ˙ на кратком). Только ударения, приходившиеся на начальный слог, там и остались, приняв форму нисходящих ударений (d'accents descendants) (^ на долгом гласном, ˘ на кратком)" [Garde 1976, I:17]. Это позволяет Гарду принять следующую систему нотации: "Мы будем рассматривать форму, действительно засвидетельствованную в литературном языке как просто

фонетической формы, которая – фонологически – остается тождественной форме, существовавшей до указанного изменения: мы будем поступать так, как если бы всякое восходящее ударение в действительности обозначало бы ударение, приходящееся на следующий за ним слог. Так, форма *vòda* должна читаться *vođà* и рассматриваться как форма с ударением на флексии; *zà kraviu* представляет *zà krāviu* с накоренным ударением, ... и т.д." (там же). Мы видим, что этот способ нотации и стоящая за ним фонетико-фонологическая система очень близки к тем, что описаны Й. Казлаускасом в упомянутой нами работе (1967 г.) о жемайтском диалекте литовского.

Таким образом, мы перешли к вопросу о способах нотации, и он должен быть рассмотрен особо.

IV. НОТАЦИЯ ПРОСОДИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ; УРОКИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТИХА

Главный принцип, который является ведущим в современных исследованиях просодии, состоит в различении непосредственно наблюдаемых явлений, с одной стороны, и стоящих "за ними" явлений, или, лучше сказать, фактов, системы, непосредственно не наблюдаемых ("абстрактных", "конструктов"). Вообще говоря, это принцип, на котором основывается любое описание языка, поскольку оно не может воспроизводить фактов в их наблюдаемом виде; в частности, это и принцип фонологии в ее отличии от фонетики. Однако применительно к просодии стремление ограничить наблюдаемые фонетические факты от ненаблюдаемых фонологических, т.е. "фонологизирующий подход", далеко не всегда приводил к ясности (ср. выше о понятии "моросчитающие языки" у Н.С. Трубецкого). Здесь, вводя этот принцип, мы никоим образом не связываем его с непременно фонологической трактовкой: речь идет о необходимости разграничивать два ряда явлений просодии самой по себе, просодии как таковой (а не как части фонологии).

Исторически первыми были здесь лингвисты Копенгагенского кружка, для которых описание просодии было лишь частью абстрактной нотации явлений синтагматики (например, управления; примыкания и т.д.). В 1932–37 гг. Л. Ельмслев выпускает серию работ по этим вопросам [Hjelmslev 1932; 1937]; его принципы нотации стали одним из оснований последующих систем, в частности, и упомянутой выше системы П. Гарда (см. критический разбор [Степанов 1975: 73–81]).

Сейчас мы введем новый, практически еще не использовавшийся компонент описания просодии, восходящий к некоторым современным теориям стиха. Мы имеем в виду прежде всего систему анализа стиха А.П. Квятковского (1888–1967). Она прошла два этапа, составивших соответственно две ее части. В первой, разработанной еще в 1930-е годы, части Квятковский анализирует соотношение стиха с музыкой и разрабатывает музыкальные приемы нотации. Во второй части, составившей содержание его работы последних лет [Квятковский 1966], автор уделяет главное внимание новым, абстрактным приемам нотации. Именно они важны для нас в связи с темой данной статьи.

Свою систему Квятковский противопоставляет системе "классического" стиховедения (восходящей к реформе В.К. Тредиаковского). В последней первичной, кратчайшей мерой метрического анализа стиха является *с т о п а*, в системе Квятковского иная мера – *к р а т а*. Для сравнения той и другой удобно взять трехдольники, поскольку стопа и крата совпадают только при анализе трехдольников, трехдольных размеров. Их основных разновидностей в классической, "стопной" системе, как известно, три: дактиль, амфибрахий, анапест. В системе Квятковского их также три, три "трехдольника" – 1-й, 2-й, 3-й. Кроме того, в системе Квятковского предполагается учет реально не звучащих долей стиха, но реально существующих в абст-

рение краткости, а в односложных словах сохранили свою долготу, принимая ударение циркумфлекса (интонацию циркумфлекса). Примеры самого А. Лескина – это прилагательные, против тех же прилагательных в членной форме, где за исконно конечным слогом следует слог, образованный постпозитивным членом:

Сократившиеся			Несократившиеся	
Муж. ед.	инстр.	<i>gerū</i>	<i>gerūo-ju</i>	
	мн. номин.	<i>gerī</i>	<i>gerīe-ji</i>	
	аккуз.	<i>gerūs</i>	<i>gerūs-ius</i>	
Жен. ед.	номин.	<i>gerà</i>	<i>gerò-ji</i>	
	инстр.	<i>gerà</i>	<i>gerà-ja</i>	
мн.	аккуз.	<i>geràs</i>	<i>geràs-ias</i>	
	Глагол наст. 1	<i>sukū</i>	<i>sukūo-s</i> (возвратн.)	
	" 2.	<i>sukī</i>	<i>sukīe-s</i>	"

Другие примеры: это главным образом местоимения *tīē, šīē, jīē, kokiē, kuriē* и т.п. (последние два, по-видимому, по аналогии с односложными), а также жен. род. пад. ед. числа *tōs* при *geràs* (см. выше) и т.п. Одновременно все это и есть примеры традиционной, т.е. к о н к р е т н о й, нотации. Они напоминают рассмотренные выше "тройки" предлог – преверб – приставка.

Что касается абстрактной нотации, то, по нашему мнению, мы находим ее в трактовке закона Лескина у Е. Куриловича [Kuryłowicz 1934]. Начинает Курилович как бы "от обратного", указывая, что в современном литовском языке непосредственно на бл ю д а т ь исконные акутовые интонации в конечном слоге как раз нельзя: немногие случаи такого рода – все лишь "видимость", т.к. они объясняются новыми морфологическими процессами. Таким образом, "конечный слог с акутовой интонацией", с которого начинает Лескин свою формулу, – это не "факт", а лишь придуманное Лескином обозначение "неизвестного"; последнее, по Куриловичу, следует обозначить как *X*. Но точно так же не "факт" и такой же слог в формулировке "закона де Соссюра"; это, по Куриловичу, также *X*. "Закон Лескина и закон де Соссюра содержат больше, чем факты позволяют заключить. В действительности оба закона – это один и тот же закон: *A* (конечный слог, который сокращается) = *B* (конечный слог, который перетягивает на себя ударение с предшествующего слога с краткостной или долгой циркумфлексной интонацией). Лескин и де Соссюр сделали из этого один закон, введя элемент *X*, не данный фактами, а именно конечный слог с акутовой интонацией" [Kuryłowicz 1934: 26]. (Заметим, что излагая закон де Соссюра, Курилович допускает неточность, говоря о "конечном слог" и приводя примеры *laikāi, laikāi < *laikāu, *laikāi* 1 и 2 л. претерита глагола *laikyti* "держат", против 3 л. *laiko*, – в своем изображении. Между тем, сам де Соссюр в качестве главной иллюстрации своего закона приводит инфинитив этого глагола **laikyti > laikyti*, где "перетягивающий" слог не является конечным.)

Однако этим аргументация Куриловича против закона Лескина, по существу, не заканчивается. Она фактически переносится на почву древнегреческого языка, где Курилович – на этот раз, действительно, убедительно – демонстрирует обобщающую и объяснительную силу абстрактной нотации. И, поскольку она оказывается неприменимой к материалу закона Лескина, последний не является, по заключению Куриловича, научной констатацией.

Абстрактная нотация Куриловича в греческом материале применена им главным образом к многосложным словам, имеющим циркумфлексную интонацию ударного слога. Так, на примере прилагательного *εὐγενής* "благородный" (колонка 1 содержит абстрактную запись, колонка 2 – конкретную, в наших терминах); предшествует пример более простого случая – существительного

С х е м а I

Ед.	ном.	πα	τήρ		ρα
	ген.	πα	τρός		
	акк.	πα	τέ		
Мн.	дат.	πα	τρά		

С х е м а II

					1.		2.	
Ед.	ном.	εὐγε	νῆς		ος	ι	ουιν	εὐγενῆς
	ген.	εὐγε	νέ					εὐγενοῖς
	дат.	εὐγε	νέ					εὐγενεῖ
Дв.	ген.-дат.	εὐγε	νέ					εὐγενοῖν
	Мн.	ген.	εὐγε	νέ	ων	εὐγενοῶν		
	дат.	εὐγε	νέ	σι	σι	εὐγενεῖσι		

Согласно системе Куриловича, в парадигме существительных типа πατήρ (см. схему I) выделяется срединная, неконечная колонка, содержащая ударения во всех падежах, такой тип ударения является "колонным". Единственной "фактически окситонной" формой (т.е., по нашей терминологии, в "конкретном ряду") будет форма номинатива ед. числа. Все остальные формы являются формами с "колонной окситонезой" ("окситонными в абстрактном представлении", по нашей терминологии), фактически же (в конкретном ряду), это формы баритонные. Аналогично этому, как это очевидно из следующей схемы II, можно представить слова типа εὐγενῆς.

Далее Курилович делает очень важное для нашей темы примечание: "Поскольку колонная часть парадигмы начинается ударным слогом, постольку внутри этой колонной части акцентуация в с е г д а я в л я е т с я р е ц е с с и в н о й, идет ли речь о двусложных или трехсложных формах (типа (ἐλ)πίδος или *(ἐλ)πίδουιν)" [Kurjłowicz: 30–31, разрядка наша. – Ю.С.]. Таким образом, по существу, Курилович признает оттягивание ударения "влево" в греческом, но делает это применительно к абстрактному представлению слова.

Для нашей темы также очень интересно, что, выделяя в этой системе "предколонную часть", содержащую предупредительные слоги, и "колонную часть", начинающуюся всегда с ударного слога и включающую все следующие затем слоги, Курилович, по существу, делает тот же теоретический шаг в системе нотации, который примерно в это же время сделал применительно к системе стиха А.П. Квятковский, начиная первую "крату" всегда с ударного слога и вынося предшествующие ей слоги в предтактовую часть, эпикрузу (см. выше).

Если теперь мы вернемся, вслед за Куриловичем, к литовской акцентуации, то окажется, что там система иная: формы, "фактически окситонные", никогда, как утверждает Курилович (это утверждение мы сейчас не проверяем), не обладают колонной окситонезой, но всегда "маргинальной", что ясно из следующего примера (склонение слова *duktė* "дочь": мы намеренно выбрали тот же пример, который рассматривает Ф. де Соссюр со своей точки зрения [Соссюр 1977б: 628]):

Ед. ч.	Им.,	Зв.	<i>duk</i>	<i>tē</i>		<i>ri</i>		<i>rēs</i>		<i>mì</i>
	Вин.		<i>dùk</i>	<i>te</i>						
	Дат.,	Мес.	<i>dùk</i>	<i>te</i>						
	Род.		<i>duk</i>	<i>te</i>						
	Твор.		<i>duk</i>	<i>te</i>						

Из этого во всяком случае ясно, почему Е. Курилович рассматривает балтийские и греческие слоговые интонации как две исторически независимые системы.

Что касается литовского оттягивания ударения "влево" или даже "скачка" ударения, то еще де Соссюр заметил, что "его переформулировке в чисто фонетический закон препятствует ряд обстоятельств" [Соссюр 1977б: 628 (сн.)].

На основе своего подхода (см. выше) Е. Курилович определяет возникновение циркумфлексной интонации в греческом как морфологический процесс, как первоначально

Сдвиг ударения влево и метатония в литовском глаголе
(модель)

Примеры	моры				Этапы
	4 ^{ая}	3 ^я	2 ^{ая}	1 ^{ая}	
1. <i>pa-bée-ga < *pa-beè-ga</i>	U	U	U	U	I. Сдвиг на 1 морю влево
2. <i>pa-geĩ-džia < *pa-gei-džià</i> <i>pa-šaũ-kia < *pa-šau-kià</i>	U	U	U	U	
3. <i>*pa-vė-da < *pa-ve-dà</i>		U	U	U	II. Сдвиг на 2 моры влево (через промежуточный сдвиг на 1 морю)
4. <i>pà-ve-da < *pa-vė-da</i>		U	U	U	
5. <i>nù-s-ve-da < nu-si-ve-da</i>	U	U	U	U	III. Сдвиг на 3 моры влево (через промежуточный сдвиг на 2 моры)
6. <i>pà-šau-kia < pa-šaũ-kia</i> <i>pasigeĩdžia < pasigeidžià</i> <i>àp-si-suka < ap-si-suka</i>	U	U	U	U	
					Резюме
					до начала метатонии
				/	I
				/	II
				/	III

нацию восходящего характера – в полной оппозиции к "новому акуту", возникшему, как мы предполагаем, только лишь путем сдвига иктуса влево.

Наконец, приведенная в Таблице 3 схема не вполне удовлетворительно моделирует последний, 6-й этап (6-я строка таблицы) – помещение иктуса на приставку. Более удачным объяснением представляется нам, как уже было сказано выше, совмещение двух законов – Лескина и Ваккернагеля (в современном понимании последнего) на фоне третьей закономерности – общей тенденции к продвижению ударения "влево". Иктус оказывается на превербе не в силу единственно "движения ударения влево", а еще и в силу как бы отдельно заданного нахождения приставки под "пиком интенсивности" фразы; что касается фонетического вида преверба (его интонации краткости), то его следует объяснять действием закона Лескина: преверб – это особый тип слова, в котором исходная интонация акута (засвидетельствованная приставкой имени), заменяется – при сокращении долготы гласного – интонацией краткости, как это имеет место в основном корпусе фактов, подпадающих под действие этого закона.

VII. НЕКОТОРЫЕ АНАЛОГИИ К ЛИТОВСКИМ "ТРОЙКАМ" (ПРЕДЛОГ – ПРЕВЕРЬ – ПРИСТАВКА ИМЕНИ) В ГРЕЧЕСКОМ

Греческие факты, о которых пойдет речь, впервые были поставлены в связь с системой слоговых интонаций Е. Куриловичем в упомянутой уже статье [Kurjłowicz 1934: 29]. Курилович рассматривал их как морфологические, системные тождества

Категория слов	Под собственным (словесным) ударением	Под "лицом интенсивности" во фразе
	Ударение ("иктус") занимает более правое положение	Ударение ("иктус") занимает крайнее левое положение
Греческий Соотносительные местоименные наречия ("Как?" – "Как-нибудь", "Когда?" – "Когда-н.")	Неопределенные *πο ὅς = πῶς πο τέ ὅ τέ	Вопросительные *πό ὅς = πῶς πό τε ὅ τε
Литовский Соотносительные слова, соотносятся по закону Лескина (1), (2), (3)	Приставка имени (1) (по-видимому, древнейший вид слова в этой группе, интонация акут) <i>nió-, pró-¹</i> Предлог (2) (интонация циркумфл.) <i>nið, prð</i> Односложные местоимения (интонация циркумфлекс) <i>niē, šiē</i>	Преверб (3) (сокращается из акутовой приставки) <i>ni-, prā-</i> (Сокращения не происходит, но интонация акута заменяется циркумфлексом)

¹Варианты *prā* и т.п. в позднейших отглагольных образованиях.

между словами различного фонетического (в частности интонационного) вида. Так, односложные слова с циркумфлексом системно тождественны многосложным словам (в частности, с основой на -й-) и с рецессивным колонным ударением в середине слова (см. здесь выше, разд. V): *βοῦς, ναῦς, γράϋς, ἕς, οῦς, μῦς, δρῦς*; в таком же отношении к ним местоименные наречия *πῆ, πῶ, πῶς, ποῖ*, вводящие вопрос, и двусложные соотносительные наречия типа *ὅτε, πότε, πόθεν*, также вводящие прямой и косвенный вопрос. Всей последней подгруппе противопоставлены слова такого же морфологического строения, но с другой интонацией, а именно акутовой, обращающейся в гравис; *πῆ, πῶ, πῶς, ποῖ*, или имеющие ударение на последнем слоге (если они двусложные): *ὅτε || ὅτῃ, ποτέ || ποτῇ, ποθέν || ποθέν*, – все они имеют значение неопределенности ("где-то", "когда-то", "когда-нибудь") или выступают в качестве относительных слов для связи предложений.

Однако главную идею этого соотношения выдвинул сам Я. Ваккернагель [Wackernagel 1877] и ее возобновил И.М. Тронский в своей книге о древнегреческом ударении: первоначально греческий глагол, по этой гипотезе, занимал такое же вариативное место в предложении, как и древнеиндийский (см. здесь выше). Когда в греческом языке возникло правило ограничения места ударности "конечным ансамблем", то глагол получил рецессивное ударение. "Перемещение произошло также и в составных глаголах, которые возникли из энклитических групп и, до ограничения ударения, имели его на превербе: *ἀποφεροεϋν (или вернее *ἀπόφεροεϋν) > ἀποφέροεϋν. Во многих случаях возникшее таким образом рецессивное ударение энклитических форм совпадало с обычным ударением тонических форм: *φέρω, φέροεϋν, ἔφερον* ср. др.-инд. *bhārāmi, bhārāmah, ābharam*. Это акцентное тождество бывших энклитических и тонических форм было обобщено на все случаи в пользу свойственного бывшим энклитическим формам рецессивного ударения" [Тронский 1962: 86]. (По-видимому, мы должны в настоящее время на этой основе вернуться к идее Й. Казлаускаса о том, что и литовский глагол некогда имел ударение на превербе [Kazlauskas 1968: 66].) Мы подчеркнем, что соотносительные местоименные наречия занимают разные места в составе предложения и, следовательно, варьируются в соответствии с этим ритми-

чекским местом, подчиняясь закону Ваккернагеля (в его указанном выше современном понимании).

Сопоставим теперь греческие соотносительные местоименные наречия с литовскими "тройками, или триадами" предлогов-превербов-приставок (см. таблицу 4).

Из приведенных сопоставлений видно, что эти греческие и литовские факты нельзя рассматривать ни как чисто типологические параллели, ни как явления исторически абсолютно независимые (как считал Е. Курилович). Перед нами явления одного типа, совпадающие в ряде существенных мелких деталей, не имеющие, по-видимому, единого явления-источника в системе праязыка, но подчиняющиеся одним и тем же закономерностям, унаследованным обоими языками из общего праязыка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Булаховский 1947 – Акцентологический закон А.А. Шахматова // Булаховский Л.А. Избранные труды: В 5-ти томах. Т. 4: Славянская акцентология. Київ, 1980.
- Гарива К.К. 1977 – Слоговые акценты в фонологической системе (на материале литовского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1977.
- Герценберг Л.Г. 1979 – Реконструкция индоевропейских слоговых интонаций // Исследования в области сравнительной акцентологии индоевропейских языков. Л., 1979.
- Дыбо В.А. 1981 – Славянская акцентология. М., 1981.
- Казлаускас Й. 1967 – Историческая грамматика литовского языка (акцентуация, имя существительное, глагол): Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. Вильнюс, 1967.
- Квятковский А.П. 1966 – Поэтический словарь. М., 1966.
- Мейе А. 1938 – Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.
- Николаева Т.М. 1992 – "Динамическое ударение" и/или вершина акцентной кривой слова // *Linguistique et slavistique. Mélanges offerts à P. Garde. Aix-en-Provence; Paris, 1992.*
- Николаева Т.М. 1993 – Просодическая схема слова и ударение. Ударение как факт фонологизации // ВЯ. 1993. № 2.
- Николаева Т.М. 1996 – Просодия Балкан. Слово – высказывание – текст. М., 1996.
- Пабрежа Ю.Ю. 1984 – Динамика аттракции ударения в северожемайтском наречии: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Вильнюс, 1984.
- Славятинская М.Н. 1966 – Учебник древнегреческого языка. Ч. 1, 2. М., 1966.
- Соболевский С.И. 1948 – Древнегреческий язык. М., 1948.
- Соссюр Ф. де. 1977а – К вопросу о литовской акцентуации (Интонация и ударение в собственном смысле слова) // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
- Соссюр Ф. де. 1977б – Литовская акцентуация // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
- Степанов Ю.С. 1972 – Ударение и метатония в литовском глаголе // *Baltistica (Vilnius). Priedas I, 1972.*
- Степанов Ю.С. 1974 – О зависимости понятия фонемы от понятия слога при синхронном описании и исторической реконструкции // ВЯ. 1974. № 5.
- Степанов Ю.С. 1975 – Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975.
- Степанов Ю.С. 1990 – К построению общей модели русской речевой цепи и русского стиха // Язык: система и подсистемы. К 70-летию М.В. Панова. М., 1990.
- Степанов Ю.С., Эдельман Д.И. 1976 – Семиологический принцип описания языка // Принципы описания языков мира / Отв. ред. В.Н. Ярцева, Б.А. Серебrenников. М., 1976.
- Тронский И.М. 1962 – Древнегреческое ударение. М.; Л., 1962.
- Трубецкой Н.С. 1960 – Основы фонологии. М., 1960.
- Vüga K. 1961 – Rinkiniai raštai. T. III. Vilnius, 1961.
- Collinge N.R. 1985 – The laws of Indo-European. Amsterdam; Philadelphia, 1985.
- Dunn G. 1989 – Enclitic pronoun movement and the ancient Greek sentence accent // *Glotta (Göttingen). Bd. LXVII. Hf. 1-2. 1989.*
- Ebeling C. 1963 – Questions of relative chronology in Common Slavic and Russian phonology // Dutch contributions to the 5-th International Congress of Slavistics. The Hague, 1963.
- Endzelin J. 1923 – Lettische Grammatik. Heidelberg, 1923.
- Endzelīns J. 1974 – Славяно-балтийские этюды // Endzelīns J. Darbu izlase II. Rīgā, 1974.
- Garde P. 1976 – Histoire de l'accentuation slave. T. I, t. 2. Paris, 1976.
- Girdenis A. 1981 – Fonologija. Vilnius, 1981.
- Hjelmstev L. 1932 – Études baltiques. Copenhagen, 1932.
- Hjelmstev L. 1937 – Accent, intonation, quantité // *Studi baltici. V. 6. 1937.*

- Hopper P.J.* 1975 – The syntax of the simple sentence in Proto-Germanic. The Hague; Paris, 1975.
- Jakobson R.* 1962a – Die Betonung und ihre Rolle in der Wort- und Syntagmaphonologie [1930–31] // Jakobson R. Selected writings. V. I: Phonological studies. The Hague, 1962.
- Jakobson R.* 1962b – Sur la théorie des affinités phonologiques [1936–38] // Jakobson R. Selected writings. V. I. The Hague, 1962.
- Jakobson R.* 1971 – Les enclitiques slaves [1933] // Jakobson R. Selected writings. V. II: Word and language. The Hague, Paris, 1971.
- Kamantauskas V.* 1928 – Trumpas lietuvių kalbos kirčio mokslas. 1 dal: Teorija. Kaunas, 1928.
- Kazlauskas J.* 1968 – Lietuvių kalbos istorinė gramatika (kirčiavimas, daiktavardis, veiksmažodis). Vilnius, 1968.
- Kortland F.* 1977 – Historic laws of Baltic accentuation // Baltistica (Vilnius). T. XIII (2), 1977.
- Kuryłowicz J.* 1934 – L'indépendance historique des intonations baltiques et grecques // BSL. T. 35. Fasc. 1, 1934.
- Lehmann W.P.* 1966 – Theoretical bases of Indo-European linguistics. L.; N.Y., 1966.
- Leskien A.* 1881 – Die Quantitätsverhältnisse im Auslaut des Litauischen // AfslPh. Bd. V. 1881.
- Pakerys A.* 1971 – Psikoakustinis balsių panašumas // Kalbotyra. 1971. T. 23 (1).
- Pakerys A.* 1982 – Lietuvių bendrinės kalbos prozodija, Vilnius, 1982.
- Pedersen H.* 1933 – Études lituaniennes. Copenhagen, 1933.
- Stang Chr.* 1966 – Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo; Bergen; Tromsø, 1966.
- Stundžia B.* 1995 – Lietuvių bendrinės Kalbos kirčiavimo sistema. Vilnius, 1995.
- Vendryes J.* 1902 – Recherches sur l'histoire et les effets de l'intensité initiale en latin. [Thèse]. Paris, 1902.
- Wackernagel J.* 1877 – Der griechische Verbalaccent // KZ. Bd. XXIII, 1877.
- Wackernagel J.* 1892 – Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung // IF. Bd. I, 1892.
- Zinkevičius Z.* 1966 – Lietuvių dialektologija. Vilnius, 1966.
- Zinkevičius Z.* 1981 – Lietuvių kalbos istorinė gramatika. T. II. Vilnius, 1981.

© 1997 г.

А.Е. КИБРИК

ИЕРАРХИИ, РОЛИ, НУЛИ, МАРКИРОВАННОСТЬ И "АНОМАЛЬНАЯ" УПАКОВКА ГРАММАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

Памяти Георгия Андреевича Климова

0. ВВЕДЕНИЕ

0.1. Семантические презумпции о связи означаемых и означающих.

Теория кодирования грамматических категорий исходит из того, что естественные языки соотносят значения грамматических категорий с наблюдаемыми формами по одной из двух семиотических техник.

Первая техника соотносит морфологическую форму (показатель/форматив/маркер – о з н а ч а ю щ е е служебной морфемы) с одним из значений некоторой грамматической категории (о з н а ч а е м ы м служебной морфемы). Например, в нижеследующих словоформах существительного *gel* 'кружка' (арчинский язык):

(1)	а	<i>gel-li-n</i> кружка-КОСВ. ЕД-ГЕН	а'	<i>gel-li-s</i> кружка-КОСВ. ЕД-ДАТ
	б.	<i>gel-um-če-n</i> кружка-МН-КОСВ. МН.-ГЕН	б'.	<i>gel-um-če-s</i> кружка-МН-КОСВ. МН-ДАТ

выделяются следующие служебные морфемы: показатель генитива (-*n*), показатель датива (-*s*), показатель мн. числа (-*um*), показатель косвенной основы ед. числа (-*li*) и показатель косвенной основы мн. числа (-*če*).

Первые три морфемы демонстрируют **первую технику** кодирования, именуемую традиционно агглютинативной (= сепаратистской): морфеме ставится в соответствие одно определенное значение грамматической категории (падежа или числа). Как легко видеть, оформление значения падежа (генитив, датив) не зависит от значения числа (ед., мн.) и наоборот.

Вторая техника представлена последними двумя морфемами, в которых слито значение падежа и числа. Такая техника называется флективной (= кумулятивной).

В принципе, и та, и другая техники могут быть осложнены теми или иными контекстными ограничениями, то есть зависеть от синтактик означаемого и/или означающего. В данном примере i) показатели косвенных основ возможны только в формах со значениями косвенных падежей (они отсутствуют в прямом падеже – номинативе: *gel* 'НОМ. ЕД', *gelum* 'НОМ. МН'); ii) морфема со значением 'КОСВ. МН' неотделима от морфемы мн. числа, а морфема 'КОСВ. ЕД' несовместима с морфемой мн. числа: **gel-če-n*, **gel-um-li-n*).

Несмотря на имеющиеся между ними очевидные различия, обе эти техники объединены единым принципом "сборки" означающего по означаемому и, наоборот, "вычисления" означаемого по означающему, а именно:

– каждой комбинации значений грамматических категорий (например, арчинской комбинации 'МН + ГЕН') может быть поставлена (с точностью до синонимии) в соответствие (иногда с помощью вспомогательной процедуры, как это демонстрирует

арчинский пример, где в косвенных падежах добавляется дополнительная морфема со значением 'КОСВ. МН') цепочка показателей, кодирующих эти значения (в нашем случае *-um-če-n*);

– означающему каждой морфеме (например, показателям [um], [če], [n]) может быть приписано (с точностью до омонимии) ее означаемое (соответственно 'МН', 'КОСВ. МН', 'ГЕН'), и

– репертуар означаемых исчерпывается значениями грамматических категорий (так, в вышеприведенном арчинском примере означаемые служебных морфем категоризовались в терминах значений грамматических категорий падежа и числа).

Правила построения правильных словоформ основываются на этом **принципе "прямой вычислимости"** отношения {ФОРМА ↔ ЗНАЧЕНИЕ} (с поправкой на сочетаемостные ограничения, то есть синтактики (грамматических) значений и форм, и на всевозможные морфологические процессы на стыках морфем).

Принцип прямой вычислимости традиционно признается универсальным, то есть достаточным для полного и адекватного грамматического описания естественных языков. Поэтому данный принцип относится к семиотическим презумпциям и обычно вообще эксплицитно не формулируется.

Однако имеются случаи, когда сформулировать правила построения словоформ, основываясь на этих презумпциях, весьма сложно. Любое принимаемое решение вызывает массу вопросов и недоумений ввиду необъяснимой искусственности объединяемых и/или различаемых языковой формой семантических сущностей.

Целью настоящей статьи является демонстрация такого феномена на материале полиперсонного личного глагольного спряжения в различных неродственных языках. При всем их поверхностном разнообразии, эти системы материализуют единый механизм кодирования грамматических значений, учитывающий не только собственно значения кодируемых грамматических категорий, но и определенные *семантические* принципы их сочетаемости. В заключении предлагается пересмотр традиционного взгляда на проблему инварианта значения языковых выражений и на семиотическую природу языкового знака.

0.2. Общие сведения о личном спряжении.

Личное спряжение кодирует семантические роли (или синтаксические позиции) приглагольных аргументов в терминах их дейктических характеристик, то есть в нем объединяются значения, относящиеся к различным семантическим компонентам: внешнеситуационному (семантические роли/синтаксические позиции аргументов в предикатно-аргументной структуре препозиции) и дейктическому (1-е лицо – 'говорящий как участник речевого акта' / 2-е лицо – 'адресат как участник речевого акта' / 3-е лицо – 'не-участник речевого акта').

С логической точки зрения эти значения могут свободно сочетаться друг с другом и зачастую действительно свободно сочетаются. Так, в русском языке глагол в непршедших временах согласуется с субъектом по лицу и числу: *я нес-у/ид-у, мы нес-ем/ид-ем; ты нес-ешь/ид-ешь, вы нес-ете/ид-ете; он нес-ет/ид-ет, они нес-ут/ид-ут*, и каждая из суффиксальных служебных морфем однозначно указывает на лицо и число субъектного аргумента глагола, как переходного, так и непереходного.

Русский глагол моноперсонный, но такую же ситуацию можно наблюдать в некоторых языках с полиперсонным спряжением, например, в хивском говоре табасаранского языка (в отличие от других говоров, см. [Кибрик, Селезнев 1982]):

(2)	а.	<i>uzu uvuz Rivun-za-vuz.</i>	'Я. ЭРГ тебя. ДАТ ударил-1. СУБЪ-2. ОБЪ.'
	б.	<i>uvu uzuz Rivun-va-zuz.</i>	'Ты. ЭРГ меня. ДАТ ударил-2. СУБЪ-1. ОБЪ.'
	в.	<i>duRu uzuz Rivun-φ-zuz.</i>	'Он. ЭРГ меня. ДАТ ударил-3. СУБЪ-1. ОБЪ.'
	г.	<i>duRu uvuz Rivun-φ-vuz.</i>	'Он. ЭРГ тебя. ДАТ ударил-3. СУБЪ-2. ОБЪ.'
	д.	<i>uzu duRuz Rivun-za-φ.</i>	'Я. ЭРГ его. ДАТ ударил-1. СУБЪ-3. ОБЪ.'

Послекорневую позицию в глаголе занимает показатель субъекта (Агенса), финаль-

ную – объекта (Реципиента), причем лицо субъекта и объекта выражается специальными показателями (3-е лицо не имеет материального показателя):

	СУБЪ	ОБЪ
1 лицо	-za	-zuz
2 лицо	-va	-viz

Однако так бывает далеко не всегда, и именно к таким случаям мы и переходим.

1. ДАРГИНСКИЙ ЯЗЫК (ЧИРАГСКИЙ ГОВОР)

1.1. Проблема контролера личного согласования.

Пожалуй, максимально простой случай может быть проиллюстрирован спряжением глагола чирагского говора (см. [Кибрик 1979]). Начнем с рассмотрения спряжения одноместного глагола (его единственный аргумент (S) оформляется номинативом):

- (3) а. *du čerk-r-ibli-da. / nuša čerk-d-ibli-da*¹.
 'Я (жен.) сижу.' / 'Мы сидим.'
 б. *ʔu čerk-r-ibli-de. / nuša čerk-d-ibli-da.*
 'Ты (жен.) сидишь.' / 'Вы сидите.'
 в. *it čerk-r-ible. / ite čerk-b-ible.*
 'Она сидит.' / 'Они сидят.'

Как видно из (3а-б), глагол имеет суффиксальные показатели лица, соответствующие лицу единственного аргумента. В 3-м лице специальных личных показателей нет². Кроме того, глагол имеет также инфиксальную позицию для классно-числового показателя, который зависит от классно-числовой характеристики именного аргумента, но этот тип согласования не будет в фокусе внимания дальнейшего рассмотрения. Таким образом, 1-е и 2-е лицо противопоставлены 3-му как имеющие согласуемый показатель. Введем для этого противопоставления термины **локутор** (участник речевого акта) и **нелокатор** (не-участник речевого акта). Как мы увидим в дальнейшем, это дейктическое по своей природе противопоставление играет существенную роль в личном спряжении различных языков.

Рассмотрим согласование двухместного глагола с Агентивным (A) и Пациентивным (P) аргументами.

- (4) а. *diče ʔu r-iqan-da.* 'Я тебя (жен.) веду.'
 я. ЭРГ ты. ЖЕН. НОМ ЖЕН-вести-1

¹ Между прочим, в 1-м лице не различается ед. и мн. число (имеется единый показатель *-da*), а во 2-м лице ед. число имеет показатель *-de*, а мн. число – показатель *-da*, омонимичный показателю 1-го лица. То, что это омонимы, видно по соотносительным личным показателям, употребляющимся с другим набором видо-временных форм: *-d* '1-е лицо' – *ʔe* '2-е лицо ед.ч.' и *-la* '2-е лицо мн.ч.', где 1-е лицо и 2-е лицо мн.ч. не омонимичны.

С точки зрения поведенческого критерия маркированности, согласно которому значение некоторой категории, различающее большее число значений другой категории, является менее маркированным (см. [Croft 1990: 77–81]), 2-е лицо в даргинском языке менее маркировано, чем 1-е, так как оно, в отличие от 1-го лица, различает значения категории числа. [Аналогичным образом в русском языке значение ед. числа менее маркировано, чем значение мн. числа, потому что в ед. числе прилагательных/глаголов различаются три рода (*пришел–пришла–пришло*), а во мн. числе они нейтрализованы (*пришли*).] Это, пожалуй, единственное проявление различий в иерархии лиц относительно 1–2-го лица.

² Такая ситуация не является уникальной, ср., например, данные табасаранского языка. В этой связи встает вопрос, стоит ли здесь усматривать нулевой личный показатель или считать, что глагол вообще не согласуется с неличным аргументом. Я предлагаю такое общее решение: восстанавливать нулевой показатель только в тех случаях, когда имеются косвенные следы его присутствия (см. примеры ниже). В данном случае без нулевого показателя, видимо, можно обойтись.

б.	<i>dīce it</i> я. ЭРГ она. ЖЕН. НОМ	<i>r-iqan-da.</i> ЖЕН-вести-1	‘Я ее веду.’
в.	<i>’iče du</i> ты. ЭРГ я. ЖЕН. НОМ	<i>r-iqan-de.</i> ЖЕН-вести-2	‘Ты меня (жен.) ведешь.’
г.	<i>’iče it</i> ты. ЭРГ она. ЖЕН. НОМ	<i>r-iqan-de.</i> ЖЕН-вести-2	‘Ты ее ведешь.’

В соответствии с примерами (4) согласование регулируется простыми правилами: личное согласование контролируется Агентивным аргументом, а классно-числовое – Пациентивным (то есть личное согласование соответствует аккузативной схеме, объединяющей *S* и *A*, а классное – эргативной схеме, объединяющей *S* и *P*). Однако добавим недостающие члены личной парадигмы:

(5)	а.	<i>it-e du</i> он-ЭРГ я. ЖЕН. НОМ	<i>r-iqan-da.</i> ЖЕН-вести-1	‘Он(а) меня (жен.) ведет.’
	б.	<i>it-e ’u</i> он-ЭРГ ты. ЖЕН. НОМ	<i>r-iqan-de.</i> ЖЕН-вести-1	‘Он(а) тебя (жен.) ведет.’
	в.	<i>it-e ruše</i> он-ЭРГ девочка. ЖЕН. НОМ	<i>r-iqle.</i> ЖЕН-вести	‘Он(а) девочку ведет.’

Что касается классно-числового согласования, то оно, как и в (4), контролируется Пациентивом. С личным согласованием дело обстоит сложнее. Пример (5в) иллюстрирует ситуацию, когда оба аргумента не являются локуторами, и в этом случае личное согласование отсутствует как с Агентивом, так и с Пациентивом, аналогично случаю (3в). В примерах (5а-б), в отличие от (4а-в), согласование контролируется не Агентивом, а Пациентивом. Значит, выбор контролера согласования зависит не только от переходности/непереходности конструкции, но и от характеристик обоих аргументов в переходной конструкции.

1.2. Предлагаемое решение проблемы.

Какие же категории кодируют показатели *-da* и *-de* (в единственном числе)? Постоянными являются только дейктические значения: *-da* имеет значение ‘1 лицо’, а *-de* – значение ‘2 лицо’, а ролевые значения не являются фиксированными. Из сравнения (4а-в) с (4г) и (5а-б) можно вывести следующее правило согласования:

Правило согласования. Если оба аргумента локуторы, то согласование идет с Агентивом, если же только один аргумент локутор, то согласование идет с локутором безотносительно к его роли.

Итак, налицо взаимодействие дейктических и ролевых характеристик.

И все-таки, какие значения кодируют показатели *-da* и *-de*?

Формально для даргинского языка можно предложить несколько логически эквивалентных способов описания, например, такие:

[1] Оба показателя имеют два значения: *-da* ‘1.A/S’/‘1.P’, *-de* ‘2.A/S’/‘2.P’, то есть выражают одновременно дейктические и ролевые характеристики контролера согласования. (При этом утверждается, что в одном значении реализуется гиперроль Принципала, объединяющая *S* и *A*, а во втором роль Пациентива – *P*, то есть в основе этой оппозиции лежит аккузативная схема кодирования ролей.) Первое значение реализуется по умолчанию, а второе – когда в пропозиции с Пациентивным локутором Агентивный локутор отсутствует.

[2] Показатели имеют только дейктическое значение: *-da* ‘1’, *-de* ‘2’. В ситуации конфликта (когда оба аргумента локуторы) предпочтение отдается Агентиву.

Оба эти описания позволяют правильно построить глагольные формы, но базируются они на очень различных принципах. Описание [1] традиционно в том, что исходит из принципа непосредственного кодирования значений грамматических категорий. Инвариантное значение показателей отсутствует, и выбор одного из них определяется дистрибутивно (второе значение имеет особую синтактику). Описание [2] дает прозрачную инвариантную категоризацию показателей, но вводит особое конфликтно-разрешающее правило, базирующееся на некотором приоритетном принципе, требующем обоснования. Существенно, что маркированные ситуации в [1] и [2] различны: в [1] это ситуация с локуторным Пациентивом при нелокуторном Агентиве, в [2] это ситуация с двумя локуторами.

Отдать предпочтение одному из этих описаний, оставаясь в рамках даргинского языка, может быть затруднительно. Однако, как мне кажется, имеются типологические и диахронические критерии выбора оптимального описания. При прочих равных условиях то описание предпочтительнее, которое типологически и диахронически наиболее правдоподобно.

С диахронической точки зрения личное согласование является в даргинском языке явной инновацией. Кроме даргинского, оно имеется еще лишь в двух дагестанских языках: табасаранском и лакском, тогда как более двух десятков родственных языков его не имеет. Более того, системы показателей в языках с личным согласованием несомненно исторически независимы. Наоборот, классное согласование восходит к прадагестанскому состоянию. При этом существенно, что оно повсеместно реализует ролевые противопоставления, базирующиеся на эргативной схеме (*S* и *P* объединены в гиперроль Абсолютива, противопоставленного Агентиву – *A*). Личное согласование семантически связано с дейктическими, а не ролевыми значениями, поэтому их автономное кодирование является вполне естественным.

С типологической точки зрения, которая будет рассмотрена ниже на материале разноструктурных языков, разрешение конфликта в пользу Агентива является естественным.

Таким образом, я полагаю, что описание [2] более адекватно отражает реальность даргинского языка. При этом описании оба показателя имеют свои инвариантные значения, а использование их для кодирования ролевых свойств аргументов непосредственно не связано с их собственными значениями. Далее, личное согласование при такой интерпретации не дает оснований для "сенсационного" вывода о движении даргинского языка от эргативной схемы к аккузативной схеме, как это следует из описания [1], то есть вывода о зарождении в языковой системе внутреннего противоречия между полярными принципами организации структуры простого предложения и связанной в связи с этим возможностью принципиальной перестройки системы.

2. СВАНСКИЙ ЯЗЫК

2.1. Сложности морфологического анализа форм личного спряжения.

Сванский язык имеет полиперсонное личное спряжение глагола, типичное для всех картвельских языков, то есть для сванского языка такое спряжение является системой, восходящей к доисторическому пракартвельскому состоянию и характеризующейся достаточной устойчивостью.

В целом сванское спряжение определяется многими факторами, и полное его описание неправомерно усложнило бы изложение. Поэтому особое внимание будет преимущественно уделено тем его аспектам, которые связаны с основной проблематикой данной статьи. Последующее изложение опирается на интерпретацию, предложенную в статье [Кибрик А.А. 1996].

Во времена серии аориста и презенса переходные агентивные глаголы имеют две согласовательные позиции – префиксальную и суффиксальную, заполнение которых согласующими показателями зависит от значений лица и числа его аргументов. Роле-

Личное спряжение сванского глагола (фрагмент)

Субъект	Объект					
	1ед	1экскл	1инкл	2ед	2мн	3
1ед	—	—	—	ʒ-ø		xw-ø
1экскл	—	—	—	ʒ-d		xw-d
1инкл	—	—	—	—		l-d
2ед	m-ø	n-ø	—	—		x-ø
2мн	m-d	n-d	—	—		x-d
3ед	m-ø	n-ø	gw-ø	ʒ-ø	ʒ-x	ø-ø
3мн	m-x	n-x	gw-x	ʒ-x		ø-x

вые характеристики аргументов будем обозначать условными ярлыками "субъект" и "объект" (не придавая им синтаксического статуса типа "подлежащее" – "прямое дополнение"): субъектом будем называть имя в эргативном падеже, а при отсутствии такового – имя в номинативе³. Субъектно-объектные показатели приведены в Табл. 1 (перед тире стоит префиксальный показатель, а после тире – суффиксальный; прочерки означают невозможность соответствующей комбинации лиц; в сванском языке различается эксклюзивное и инклюзивное мн. число 1-го лица; что касается нулей, то их введение, разумеется, не самоочевидно и связано с определенной трактовкой системы сванских личных показателей).

В литературе имеется два основных способа морфологической интерпретации этих показателей (+/- нулевые показатели) – циркумфиксный (при котором каждой разрывной комбинации приписывается одно грамматическое значение) и префиксально-суффиксальный (при котором каждой из частей приписывается свое значение), см. подробнее в [Кибрик А.А. 1996]. Представляется, что второй способ более простой и объяснительный. Выделяемые в таком случае морфемы представлены в Табл. 2. В этом инвентаре показатель проявляются следующие закономерности.

Во-первых, только 1-е лицо (как субъекта, так и объекта) различает числа в префиксальной позиции, при этом числа объекта различены максимально, субъект же противопоставляет инклюзивную форму (включающую значение 2-го лица ['я с тобой']) неинклюзивным, то есть для субъекта можно говорить о четырех лицах: 1-м, 1 + 2-м, 2-м и 3-м. Выделение именно инклюзивного множественного вполне логично с точки зрения категории локутора: это такая ситуация, когда оба участника речевого акта (говорящий и адресат) выступают в одной роли. Второе лицо (как субъекта, так и объекта) в префиксальной позиции чисел не различает (субъектный показатель x-, объектный – ʒ).

Во-вторых, 3-е лицо вообще не имеет материальных показателей в префиксальной позиции. Из четырех возможных интерпретаций (с точки зрения противопоставления нулевых показателей отсутствию показателя) в Табл. 2 принята одна, при которой субъект 3-го лица имеет нулевой префиксальный показатель, а объект вообще в этой позиции не выражается (обоснование см. ниже).

В-третьих, если префиксальная позиция используется как объектными, так и субъектными показателями, различающими прежде всего их лица, то суффиксальная позиция в основном субъектная, причем субъект в ней характеризуется по числу с точностью до локуторности (нулевой показатель для ед. числа всех лиц, показатель -d – для мн. числа локутора, -x – для мн. числа нелокутора. В суффиксальной позиции объ-

³ Дело, в частности, в том, что агентивный глагол имеет разное падежное оформление аргументов в разных временных формах. В аористе субъект (Агентив) оформлен эргативом, а объект (Пациентив) – номинативом. В презенсе субъект стоит в номинативе, а объект – в дативе. В перфектных временах номинативом оформлен, наоборот, Пациентив (= субъекту), а дативом – Агентив (= объекту).

Согласовательные показатели сванского глагола

Субъектные показатели				Объектные показатели			
префиксы		суффиксы		префиксы		суффиксы	
1ед/экскл	хи-	1-3ед	-ø	1ед	т-	2мн	-х
1инкл	l-	1/2мн	-d	1экскл	п-		
2	х-	3мн	-х	1инкл	gw-		
3	ø-			2	ʒ		

ект маркируется только в одном случае: когда это мн. число 2-го лица в контексте нелокуторного субъекта (показатель -х). Следует подчеркнуть промежуточность интерпретации этого показателя: кроме того, что он попадает в исключения, этот показатель фонетически тождествен показателю мн. числа нелокуторного субъекта.

2.2. Интерпретация сванского спряжения.

Как было показано выше, сванское личное спряжение на редкость несимметрично: в разных позициях выражаются разные наборы грамматических значений, не очевидны правила выбора показателей, поскольку на одну позицию претендуют различные показатели из приведенного в Табл. 2 инвентаря.

Однако если принять уже известную нам дейктическую иерархию

локутор > нелокутор

то правило заполнения префиксальной позиции становится весьма простым и мотивированным:

Правило 1. Префикс. При равенстве дейктических характеристик аргументов (с точки зрения дейктической иерархии) префиксальную позицию занимает показатель объекта, при их неравенстве – показатель локутора.

Иными словами, если оба аргумента неразличимы на дейктической иерархии, т.е. оба или локуторы или нелокуторы, то согласование определяется ролевыми характеристиками (а именно – Объектом). Если один из аргументов локутор, а другой нелокутор, то согласование идет по локутору (ролевые характеристики аргументов несущественны).

Из этого следует, что префиксальная позиция исходно является объектной, но это правило нарушается при неравенстве дейктических характеристик аргументов в пользу более маркированного аргумента (локутора).

Правило 2. Суффикс. Суффиксальная позиция заполняется числовым показателем субъекта, кроме одного случая, когда при нелокуторном субъекте объектом является мн. число 2-го лица: в этом случае согласование идет по числу объекта.

Из этого следует, что суффиксальная позиция исходно является субъектной, но это правило нарушается при неравенстве дейктических и числовых характеристик аргументов – 3-го лица ед. числа субъекта и 2-го лица мн. числа объекта в пользу числа локутора.

Такая асимметрия может быть объяснена компенсацией недоразличения числа 2-го лица по сравнению с 1-м (см. об этом выше). При этом субъектное 2-е лицо, не различая число в префиксальной позиции, тем не менее всегда различает его в суффиксальной позиции, см. Табл. 1. Объектное 2-е лицо также имеет один префиксальный показатель для ед. и мн. числа, и для него единственным ресурсом различения

Личное спряжение сванского глагола в аффективной конструкции

Субъект в номин.	Объект в дативе				
	1ед	1экскл	1инкл	2ед	2мн
1ед	—	—	—	z- \emptyset	ξ - \emptyset d
1экскл	—	—	—	ξ -d \emptyset	ξ -d
1инкл	—	—	—	—	—
2ед	m- \emptyset	n- \emptyset d	—	—	—
2мн	m-d \emptyset	n-d	—	—	—
3ед	m- \emptyset	n- \emptyset x	gw- \emptyset x	ξ - \emptyset	ξ -x
3мн	m-x \emptyset	n-x	gw-x	ξ -x \emptyset	ξ -x

числа является суффиксальная позиция. Особенно это желательно при нелокуторном (низшем по рангу) субъекте, каковым и является 3-е лицо.

Однако данная мотивация, к сожалению, не объясняет, почему соответствующий показатель материально тождествен субъектному показателю множественности для 3-го лица. Постулировать омонимию в таком специфическом фрагменте парадигмы крайне нежелательно. В статье [Кибрик А.А. 1996: 489] выдвигается гипотеза, что показатель -x является в контексте объекта 2-го и субъекта 3-го лица просто плюрализатором, не различающим ролей аргументов⁴. Эта гипотеза подтверждается спряжением агентивных глаголов в перфектной серии времен, где субъектом становится Пациентив в номинативе, а объектом – Агентив в дативе. В этом спряжении суффиксальное согласование перестает четко различать ролевые характеристики аргументов, допуская вариативное числовое согласование, см. Табл. 3. Не ставя цели описать этот вариант спряжения формально, отмечу важные его особенности. Показатель -x является здесь плюрализатором при сочетании нелокуторного субъекта с локуторным объектом. Если оба аргумента во мн. числе, выступает этот показатель, если оба в ед. числе, нулевой показатель, если один из них в ед., а другой во мн. числе, то согласование может идти по любому из них. Если оба аргумента локуторы, то показателем мн. числа является -d.

Итак, сванский язык имеет значительно более сложный морфосинтаксис, чем даргинский язык, но базовые механизмы в этих языках весьма похожи. В основе их лежит дейктическая иерархия, накладывающаяся на ролевые характеристики аргументов, при этом дейктическая иерархия подавляет ролевое распределение контролеров согласования (префикс согласуется с объектом, а суффикс с субъектом) в пользу более высокого по дейктическому рангу аргумента.

3. ЯЗЫК ЙИМАС

3.1. Основные данные.

Обратимся теперь к данным языка йимас, папуасского языка Новой Гвинеи (сведения о котором почерпнуты из работ [Foley 1991; 1993]). У. Фоли характеризует спряжение языка йимас как устроенное непредсказуемо сложно, хотя намечает неформально некоторые закономерности. Для экономии места я не комментирую анализ Фоли, а непосредственно перехожу к своей интерпретации.

В йимас лично-числовые характеристики ядерных аргументов (единственного аргумента непереходного глагола и обоих аргументов переходного глагола) кодируются в глагольной словоформе. Различаются 1-е, 2-е и 3-е лицо, ед. и мн. число этих аргументов.

В дальнейшем изложении нам будут снова нужны следующие базовые понятия:

⁴Типологически сходную ситуацию можно наблюдать ниже, в алуторском языке.

дейктические концепты локутор (говорящий/слушающий) – нелокутор (не-участник речевого акта), и ролевые концепты Агентив/Пациентив (соответственно агенсо-подобный (А) и пациенсо-подобный (Р) аргументы переходного глагола) и S (единственный аргумент непереходного глагола). Рассмотрим примеры с дейктически нейтральными (не-локуторными) аргументами:

(6)	а.	<i>pu-wat.</i> ЗМН. S-идти 'Они пошли.'	а'.	<i>na-wat.</i> ЗЕД. S-идти 'Он пошел.'
	б.	<i>pu-n-tay.</i> ЗМН. Р-ЗЕД. А-видеть 'Он увидел их.'	б'.	<i>na-n-tay.</i> ЗЕД. Р-ЗЕД. А-видеть 'Он увидел его.'
	в.	<i>pu-tri-tay.</i> ЗМН. Р-ЗМН. А-видеть 'Они увидели их.'	в'.	<i>na-tri-tay.</i> ЗЕД. Р-ЗМН. А-видеть 'Они увидели его.'

В (6) формально выделяется четыре префикса: *na-*, *-n-*, *pu-*, *-tri-*, которым, согласно глоссам, можно приписать следующие значения:

<i>na-</i>	'ЗЕД. S/ЗЕД. Р'
<i>-n-</i>	'ЗЕД. А'
<i>pu-</i>	'ЗМН. S/ЗМН. Р'
<i>-tri-</i>	'ЗМН. А'

Показатели *-n-* и *-tri-* сочетают значения числа и Агентива, а многозначность показателей *na-* и *pu-* можно устранить, усмотрев в них эргативный принцип кодирования, объединяющий S и Р в единой гиперроли Абсолютива (= Фактитива)⁵. Однако добавление предложений с аргументами 1-го лица создает проблемы для такого анализа.

(7)	а.	<i>ata-wat.</i> 1ЕД. S-идти 'Я пошел.'		
	б.	<i>pu-ka-tay.</i> ЗМН. Р-1ЕД. А-видеть 'Я увидел их.'	б'.	<i>na-ka-tay.</i> ЗЕД. Р-1. ЕД. А-видеть 'Я увидел его.'
	в.	<i>pu-na-tay.</i> ЗМН. А-1ЕД. Р-видеть 'Они увидели меня.'	в'.	<i>na-na-tay.</i> ЗЕД. А-1ЕД. Р-видеть 'Он увидел меня.'

Если в (7б–б') показатели *pu-* и *na-* имеют то же ролевое значение, что и ранее (Пациентивное), то в (7в–в') они уже кодируют Агентив. Что стоит за этой "омонимией"? Очевидно, что интерпретация, предложенная выше на основе данных (6), нуждается в пересмотре. Не затрудняя читателя демонстрацией прочих случаев, критических для традиционного морфологического анализа (их можно обнаружить при рассмотрении нижеследующих примеров), перейду к альтернативной интерпретации, устраняющей "аномалию" и объясняющей кажущуюся запутанной морфологическую технику.

3.2. Морфологический анализ форм спряжения.

Во-первых, более проницательный морфемный анализ, учитывающий данные, приводимые ниже, позволяет свести четыре показателя 3-го лица к двум морфемам, имеющим два алломорфа в зависимости от их начальной или предкорневой позиции: *pu-/tri-* 'ЗМН', *na-/n-* 'ЗЕД'. Во-вторых, маркирование ролевых характеристик аргу-

⁵ Используемый в данной статье понятийный аппарат ролевых и гиперролевых характеристик аргументов и типологии структуры простого предложения описывается в работах [Кибрик 1992: 189–192; 1997].

ментов естественно связать с линейной позицией морфем: согласно данным (6б-в), двухместные глаголы имеют последовательность позиций 'Пациентив + Агентив + + КОРЕНЬ', то есть показатель Пациентива предшествует показателю Агентива. У одноместного глагола, см. (6а), имеется только одна предглагольная позиция, в которой оппозиция между начальной и предкорневой позициями поверхностно нейтрализована. Однако прочие контексты показывают (см. ниже анализ отрицательных предложений), что эта позиция отождествляется с начальной (а не предкорневой) позицией. Если данный морфологический анализ верен, то нелокуторные аргументы используют эргативную схему кодирования S/A/P-ролей, противопоставляя Абсолютив (S и P) Агентиву, что согласуется с результатом четырехморфемного анализа.

Из (7) следует, что дейктически маркированные аргументы (локуторы) переопределяют последовательность расположения личных показателей: показатели локуторных аргументов занимают ближайшую к корню позицию независимо от их роли, см. (7в-в').

Ясно, что *ama-* является специальным показателем S-роли, см. (7а), противопоставленным показателям с А-ролью (*-ka-*), см. (7б), и P-ролью (*-na-*), см. (7б). Таким образом, в данном случае стратегия маркировки локуторов является трехчленной (S, A и P противопоставлены друг другу). В то же время один и тот же показатель 3-го лица мн.ч. *pu-* используется в (7б) для маркировки P-аргумента, а в (7в) – А-аргумента.

Когда же оба аргумента являются локуторами, противопоставлены две ситуации

(8)	а	<i>ma-na-tay</i> 2ЕД. А-1ЕД. Р-видеть 'Ты видел меня.'	б.	<i>kampan-tay</i> 1ЕД. А + 2ЕД. Р-видеть 'Я видел тебя.'
-----	---	--	----	--

Следует иметь в виду, что пример (8б) будет играть решающую роль для выбора и обоснования интерпретации этой системы (см. ниже).

Необъяснимые для традиционного анализа сложности рассматриваемого личного спряжения состоят в том, что кодирование ролевых свойств аргументов как будто не подчиняется никаким правилам: одни и те же показатели и одни и те же линейные позиции могут отсылать как к А, так и к Р, а в (8б) вообще вне всякой логики появляется кумулятивный показатель обоих аргументов. Кроме того, для нелокуторов используется эргативная, а для локуторов трехчленная (= контрастивная) техника ролевого кодирования.

Однако если применить к данным языка йимас гипотезу о релевантности принципа маркированности при взаимодействии ролевых и дейктических значений, то система личного спряжения становится прозрачной и мотивированной.

3.3. Предлагаемая интерпретация.

С точки зрения этой гипотезы правила расстановки личных показателей основываются на следующих иерархиях маркированности (члены иерархии, находящиеся слева от знака '<', являются менее маркированными):

- {1} дейктическая иерархия: $3 < 2 < 1$
- {2} ролевая иерархия для нелокуторов (3-е лицо): Пациентив < Агентив
- {3} ролевая иерархия для локуторов (1/2-е лицо): Агентив < Пациентив.

Дейктическая иерархия означает, что наименее маркированными являются такие сообщения, в которых говорящий описывает внешнюю по отношению к речевому акту ситуацию (в которую не включены в качестве участников локуторы). Сообщение является несколько более маркированным, если говорящий описывает ситуацию, в которой участвует слушающий. Наконец, наиболее маркировано такое сообщение, в котором в качестве его участника выступает сам говорящий.

Ролевая иерархия нелокуторов означает, что для них нормальным является выступать в роли Пациентива, а роль Агентива для них маркирована. Ролевая иерархия для локуторов означает, напротив, что для них нормальным является выступать в роли Агентива, а роль Пациентива для них маркирована.

Глагол имеет две префиксальные позиции для личных показателей:

– **начальную**: немаркированную (предназначенную для менее маркированных показателей), и

– **предкорневую**: маркированную (предназначенную для маркированных показателей)⁶.

Таким образом, выбор префиксальных позиций регулируется свойствами маркированности соответствующих показателей:

– начальную позицию занимает наименее маркированный аргумент двухместного глагола или нелокутор одноместного глагола;

– предкорневую позицию занимает наиболее маркированный аргумент двухместного глагола или локутор (более маркированный, чем нелокутор) одноместного глагола.

В некоторых случаях не возникает конфликта между иерархиями, и тогда распределение аргументов по позициям происходит однозначно:

Типы аргументов:	Последовательность:	Мотивирующая иерархия:
[1] 3.A + 3.P	# 3.P – 3.A – КОРЕНЬ	{2}; {1&3} нерелевантны
[2] 2.A + 1.P	# 2.A – 1.P – КОРЕНЬ	{1&3}; {2} нерелевантна

В случае [1] дейктическая иерархия {1} не различает аргументы, а ролевая иерархия локуторов {3} не работает, так как отсутствуют локуторные аргументы. За расположение префиксов отвечает только ролевая иерархия нелокуторов {2}. В случае [2] две иерархии одновременно квалифицируют 2.A-аргумент как менее маркированный чем 1.P-аргумент; иерархия {2} по понятным причинам не работает.

Более сложны следующие случаи:

Типы аргументов	Последовательность:	Мотивирующая иерархия:
[3] 1/2.A + 3.P	# 3.P – 1/2.A – КОРЕНЬ	{1&2} сильнее, чем {3}
[4] 3.A + 1/2.P	# 3.A – 1/2.P – КОРЕНЬ	{1&3} сильнее, чем {2}

В случае [3] иерархии {1} и {2} квалифицируют 3.P-аргумент как немаркированный и 1/2.A-аргумент как маркированный. Однако они находятся в конфликте с ролевой иерархией локуторов {3}, квалифицирующей агентивный статус 1/2-аргументов как немаркированный. Этот конфликт разрешается в пользу иерархий {1} и {2}.

В случае [4], согласно дейктической иерархии {1}, последовательность показателей должна бы была быть 'A + P + КОРЕНЬ'; из иерархии локуторов {3} дополнительно следует, что локутор должен занимать предкорневую позицию; однако ролевая иерархия нелокуторов {2} эту же предкорневую позицию выбирает для нелокутора. В этой конфликтной ситуации предписание иерархии {2} подавляется более сильными иерархиями {1} и {3}.

⁶ Подчеркну, что у кодирующих средств теперь имеются инвариантные значения: префиксальные морфемы кодируют дейктические характеристики нелокуторных аргументов (лицо – число) и дополнительно – ролевые характеристики локуторных аргументов, а позиции – (не)маркированность роли соответствующего аргумента.

Однако в том случае, когда эти две сильные иерархии находятся в конфликте друг с другом, обычный способ разрешения конфликта (в пользу одного из конкурентов) невозможен:

Типы аргументов:	Последовательность:	Мотивирующая иерархия:
[5] 1.A + 2.P	# portmanteau – КОРЕНЬ	{1} в конфликте с {3}; {2} нерелевантна

Иерархия {1} требует порядка '2.P + 1.A' (так как 2-е лицо менее маркировано, для него предпочтительна начальная позиция, а для 1-го – предкорневая), а иерархия {3} предпочитает обратный порядок '1.A + 2.P' (агентивный локутор предпочитает немаркированную, то есть начальную позицию, а пациентивный – предкорневую). Этот конфликт разрешается с помощью компромисса, а именно использованием особой кумулятивной морфемы (portmanteau), снимающей проблему упорядочивания личных маркеров.

Отрицательные формы с поверхностной точки зрения используют другой морфологический механизм маркирования аргументов, но сохраняют эргативный способ кодирования нелокуторных аргументов:

(9) а	<i>ta-pu-war-um.</i> ОТР-3-идти-3МН 'Они не пошли.'	а'	<i>ta-pu-wat-ø.</i> ОТР-3-идти-3ЕД 'Он не пошел.'
б.	<i>ta-pu-n-tauc-um.</i> ОТР-3-ЗЕД.А-видеть-3МН 'Он их не видел.'	б'	<i>ta-pu-n-tauc-ak.</i> ОТР-3-ЗЕД.А-видеть-3ЕД 'Он его не видел.'
в.	<i>ta-mpu-tauc-ak.</i> ОТР-3МН.А-видеть-3ЕД 'Они его не видели.'	в'	<i>ta-mpu-tauc-um.</i> ОТР-3МН.А-видеть-3ЕД 'Они их не видели.'

В этом случае предкорневая позиция также служит для наиболее маркированного (агентивного) аргумента, в то время как начальную позицию занимает показатель отрицания *ta-* (который иногда, в зависимости от сочетаемостных ограничений, может сопровождаться морфемой *-pu-* – дейктическим показателем 3-го лица аргумента с меньшим рангом). Следствием этого является то, что открывается дополнительная позиция после корня, в которой выражается число смещенного аргумента. При этом ролевые свойства смещенного аргумента нейтрализуются: *-um* маркирует 3-е лицо мн. числа, а *-ak/ø* – 3-е лицо ед. числа. Отрицательные предложения косвенно поддерживают эргативную ориентацию утвердительных предложений. Они также дополнительно подтверждают предложенный выше анализ морфем (*m*)*pu* и *n*(*a*) как фонетически распределенных вариантов 3-го лица безотносительно к их ролевым значениям.

Отрицательные формы с локуторными показателями демонстрируют сдвиг ролевой ориентации, ср. (7).

(10) а	<i>ta-ka-wat.</i> ОТР-1ЕД-идти 'Я не пошел.'		
б.	<i>ta-ka-tauc-um.</i> ОТР-1ЕД.А-видеть-3МН 'Я их не видел.'	б'	<i>ta-ka-tauc-ak.</i> ОТР-1ЕД.А-видеть-3ЕД 'Я его не видел.'
в.	<i>ta-na-tauc-um.</i> ОТР-1ЕД.Р-видеть-3МН 'Они меня не видели.'	в'	<i>ta-na-tay-ø.</i> ОТР-1ЕД.Р-видеть-3ЕД 'Он меня не видел.'
г.	<i>ta-na-tay-ø.</i> ОТР-1ЕД.Р-видеть-ЕД 'Ты меня не видел.'	г'	<i>ta-tran-tay.</i> ОТР-1ЕД.А + 2ЕД.Р-видеть 'Я тебя не видел.'

Во-первых, эти данные подтверждают анализ показателей *-um* и *-ak/ø* как маркеров, не несущих ролевых значений. Показатель отрицания занимает начальную позицию и смещает начальный (менее маркированный) показатель в послекорневую позицию. Во-вторых, (10а) в сравнении с (9а) показывает, что локуторный показатель занимает предкорневую позицию одноместного глагола, благодаря чему он избегает смещения, имеющего место с нелокуторным показателем. В-третьих, отрицательные предложения редуцируют трехчленное противопоставление локуторов: личный показатель одноместного глагола (*ka*) идентичен с агентивным показателем двухместного глагола. Таким образом, в контексте отрицания локуторные аргументы следуют аккузативной стратегии.

Вкратце, различие между локуторным и нелокуторным аргументами состоит в следующем:

– Ролевые свойства локуторных аргументов кодируются морфологически (специальными морфемами), в то время как нелокуторные личные маркеры не имеют ролевой спецификации; роли нелокуторов могут кодироваться позиционно: находясь в предкорневой позиции, нелокутор имеет агентивную роль (но не наоборот).

– Локуторные показатели занимают предкорневую позицию независимо от их роли. Таким образом, эта позиция может быть занята нелокуторным агентивным показателем только в том случае, когда нет конкуренции.

Следует отметить, что эргативное VERSUS аккузативное/трехчленное кодирование соответственно нелокуторов и локуторов не является явлением исключительным. Такая же корреляция обнаруживается в различных языках, см. статистические данные в [Nichols 1993]. Например, давно привлекая к себе внимание свойством многих австралийских языков является эргативное падежное кодирование для существительных в оппозиции к аккузативному падежному кодированию личных местоимений 1-го и 2-го лица [Blake 1977]. Диахроническая устойчивость такого расщепления падежной маркировки имен означает, что оно согласуется с внутренней природой локуторов в их оппозиции к нелокуторам. Различие в маркировке локуторов и нелокуторов не является случайным и следует из их сущностных различий в соответствии с введенными выше иерархиями {2} и {3}.

4. ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК

4.1. Постановка проблемы.

Обратимся теперь к генетически изолированному юкагирскому языку, традиционно относящемуся к палеоазиатским языкам Восточной Сибири (данные заимствованы из работы [Николаева, Хелимский 1996]).

Бросающейся в глаза особенностью юкагирского языка является синонимия предложений с одним и тем же денотативным содержанием:

- (11) 'Я сижу.'
- | | | | |
|----|---------------|-----------------|--|
| a. | <i>mət</i> | <i>modo-ja.</i> | |
| b. | <i>mət-ək</i> | <i>modo-l.</i> | |
- (12) 'Я убил мужчину.'
- | | | | |
|----|---------------|-----------------|------------------|
| a. | <i>mət-ø</i> | <i>šoromə-ø</i> | <i>kudedə-ø</i> |
| b. | <i>mət-ək</i> | <i>šoromə-ø</i> | <i>kudedə-l.</i> |
- (13) 'Медведь убил мужчину.'
- | | | | |
|----|---------------------|--------------------|---------------------|
| a. | <i>me:me:ten-ø</i> | <i>šoromə-lə</i> | <i>kudedə-m.</i> |
| b. | <i>me:me:tel-ək</i> | <i>šoromə-lə</i> | <i>kudedə-l.</i> |
| c. | <i>me:me:ten-ø</i> | <i>šoromə-lə-k</i> | <i>kudedə-m-lə.</i> |

Различия между синонимичными предложениями затрагивают как предикат, так и его аргументы. Поэтому в данном разделе представляется необходимым несколько

расширить состав рассматриваемых кодирующих средств, выйдя за рамки собственно личного спряжения.

4.2. Грамматикализованные характеристики ИГ.

В отличие от рассмотренных выше языков, в юкагирском языке грамматикализованные семантические характеристики именных групп более разнообразны (не исчерпываются категориями роли и лица – числа) и их кодирование происходит как в глаголе, так и в имени (именном склонении). При этом замечательным свойством юкагирских морфосинтаксических средств является последовательное и явное различие немаркированных и маркированных комбинаций значений, относящихся к различным семантическим компонентам. Оставляя в стороне описание открывающей аналитической процедуры, рассмотрим предлагаемую мной конечную интерпретацию (она лишь частично совпадает с описанием в [Николаева, Хелимский 1996]).

В юкагирском языке грамматикализируются следующие концепты:

а. Рольевой параметр: семантические гиперроли – **Принципал** (*PR* – семантическое объединение *S*- и *A*-аргументов) и **Пациентив**, то есть аккузативная схема.

б. Дейктический параметр: **лицо** (местоимение 1–3-го лица) – **не-лицо** (полная ИГ) и **локутор** (1–2-е лицо) – **нелокутор** (местоимение 3-го лица и полная ИГ). Это значит, что в юкагирском языке имеет место следующая дейктическая иерархия:

		лицо	>	не-лицо
{1}	1/2	>	3	>
	локутор	>	нелокутор	>
				не-лицо

в котором местоименное 3-е лицо по категории лица объединяется с 1/2-м лицом, а по категории локутора – с не-личными именными группами.

в. Дискурсивный параметр: **рематизированная VS нерематизированная ИГ** (описывается в [Николаева, Хелимский 1996] в терминах логического ударения или контрастивности).

г. Референциальный параметр: **определенная VS неопределенная ИГ** (определенная ИГ предполагает специфицированность участника, вообще или в описываемом событии).

4.3. Именное склонение.

Сперва рассмотрим именное склонение. Выбор падежа в юкагирском языке управляется рольевыми, дейктическими и дискурсивными характеристиками ИГ.

С точки зрения элементов дейктической иерархии {1}, возможны следующие сочетания дейктических и рольевых характеристик аргументов:

	А	Р
{1}	1/2	не-лицо
{2}	1/2	3
{3}	1/2	1/2
{4}	3	1/2
{5}	3	3
{6}	3	не-лицо
{7}	не-лицо	1/2/3/не-лицо

Поверхностно нейтральное кодирование в переходном предложении используется в немаркированной ситуации, то есть когда Агентив является локутором (1–2-е лицо) и Пациентив – не-лицом. Легко видеть, что эта ситуация описывается аналогично известным нам из языка ймас иерархиями (см. {2} и {3} в разделе 3), а именно:

{2} рольевая иерархия для не-лиц:

Пациентив < Агентив

{3} рольевая иерархия для локуторов:

Агентив < Пациентив.

Что касается местоимения 3-го лица, то оно не включается ни в одну из иерархий и, разделяя свойства нелокуторов и лиц, всегда является маркированным.

В немаркированной ситуации и Агентив, и Пациентив оформляются номинативом (нулевой показатель), совпадающим с немаркированным падежом δ -аргумента переходного предложения⁷.

Итак, случай [1] является немаркированным, а все остальные маркированные. Их можно объединить в две группы, а именно, маркированными комбинациями ролевого и дейктического статуса именных групп являются:

– сочетание локуторного Агентива с личным (местоимение 1–3-го лица) Пациентивом, то есть случаи [2–3].

– нелокуторный Агентив (дейктический статус Пациентива иррелевантен), то есть случаи [4–7].

В этих случаях Агентив стоит в номинативе, а Пациентив в аккумулятиве (показатель *-la*), то есть имеет место поверхностно аккумулятивная схема кодирования.

Сформулированное распределение описывает Правило 1.

Правило 1. Выбор падежа Пациентива. Если Агентив является локутором, а Пациентив – не-лицом, оба аргумента стоят в номинативе, во всех остальных случаях Пациентив стоит в аккумулятиве.

Такие падежные значения возможны, если аргументы не рематизированы. В противном случае рематизированная ИГ принимает форму так называемого рематива (показатель *-k*) независимо от ее семантической роли и дейктического статуса⁸. Иными словами, рематизация сильнее (маркированнее), чем ролевые и дейктические характеристики ИГ.

Правило 2. Выбор рематива. Рематизированная ИГ изменяет свой исходный падеж на рематив.

Наконец, падежи сочетаются с референциальными показателями. Немаркированные комбинации следующие⁹:

[4] иерархия определенности для номинатива/рематива:

определенность < неопределенность

[5] иерархия определенности для аккумулятива:

неопределенность < определенность.

В немаркированной ситуации референциальные характеристики не имеют открытого выражения. В маркированных ситуациях референциальный показатель предшествует падежному показателю.

Именная парадигма содержит такие показатели:

⁷ Отметим, что переходное предложение не является при этом двусмысленным: Агентив и Пациентив различаются благодаря дейктическим характеристикам и глагольным показателям согласования II спряжения (см. ниже).

⁸ В этом случае опять же ее роль в переходном предложении идентифицируется благодаря падежу второго аргумента и глагольному спряжению III или IV (см. ниже).

⁹ Эти иерархии, в полном соответствии со статистическим критерием маркированности (см. [Croft 1990: 84–88]), грамматикализуют известную типологическую тенденцию, состоящую в том, что в текстах субъекты противопоставлены объектам как статистически преимущественно определенные ИГ (см. [Givón 1990]), а в некоторых языках (например, в малагасийском (см. [Keenan 1976: 252]), субъекты могут быть только определенными.

		Ед.	Мн.
Номинатив	определ.	∅	-pə, -puł
	неопредел.	-ŋ/∅ ¹⁰	ʔ ¹⁰
Рематив	определ.	-k	-pə-k
	неопредел.	-lə-k	-pə-lə-k
Аккузатив	определ.	-gə-lə	-pə-gə-lə
	неопредел.	-lə	-pə-lə

Правило 3. (Не)определенность. (В соответствии с иерархиями определенности) при ремативе¹⁰ маркируется значение неопределенности (показатель -lə), при аккумулятиве – значение определенности (показатель -gə).

4.4. Личное спряжение.

Рассмотрим теперь релевантный фрагмент глагольной парадигмы. Он контролируется следующими параметрами именных групп:

- а. Лицо–число Принципала;
- б. Кластеры ролевых и дискурсивных характеристик ИГ в предложении, а именно:
 - нерематизированный аргумент непереходного глагола (S);
 - нерематизированный Агентив и Пациентив;
 - рематизированный Пациентив;
 - рематизированный Принципал.

Эти свойства упаковываются в четыре спряжения. Парадигма аориста индикатива представлена в табл. 4.

Непереходное предложение с нерематизированным единственным аргументом S выбирает спряжение I с соответствующими лично-числовыми показателями. В переходном предложении различаются три случая. Если в нем ни Агентив, ни Пациентив не рематизированы, выбираются показатели Агентива из II спряжения. Если рематизирован Пациентив, используются показатели Агентива из III спряжения. Рематизированный Принципал (т.е. S/A) влечет появление единого показателя -l независимо от его лица и числа (за единственным исключением – 3-м лицом мн. числа, однако следует иметь в виду, что это исключение в действительности совершенно регулярно: во всех спряжениях мн. число от 3-го лица мн. числа образуется с помощью плюрализатора -ni).

Таблица 4

Типы спряжения в юкагирском языке

Лицо – число S/A-аргумента	Тип спряжения			
	I	II	III	IV
	нерематиз. S	нерематиз. A&P	рематизир. P	рематизир. PR
ЕД 1	-jə	-∅	-mə	-l
2	-jək	-mik	-mə	-l
3	-j	-m	-mələ	-l
МН 1	-jejli	-j	-l	-l
2	-jəmət	-mət	-mək	-l
3	-ŋi	-ŋ-am	-ŋi-mələ	-ŋi-l

¹⁰ В статье [Николаева, Хелимский 1996] информация о сочетании номинатива и неопределенности недостаточна.

Правило 4. Тип спряжения. Глагол выбирает I–IV спряжение в зависимости от (не)рематизированности своих аргументов, согласуясь по лицу-числу с S/A-аргументом.

Стоит попутно отметить, что в глагольном спряжении при аргументной рематизации реализуется аккузативная схема (IV и III спряжения противопоставляют Принципал Пациентиву), а при отсутствии рематизированных аргументов схема трехчленная (I спряжение выделяет единственный аргумент S, а II – противопоставляет Агентив, по которому идет согласование, Пациентиву).

В (14–16) повторены с добавлением глоссирования (и выделением полужирным шрифтом рематизированной ИГ) примеры (11–13) для иллюстрирования некоторых из сформулированных выше правил:

- (14) a. *tət-φ* *modo-jə.*
я-ОПР. НОМ сидеть-1ЕД.S
'Я сижу.'
- b. *tət-ək* *modo-l.*
я-ОПР. РЕМ сидеть-РЕМ.PR
'Я сижу.'
- (15) a. *tət-φ* *šoromə-φ* *kudedə-φ.*
я-ОПР.НОМ мужчина-ОПР. НОМНОМ убивать-1ЕД.А
'Я убил мужчину.'
- b. *tət-ək* *šoromə-φ* *kudedə-l.*
я-ОПР. РЕМ мужчина-ОПР. НОМНОМ убивать-РЕМ.PR
'Я убил мужчину.'
- (16) a. *me:me:ten-φ* *šoromə-lə* *kudedə-m.*
медведь-ОПР.НОМ мужчина-ОПР.АКК убивать-3ЕД.А
'Медведь убил мужчину.'
- b. *me:me:te-lə-k* *šoromə-lə* *kudedə-l.*
медведь-НЕОПР-РЕМ мужчина-ОПР.АКК убивать-РЕМ.PR
'Медведь убил мужчину.'
- c. *me:me:ten-φ* *šoromə-lə-k* *kudedə-m-lə.*
медведь-ОПР-НОМ мужчина-НЕОПР-РЕМ убивать-3ЕД.А + РЕМ-Р
'Медведь убил **мужчину**.'

5. АЛЮТОРСКИЙ ЯЗЫК

Завершает данный обзор еще один из палеоазиатских языков – алюторский, являющийся представителем чукотско-камчатской языковой семьи¹¹. Пожалуй, алюторское личное спряжение являет собой наиболее изощренный пример применения исследуемого принципа маркированности при упаковке грамматических значений.

5.1. Парадигма непереходного глагола.

Алюторский язык характеризуется необычайно сложной организацией полиперсонного спряжения. Контролерами согласования являются ядерные аргументы пропозиции. Если глагол одноместный, то глагол согласуется с единственным аргументом (S) по лицу (1, 2, 3) и числу (ед., дв., мн.). Если глагол двухместный, то он согласуется по тем же категориям с обоими аргументами (A и P)¹².

Основная сложность алюторского спряжения состоит не в величине парадигмы (63 согласуемые формы у финитного переходного глагола с заданными видо-времен-

¹¹ Данный раздел основан на материалах, собранных во время руководимых мною Камчатских лингвистических экспедиций филфака МГУ (1971, 1972, 1978 гг.).

¹² Падежное оформление аргументов соответствует классической эргативной схеме: S и P стоят в номинативе, а A – в эргативе.

ными значениями), а в правилах выбора лично-числовых показателей. Традиционный подход, реализованный в работе [Мельчук 1973], привел его автора к констатации "парадигматической неоднозначности", выражающейся в том, что "с одной стороны, многие грамматические значения... имеют каждое по несколько альтернативных показателей (синонимия показателей)... С другой стороны, многие морфологические показатели имеют каждый по несколько альтернативных грамматических значений (омонимия показателей)" [Мельчук 1973, I:4]. "Не будет преувеличением сказать, что алюторское спряжение... самим своим существованием бросает вызов исследователю-морфологу." [Там же: 6]. Ниже будет предложен альтернативный принцип анализа, лишаящий алюторский язык этих "аномальных" свойств.

В основном лично-числовое согласование организовано однотипно при разных видо-временных характеристиках глагола, хотя в отдельных случаях имеются некоторые особенности. Ниже лично-числовое согласование будет рассматриваться на основе парадигмы футурума совершенного вида, поскольку в ней лично-числовые показатели представлены наиболее наглядно.

Одноместный глагол (с аргументом *S*) имеет такие формы (на примере глагола *piŋku-* 'прыгать'):

(17) Спряжение алюторского глагола *piŋku-* 'прыгать' в футуруме совершенного вида

	1 лицо	2 лицо	3 лицо
Ед.	<i>ta-ta-piŋku-ŋ</i>	<i>ta-piŋku-ŋ</i>	<i>ta-piŋku-ŋ</i>
Дв.	<i>mat-ta-piŋku-ŋ</i>	<i>ta-piŋku-ŋ-tək</i>	<i>ta-piŋku-ŋə-t</i>
Мн.	<i>mat-ta-piŋku-la-ŋ</i>	<i>ta-piŋku-la-ŋ-tək</i>	<i>ta-piŋku-la-ŋə-t</i>

Футурум сов. вида имеет разрывный показатель *ta – ŋ*, обрамляющий корень. Ненулевые показатели согласования с *S* идентифицируются в данном случае однозначно:

<i>ta-</i>	'1ЕД'
<i>mat-</i>	'1ДВ/МН'
<i>-tək</i>	'2ДВ/МН'
<i>-t</i>	'3ДВ/МН'

Что касается противопоставления 'двойственное/множественное число', то оно выражается маркированием множественного числа показателем *-la*¹³ в особой позиции – между корнем и суффиксальной частью циркумфикса *ta–ŋ*, т.е. внутри видо-временной основы (в то время как личные показатели располагаются перед видо-временной основой или после нее).

Не все лично-числовые значения выражаются эксплицитно, а именно, формы 2ЕД и 3ЕД не имеют материальных показателей. В связи с этим встает вопрос о нулевых показателях и их месте в глагольной парадигме. С формальной точки зрения может быть предложено несколько трактовок, представленных в таблице 5.

Первая трактовка исходит из того, что все лично-числовые показатели являются циркумфиксами, у которых одна из частей (префиксальная или инфиксальная) выра-

¹³ Числовая иерархия в алюторском языке имеет вид:

$$\text{ЕД} < \text{ДВ} < \text{МН}$$

в отличие от распространенной в языках мира иерархии маркированности ЕД < МН < ДВ (см. [Croft 1990: 92]), наиболее маркированным числовым значением является МН, возможно, в силу бинарной организации числовых значений, см. ниже.

Способы описания S-показателей алуторского спряжения

Значения S-показателей	Способы описания S-показателей			
	N1	N2	N3	N4
'1ЕД'	<i>t</i> — \emptyset	<i>t-</i>	<i>t-</i>	<i>t-</i>
'1ДВ/МН'	<i>mət</i> — \emptyset	<i>mət-</i>	<i>mət-</i>	<i>mət-</i>
'2ЕД'	\emptyset — \emptyset		$-\emptyset$	$\emptyset-$
'2ДВ/МН'	\emptyset — <i>tək</i>	<i>-tək</i>	<i>-tək</i>	<i>-tək</i>
'3ЕД'	\emptyset — \emptyset		$-\emptyset$	$-\emptyset$
'3ДВ/МН'	\emptyset — <i>t</i>	<i>-t</i>	<i>-t</i>	<i>-t</i>

жена нулем. Вторая трактовка исключает наличие нулевых показателей вообще (в этом случае 2ЕД и 3ЕД не имеют в глагольной словоформе средств выражения). Третья трактовка противопоставляет 1-е лицо 2-му и 3-му с точки зрения позиции лично-числового показателя: для 1-го лица это префиксальная позиция, для 2–3-го – суффиксальная. Четвертая трактовка противопоставляет 1-е лицо и ед. число 2-го прочим лично-числовым значениям.

Оставаясь в пределах нелереходной парадигмы, нет критериев, позволяющих предпочесть одну из этих трактовок и отклонить прочие. Однако в более широком парадигматическом контексте системные отношения форм с выраженными и невыраженными лично-числовыми значениями, а также поведение материализованных показателей дает основание для предпочтения последней трактовки, согласно которой 2ЕД выражается нулевым префиксом, а 3ЕД – нулевым суффиксом (тем самым эти формы не омонимичны). Таким образом, для разных значений лица и числа аргумента S используются разные позиции для выражающих их показателей. Показатели 1-го лица и 2ЕД занимают префиксальную позицию, а остальные – суффиксальную.

Кроме того, в нотацию вводится нулевой инфиксальный показатель двойственного числа. Его необходимость станет также ясна в дальнейшем.

5.2. Парадигма переходного глагола.

Для экономии места и большей наглядности приведем лишь схему лично-числового спряжения переходного глагола в футуруме сов. вида (Табл. 6).

В этой парадигме наряду с уже знакомыми показателями (*t-*, *mət-*, *-tək* и др.) имеется целый ряд новых (*ina-*, *na-gət*, *-gət*, *-w* и др.). Кроме того, в глагольной словоформе появляется новая позиция (здесь и ниже для иллюстрации будем использовать формы глагола (*t*)*kəpl* 'бить'), ср.:

- | | | | | |
|------|----|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| (18) | а. | '1ЕД.А + 2ДВ.Р' | <i>tə-ta-ikəpl-əŋ-tək.</i> | 'Я вас двоих побью.' |
| | б. | '3ЕД.А + 1ЕД.Р' | <i>t-ina-ikəpl-əŋ.</i> | 'Он меня побьет.' |
| | в. | '3ДВ.А + 1ЕД.Р' | <i>na-ta-ikəpl-ə-gət.</i> | 'Они вдвоем меня побьют.' |

Если показатели *t-* и *na-* стоят перед видо-временной основой, начинающейся с показателя *ta-*, то показатель *-ina-* находится внутри видо-временной основы, между показателем *ta-* (вариант *t-* выступает перед последующим гласным) и корнем.

Однако проблема интерпретации спряжения двухместного глагола состоит не в увеличении числа показателей и их позиций в глагольной словоформе, а в том, что некоторым показателям не удастся приписать фиксированных значений лица/числа Агентива и Пациентива. Так, в форме:

- | | | | |
|------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| (19) | '1ЕД.А + 2ДВ.Р' | <i>tə-ta-ikəpl-əŋ-tək.</i> | 'Я вас двоих побью.' |
|------|-----------------|----------------------------|----------------------|

Личное спряжение аюторского переходного глагола

А	Р					
	2ЕД	2ДВ	2МН	3ЕД	3ДВ	3МН
1ЕД	<i>t — gət</i>	<i>t — tək</i>	<i>t — la tək</i>	<i>t — n-φ</i>	<i>t — na-t</i>	<i>t — na-w</i>
1ДВ	<i>mət - φ - gət</i>	<i>mət - tək</i>	<i>mət - la - tək</i>	<i>mət - φ - n-φ</i>	<i>mət - na-t</i>	<i>mət - na-w</i>
1МН	<i>mət - la - gət</i>	<i>mət - tək</i>	<i>mət - la - tək</i>	<i>mət - la - n-φ</i>	<i>nət - na-t</i>	<i>mət - na-w</i>
	1ЕД	1ДВ	1МН	3ЕД	3ДВ	3МН
2ЕД	<i>ina-</i>	<i>na - mək</i>	<i>na - la - mək</i>	<i>φ - n-φ</i>	<i>φ - na-t</i>	<i>φ - na-w</i>
2ДВ	<i>ina - tək</i>	<i>na - mək</i>	<i>na - la - mək</i>	<i>φ - tki</i>	<i>φ - tki</i>	<i>φ - la-tki</i>
2МН	<i>ina - la-tək</i>	<i>na - mək</i>	<i>na - la - mək</i>	<i>φ - la-tki</i>	<i>φ - tki</i>	<i>φ - la-tki</i>
	1ЕД	1ДВ	1МН	2ЕД	2ДВ	2МН
3ЕД	<i>ina-</i>	<i>na - mək</i>	<i>na - la - mək</i>	<i>na - gət</i>	<i>na - tək</i>	<i>na - lu - tək</i>
3ДВ	<i>na - gəm</i>	<i>na - mək</i>	<i>na - la - mək</i>	<i>na - gət</i>	<i>na - tək</i>	<i>na - la - tək</i>
3МН	<i>na - gəm</i>	<i>na - mək</i>	<i>na - la - mək</i>	<i>na - gət</i>	<i>na - tək</i>	<i>na - la - tək</i>
	3ЕД	3ДВ	3МН			
3ЕД	<i>-nin-φ</i>	<i>-nina-t</i>	<i>-nina-w</i>			
3ДВ	<i>na - nin-φ</i>	<i>na - nina-t</i>	<i>na - nina-w</i>			
3МН	<i>na - nin-φ</i>	<i>na - nina-t</i>	<i>na - nina-w</i>			

показатель *-tək* кодирует Р, а в форме:

(20) '2ДВ.А + 1ЕД.Р' *t-ina-tkəpl-əŋ-tək*. 'Вы двое меня побьете.'

этот же показатель кодирует А.

В то же время одно и то же категориальное значение в разных формах может выражаться по-разному. В Табл. 6 в столбце со значением '1ЕД.Р' это значение в одних случаях выражается показателем *ina-*, а в других – показателем *-gəm*, ср. также (18б-в).

Более того, в ряде клеток парадигмы (соответствующих разным значениям лица и/или числа Агентива и/или Пациентива) находятся идентичные комбинации показателей (например: *na - tki*, *na - mək*, *na - la - mək*, *na - gət*, *na - tək*, *na - la - tək*, в Табл. 6). Случайны ли эти совпадения? При традиционном подходе такой вопрос не встает. Считается достаточным сформулировать все соответствия между значениями и формами с указанием сочетаемости ограничений. Для нас же этот вопрос является фундаментальным и на него требуется найти отрицательный ответ.

Для удобства расположим материал в соответствии с наблюдаемыми формами, предварив это следующими соображениями. Достаточно очевидно, что троичное противопоставление по числу устроено по двоичному принципу. Сперва противопоставляются единственное и неединственное число, а затем неединственное делится на двойственное и множественное. При этом второе противопоставление часто маркируется особыми показателями в особой морфологической позиции (\pm *-la* в инфиксальной позиции), поэтому временно исключим такие случаи из рассмотрения, см. Табл. 7.

В Табл. 7 тождественные показатели объединены и сходные расположены по воз-

Личное спряжение алюторского переходного глагола (без форм мн. числа)

А	Р	Показатели	А	Р	Показатели		
1ЕД	2ЕД	<i>t</i> — <i>gət</i>	3ЕД	3ЕД	<i>-nin-φ</i>		
	2НЕЕД	<i>t</i> — <i>tək</i>		3ДВ	<i>-nina-t</i>		
	3ЕД	<i>t</i> — <i>n-φ</i>		3МН	<i>-nina-w</i>		
	3ДВ	<i>t</i> — <i>na-t</i>		3НЕЕД	3ЕД	<i>na - nin-φ</i>	
	3МН	<i>t</i> — <i>na-w</i>			3ДВ	<i>na - nina-t</i>	
1НЕЕД	2ЕД	<i>mət</i> — <i>gət</i>	3МН		<i>na - nina-w</i>		
	2НЕЕД	<i>mət</i> — <i>tək</i>	1ЕД		<i>na - gəm</i>		
	3ЕД	<i>mət</i> — <i>n-φ</i>	2/3		1НЕЕД	<i>na - mək</i>	
	3ДВ	<i>mət</i> — <i>na-t</i>		2ЕД	<i>na - gət</i>		
	3МН	<i>mət</i> — <i>na-w</i>		2НЕЕД	<i>na - tək</i>		
2ЕД	3ЕД	<i>φ</i> — <i>n-φ</i>		3	3ЕД	1ЕД	<i>-ina-</i>
	3ДВ	<i>φ</i> — <i>na-t</i>				2ЕД	<i>-ina-</i>
	3МН	<i>φ</i> — <i>na-w</i>	2НЕЕД			<i>-ina - tək</i>	
	2НЕЕД	3	<i>-tki</i>			3ЕД	1ЕД
			2ЕД	<i>-ina-</i>			
			2НЕЕД	1ЕД	<i>-ina - tək</i>		

возможности рядом. Однако многое по-прежнему представляется загадочным, в частности, функции показателей *na-*, *ina-*, причины различной аргументной интерпретации показателя *-tək* в формах *na - tək* ['3.A + 2НЕЕД.Р' – как маркера Пациентива] и *ina - tək* ['1ЕД.Р + 2НЕЕД.А' – как маркера Агентива]. Читатель сам может попробовать решить эту головоломку, используя традиционные средства морфологического анализа. Как выше уже указывалось, в литературе имеется попытка описать данное спряжение методом контекстно-связанных правил [Мельчук 1973], но она дает такое сложное и необъяснительное описание, что поверить в его правдоподобность затруднительно: оно скорее не проще, а сложнее, чем просто полный перечень всех форм.

Оставляя в стороне доказательство невозможности решения данной задачи методом установления прямых соответствий между выделенными категориями и кодирующими их средствами, попытаемся пойти принципиально другим путем. При этом будем исходить из следующих посылок:

- парадигматические системы, как правило, устроены системно; маловероятно существование многоэлементных парадигм с часто повторяющимися фрагментами при том, что эти фрагменты используются идеосинкратично;
- за тождеством формы стоит, как правило, тождество функций, а омонимия может существовать в отдельных звеньях парадигмы, если она скомпенсирована наличием прозрачных системных отношений в других звеньях этой парадигмы;
- парадигма может быть подчинена влиянию некоторых глубинных факторов, лежащих в основе наблюдаемых грамматических категорий.

Действительно, рассмотрение алюторской глагольной парадигмы оставляет ощущение, что за ней стоят не те категории, в терминах которых мы ее представили, а некие другие сущности. Каковы же они?

Первой удачной попыткой интерпретации является гипотеза, предложенная в [Comrie 1980] для родственных алюторскому корякского и чукотского языков. Б. Комри предложил, опираясь на типологические параллели с индейскими языками, некоторые глагольные формы (аналогичные алюторским формам с *ina-* и *na-*) считать получаемыми по правилам инверсии: они возникают, когда ранг лица Агентива ниже, чем ранг лица Пациентива (на иерархии личности $1 > 2 > 3$). Эта гипотеза была отправной точкой настоящего исследования, однако ее оказалось недостаточно: нужно было как минимум выявить состав лично-числовых показателей, реконструировать ту

Собственно лично-числовые показатели алюторского глагола

Лицо-число		S		A		P
		преф.	суфф.	преф.	суфф.	суфф.
локуторы	'1ЕД'	<i>t-</i>		<i>t-</i>		<i>-gəm</i>
	'1НЕЕД'	<i>mat-</i>		<i>mət-</i>		<i>-mək</i>
	'2ЕД'	<i>∅</i>		<i>∅</i>		<i>-gət</i>
нелокуторы	'2НЕЕД'		<i>-tək</i>		<i>-tək</i>	<i>-tək</i>
	'3ЕД'		<i>∅</i>			<i>-n-∅</i>
	'3ДВ'		<i>-t</i>			<i>-na-t</i>
	'3МН'		<i>-t</i>			<i>-na-w</i>

иерархию, которая следует из данных алюторского языка, и сформулировать сопряженные с ней правила. Не затрудняя читателя описанием эвристики процесса интерпретации, изложим его результаты.

5.3. Описание лично-числового спряжения.

5.3.1. Лично-числовые показатели.

Можно выделить показатели, которые однозначно маркируют значения грамматических категорий лица и числа. Эти показатели зависят от синтаксической (ролевой) характеристики аргумента-контролера, см. Табл. 8. Из нее видно, что:

– полную парадигму имеют только S- и P-показатели, в то время как A-показатели имеются лишь у 1-го и 2-го лица, причем префиксальную позицию занимают показатели 1-го лица (для всех чисел) и 2-го лица ед. числа (то есть для значений 'я', 'мы' и 'ты'). Аргументы этого типа будем называть локуторами (участниками речевого акта). Значения 2-го лица неединственного числа и 3-го лица всех чисел (то есть 'вы', 'он' и 'они') специального агентивного показателя не имеют. Эти аргументы будем называть не-локуторами (с точки зрения алюторской системы они не являются собственными участниками речевого акта);

– имеющиеся агентивные показатели фенетически тождественны соответствующим S-показателям (см. Табл. 5);

– пациентивные показатели 2-го лица неединственного числа совпадают с соответствующим S-показателем, а в 3-м лице наблюдается сходство с S-показателями. Точнее, 3-е лицо имеет специфический личный показатель *-n/na* '3.P', к которому присоединяются лично-числовые показатели, схожие с S-показателями. Специфика состоит в том, что 3.P различает двойственное и множественное число, чего нет у S-показателей.

5.3.2. Дейктическая иерархия.

Дейктическая иерархия в алюторском языке имеет вид:

$$\begin{array}{l} 1\text{ЕД} > 1\text{НЕЕД} > 2\text{ЕД} > 2\text{НЕЕД} > 3\text{ЕД} > 3\text{НЕЕД} \\ \text{локуторы} > \text{нелокуторы} \end{array}$$

Расположение лиц именно в таком порядке является не произвольным, а вытекает из специфики алюторского морфосинтаксиса (обоснование см. ниже).

5.3.3. Правила расстановки лично-числовых показателей.

Нижеследующие правила отвечают за построение глагольной словоформы с точностью до различения двойственного – множественного числа.

Правило 1. Немаркированный случай. Если прочие правила не требуют другого, Агентив и Пациентив оформляются своими показателями.

Как явствует из Табл. 8, Агентив оформляется, как правило, префиксальным показателем, а Пациентив – всегда суффиксальным.

Наиболее полно Правило 1 реализуется в немаркированной ситуации (не входящей в сферу действия других Правил). Немаркированная ситуация имеет место, когда Агентив является локутором и превосходит по рангу Пациентив (в соответствии с дейктической иерархией).

По этому Правилу образуются следующие лично-числовые формы (это по существу начальная группа форм в Табл. 7):

(21)	А	Р	Показатели
1ЕД		2ЕД	<i>t</i> — <i>gət</i>
		2НЕЕД	<i>t</i> — <i>gət</i>
		3ЕД	<i>t</i> — <i>n-φ</i>
		3ДВ	<i>t</i> — <i>na-t</i>
		3МН	<i>t</i> — <i>na-w</i>
1НЕЕД		2ЕД	<i>mət</i> — <i>gət</i>
		2НЕЕД	<i>mət</i> — <i>tək</i>
		3ЕД	<i>mət</i> — <i>n-φ</i>
		3ДВ	<i>mət</i> — <i>na-t</i>
		3МН	<i>mət</i> — <i>na-w</i>
2ЕД		3ЕД	<i>φ</i> — <i>n-φ</i>
		3ДВ	<i>φ</i> — <i>na-t</i>
		3МН	<i>φ</i> — <i>na-w</i>

Данное Правило может реализовываться лишь частично, если оно некоторым образом блокируется другими правилами (то есть оно действует по умолчанию, являясь по существу *default rule*), см. примеры ниже.

Прочие Правила охватывают маркированные ситуации. Они могут быть связаны с тем, что Агентив является нелокутором, что Агентив ниже Пациентива по дейктической иерархии или что нарушены оба условия.

Правило 2. Нелокуторный Агентив. Если Агентив является нелокутором и он (с точностью до числа) не ниже Пациентива по дейктической иерархии (в этом случае Пациентив также является нелокутором), используются специальные показатели в суффиксальной позиции.

В принципе имеется четыре комбинации лиц такого рода:

- '2НЕЕД.А + 3'
- '3ЕД.А + 3ЕД.Р'
- '3ЕД.А + 3НЕЕД.Р'
- '3НЕЕД.А + 3НЕЕД.Р'

Правило 2 реализуется в первых трех случаях (последний блокируется Правилем 3, см. ниже).

(22)	А	Р	Показатели
	2НЕЕД	3	<i>-iki</i>
	3ЕД	3ЕД	<i>-ni-n-φ</i>
		3ДВ	<i>-nina-t</i>
		3МН	<i>-nina-w</i>

Показатель *-iki*¹⁴ имеет кумулятивное значение '2НЕЕД.А + 3.Р', показатель *-nin(a)* – кумулятивное значение '3.А + 3.Р'. Конкретное числовое значение Пациентива маркируется отдельными показателями.

¹⁴ Исторически показатель *-iki*, возможно, является модификацией показателя *-tək*, показатель *-ni-* синхронно слит с показателем *-n(a)* '3.Р'.

Ситуация, когда нарушается соответствие между ролями аргументов и их лицом, может в принципе рассматриваться в разных перспективах:

[1] с точки зрения нарушения нормального взаимного расположения аргументов на дейктической иерархии или

[2] с точки зрения одного выделенного аргумента, а именно:

[2a] с точки зрения прототипического Пациентива, или же

[2б] с точки зрения прототипического Агентива.

Алюторский язык чувствителен ко всем трем случаям.

Наиболее прототипической реализацией немаркированной ситуации является случай, когда Пациентив имеет минимальный ранг на личной иерархии, а Агентив – максимальный. Из этого следует, что 'ЗНЕЕД' является **максимально пациентивным** аргументом¹⁵, а '1ЕД' – **максимально агентивным**. Эти роли для них являются соответственно максимально немаркированными. Наоборот, появление их в противоположной роли максимально маркировано.

Следующее Правило объединяет случаи [1–2а] – с инверсией ролей/лиц и с прототипическим Пациентивом ('ЗНЕЕД') в агентивной роли, то есть ситуацию с Агентивом, имеющим максимально низкий ранг.

Правило 3. Агентив низкого ранга. Если в агентивной позиции находится аргумент, занимающий на дейктической иерархии низший ранг или ранг, который ниже ранга Пациентива, то он маркируется показателем *na-* в префиксальной позиции.

Первому условию соответствуют случаи:

(23)	А	Р	Показатели
	ЗНЕЕД	ЗЕД	<i>na - nin-ø</i>
		ЗДВ	<i>na - nina-t</i>
		ЗМН	<i>na - nina-w</i>
		1ЕД	<i>na - gət</i>
		1НЕЕД	<i>na - mək</i>
		2ЕД	<i>na - gət</i>
		2НЕЕД	<i>na - tək</i>

Отметим, что первые три структуры образуются совместным действием Правил 3 и 2, а последние две – действием Правил 3 и 1. Следует также обратить внимание на то, что Правило 3 не регламентирует для аргумента с низшим рангом относительный ранг Пациентива: он может быть как выше Агентива (тогда выполняются оба условия), так и равным ему (тогда выполняется только первое условие). Равенство аргументов по рангу имеет место в (23) во второй и третьей структуре.

Ситуация, когда удовлетворяется только второе условие (ранг Агентива ниже ранга Пациентива), представлены структурами:

(24)	А	Р	Показатели
	ЗЕД/2	1НЕЕД	<i>na - mək</i>
	ЗЕД	2ЕД	<i>na - gət</i>
		2НЕЕД	<i>na - tək</i>

В этих случаях по умолчанию сохраняется немаркированное кодирование Пациентива согласно Правилу 1, а характеристики Агентива нейтрализуются в едином показателе (*na-*).

Следующее Правило касается прототипического Агентива ('1ЕД') в пациентивной позиции.

¹⁵ По существу этот особый статус ЗНЕЕД учтен в работе [Comrie 1980]: Б. Комри выделяет в ролевой иерархии четыре позиции, расщепляя 3-е лицо ($1 < 2 < 3ЕД < 3МН$) именно в связи с поведением морфемы *na-*.

Правило 4. Пациентив высшего ранга. Максимально агентивный аргумент в пациентивной роли маркируется показателем *-ina-* в специальной предкорневой позиции.

(25)	А	Р	Показатели
	3ЕД	1ЕД	<i>-ina-</i>
	2ЕД	1ЕД	\emptyset – <i>ina-</i>
	2НЕЕД	1ЕД	<i>-ina – tək</i>

Естественно, что стандартный показатель Пациентива 1-го лица ед. числа *-gət* в этом случае отсутствует, а показатель Агентива ставится по Правилу 1.

Следует обратить внимание на то, что Правило 4, вообще говоря, во всех случаях (25) как бы вступает в конфликт с Правилем 3 (по которому следовало бы использовать показатель *na-*, так как в позиции Агентива, естественно, находится аргумент с более низким рангом, чем в позиции Пациентива), однако этот конфликт кажущийся, поскольку Правило 4 охватывает маркированный подкласс класса случаев, входящих в сферу действия Правила 3.

Реальный конфликт возникает в случае структуры '3НЕЕД.А + 1ЕД.Р' ['они меня'], когда оба аргумента являются крайними точками на дейктической иерархии и выступают в "необычной" для них роли. Показательно, что в этом случае конфликт разрешается в пользу "необычного" Агентива – именно его "судьба" маркируется префиксальным показателем *na-*, см. (23). В этом случае действует более общее ролевое правило маркированности¹⁶:

Пациентив < Агентив

по которому предпочтение отдается Правилу 3, а не Правилу 4 (в противном случае следовало бы ожидать показателя *ina-*).

5.3.4. Правила постановки плюрализатора.

Плюрализатор *-la-*, как указывалось выше, занимает особую посткорневую позицию. Этот показатель маркирует множественное число Пациентива или Агентива. При этом необходимо сделать одну существенную оговорку. Число Агентива 3-го лица вообще не выражается, а число Пациентива 3-го лица обычно выражено независимым образом в суффиксальной позиции, и в таком случае плюрализатор его не маркирует. Единственное исключение из этого правила – когда Агентив неединственного 2-го лица и Пациентив 3-го лица выражаются кумулятивным суффиксальным показателем *-tki*. В этом случае число Пациентива 3-го лица не имеет суффиксальных средств выражения. Поэтому значение '2ДВ.А + 3МН.Р' имеет плюрализатор: \emptyset – *la* – *tki*, см. Табл. 6.

Возможны следующие сочетания значений числа:

(26)	Агентив	Пациентив	Показатель
	ЕД	ЕД	–
	ЕД	ДВ	–
	ЕД	МН	<i>-la-</i>
	ДВ	ЕД	–
	ДВ	ДВ	–
	ДВ	МН	<i>-la-</i>
	МН	ЕД	<i>-la-</i>
	МН	ДВ	–
	МН	МН	<i>-la-</i>

¹⁶ Это частный случай иерархии эргативной ориентации (Абсолютив < Агентив), играющей в алюторском языке немаловажную роль. Напомним, что при переходном глаголе именно Агентив кодируется маркированным падежом (эргативом).

Как интерпретировать эти данные? Видно, что всегда, когда Пациентив имеет множественное число, появляется плюрализатор. Это представлено в трех случаях из четырех (в двух из них только Пациентив имеет мн. число, в третьем – оба аргумента во мн. числе). Множественное число Агентива, напротив, не обязательно сопровождается плюрализатором. Если Пациентив в ед. числе, Агентив мн. числа контролирует согласование, если в дв. числе – показатель *-la-* отсутствует.

Исходя из этих данных, предлагается считать, что значение двойственного числа имеет нулевой показатель, как это представлено в Табл. 9.

Таблица 9

Посткорневые показатели числа

Агентив	Пациентив	Показатель
ЕД	ЕД	пусто
ДВ	ЕД	?
ЕД/ДВ/МН	ДВ	-φ-
ЕД/ДВ/МН	МН	- <i>ki-</i>
МН	ЕД	- <i>la-</i>

Знак вопроса в второй строке связан с тем, что нет никаких положительных свидетельств в пользу наличия нулевого показателя дв. числа при соответствующем Агентиве, так же как нет и отрицательных свидетельств¹⁷.

Теперь можно сформулировать условия контроля над позицией плюрализации.

Условие	Контролер плюрализации
НЕЕД.Р	Р
ЕД.Р & МН.А	А

А именно, если Пациентив в неединственном числе, он контролирует позицию плюрализации; если Пациентив в единственном числе, а Агентив во множественном числе, то позицию плюрализации контролирует Агентив.

Если добавить согласование при непереходном глаголе, то условия плюрализации можно обобщить следующим образом.

Условие	Контролер плюрализации
только один аргумент (<i>S/P/A</i>) НЕЕД	<i>S/P/A</i>
два аргумента (<i>A</i> и <i>P</i>) НЕЕД	<i>P</i>

Это соответствие отражает Правило 5.

Правило 5. Плюрализатор. Контролером плюрализации является ИГ со значением неединственного числа, а в случае конфликта контролером является Пациентив¹⁸.

5.4. Функциональная мотивация алюторского лично-числового спряжения.

Мы рассмотрели алюторское лично-числовое спряжение преимущественно с дескриптивной точки зрения. Попытаемся теперь обобщить наши наблюдения с точки зрения тех механизмов, которые лежат в основе этой системы.

¹⁷ Заметим, что это весьма распространенный случай, когда трудно разграничить нулевой показатель и отсутствие показателя.

¹⁸ Эта формулировка компактна, но двусмысленна с точки зрения ролевой ориентации. Это Правило можно переформулировать в терминах немаркированного эргативного согласования, не навязывая алюторскому языку отклонений от типичной эргативной схемы:

согласование по неединственному числу контролирует Абсолютив, если же Абсолютив в ед. числе, то контролером становится Агентив.

В алыторском языке в весьма прихотливой поверхностной кодирующей форме отражается взаимодействие ролевых и дейктических характеристик аргументов. Если бы дейктические характеристики не играли самостоятельной роли, кодирование осуществлялось бы лишь в соответствии с Правилем 1, когда показатели Агентива и Пациентива однозначно распределяются по морфологическим позициям (например, Агентив маркируется в префиксальной позиции, а Пациентив – в суффиксальной). Дейктические характеристики аргументов свободно бы сочетались с ролевыми.

Однако в алыторском языке ролевые и дейктические характеристики аргументов не механически перемножаются, а взаимодействуют по правилам, учитывающим градуальную маркированность/немаркированность соответствующих сочетаний их значений.

Сложность системы дейктических значений связана со способом интерпретации неединственного числа. Действительно, базовые дейктические категории – говорящий ['я'], адресат ['ты'] и прочие участники события ['он/они']. На них обычно базируется стандартная дейктическая иерархия '1 > 2 > 3'. Однако 1-е лицо мн. числа ['мы'] состоит из говорящего и не-говорящего, 2-е лицо мн. числа ['вы'] состоит из адресата и прочих участников события. Как соотносить эти концепты с базовыми? В принципе возможны различные стратегии, однако в алыторском языке реализуется принцип понижения ранга небазовых дейктических категорий относительно базовых, что отражается в дейктической иерархии, приведенной в разделе 5.3.1.

Эта иерархия задает шкалированную интерпретацию обратимой маркированности ролевых и дейктических значений. Нормальной, немаркированной признается такое распределение ролей, когда говорящий играет в ситуации агентивную роль, а посторонний к речевому акту участник – пациентивную. То есть роли Агентива и Пациентива наиболее "гармонично" сочетаются с крайними точками дейктической иерархии. Что касается промежуточных рангов в иерархии личности, то они создают промежуточные случаи, к которым алыторский язык также чрезвычайно чувствителен (благодаря чему и удается эту иерархию реконструировать).

Основное членение противопоставляет локуторов нелокуторам. Оно проявляется уже в спряжении переходного глагола. Локуторы кодируются в префиксальной позиции, а нелокуторы в суффиксальной. При переходном глаголе эти позиции соответственно занимают Агентив и Пациентив. К тому же показатели Агентива и Пациентива материально совпадают или почти совпадают с S-показателями. Если перевести это распределение на язык гиперролей, то обнаруживается "гармония" локуторов с гиперролью Актора, а нелокуторов – с гиперролью Претерпевающего, являющихся базовыми для системы активного типа. Эти гиперроли в алыторском языке в явном виде не выражены, но косвенно фигурируют в таком преобразованном виде.

Нетривиально, что значение '2НЕЕД' ['вы'] формально относится к нелокуторам (хотя по другому основанию 1-е и 2-е лица в целом противопоставлены 3-му – только 1-2-е лица допускают плюрализацию и, наоборот, только 3-е лицо (Пациенса) имеет отдельные числовые показатели в суффиксальной позиции). Это отчетливо видно в Правиле 2, создающем так называемые *portmanteau* показатели. Мотивация для такой кодировки вполне естественная: при равенстве свойств двух элементов они сливаются в одну единицу, см. аналогичную ситуацию в языке йимас.

Специальное выделение в иерархии ее крайних членов как эталонов "гармонии" с ролевыми характеристиками (Агентива или Пациентива) также весьма примечательно. Существенно при этом, что маркированная агентивная роль аргумента ЗНЕЕД приравнивается формально к ситуации инверсии роли/лица (Правило 3).

Следует отметить, что маркированная для 1ЕД роль Пациентива кодируется тем же средством (*-ina-*), что и антипассив (переход периферийного аргумента в косвенном падеже, в частности, эргативе, характерном для роли Агентива, в позицию прямого падежа (номинатива, которым, кстати, оформляется Пациентив). Возможно, тут мы имеем дело с одним и тем же процессом.

Если рассматривать морфологию аляutorского лично-числового согласования в функциональной перспективе, можно уверенно констатировать, что практически все используемые в нем формальные средства оказываются не нагромождением непонятных морфем с немислимо сложной дистрибуцией, а изящной реализацией простых базовых принципов сочетания значений, относящихся к различным семантическим компонентам – ролевому и дейктическому.

В свою очередь, "реабилитация" аляutorского языка, возвращающая его в лоно языков, использующих типологически "нормальные" принципы кодирования, служит косвенным подтверждением правильной интерпретации его данных.

6. УРОКИ "АНОМАЛЬНЫХ" ЯЗЫКОВ

Попытаемся извлечь из рассмотренного материала и его интерпретации некоторые уроки для общей лингвистической теории.

Мы рассмотрели данные пяти неродственных языков, относящихся к различным географическим ареалам (даргинского, сванского, йимас, юкагирского и аляutorского), в которых независимым образом проявляются нетривиальные с традиционной точки зрения принципы кодирования грамматических значений. Во всех случаях мы имели дело с ситуацией, когда грамматические значения, относящиеся к различным семантическим компонентам высказывания, то есть с логической точки зрения свободно сочетающиеся друг с другом, кодировались тем не менее не автономно, а с учетом "естественности", "ожидаемости" комбинаций этих значений. Более того, факты, которые в перспективе системы каждого конкретного языка можно было бы списать за счет их "экзотичности", при их сопоставлении проявляют удивительную повторяемость, что вынуждает отнестись к ним с повышенным вниманием. Выделим отдельные аспекты обсуждавшихся выше систем, в частности те, что вынесены в заголовок данной статьи.

6.1. Дейктические иерархии.

Во всех рассмотренных языках с личным спряжением фундаментальное значение имеет дейктическая иерархия. Эта иерархия приобретает в конкретных языках различные модификации. Так, в даргинском и сванском языках она сводится к бинарному противопоставлению

$1/2 > 3$,

в йимас – к трехчленному противопоставлению

$1 > 2 > 3$,

в юкагирском – к противопоставлению

$1/2 > 3 > \text{не-лицо}$,

а в аляutorском различается шесть членов иерархии:

$1\text{ЕД} > 1\text{НЕЕД} > 2\text{ЕД} > 2\text{НЕЕД} > 3\text{ЕД} > 3\text{НЕЕД}$.

Однако вариативность этих модификаций не произвольна, их объединяет, во-первых, фундаментальное противопоставление локуторов/нелокуторов (именно локуторы относятся собственно к дейктическому компоненту смысла) и, во-вторых, единообразная ориентация направления маркированности: левые члены иерархий более маркированы, чем правые.

Языки по-разному используют дейктическую иерархию в построении личного спряжения. В даргинском и сванском языках она функционирует автономно (локуторы ведут себя иначе, чем нелокуторы), а в йимас, юкагирском и аляutorском языках дейктическая иерархия взаимодействует с ролевой иерархией по принципу обратимой маркированности (markedness reversal, см. [Croft 1990:134]): ролевая иерархия меняет направление маркированности в зависимости от дейктической характеристики аргумента. Примечательно, что взаимодействие дейктических и ролевых характеристик аргументов осуществляется по одной схеме: дейктически маркированные аргументы "гармонируют" с Агентивом, а немаркированные – с Пациентивом. Иными словами, в

данном отношении языки одинаковым образом концептуализируют "положение дел" в мире.

6.2. Роли.

Рассмотренные данные лишний раз подтверждают гипотезу об универсальной значимости ролевых характеристик аргументов. Чувствительность к ним языковой системы проявляется не только на уровне прямого наблюдения (в падежных системах, кодирующих роли приименными маркерами), но и в более изощренной форме, в нашем случае – во взаимодействии с действительными значениями. Обращает на себя внимание тот факт, что в нашей выборке представлены языки, которые чувствительны к ролевому кодированию (при том, что в них реализованы различные схемы ролевого кодирования, по крайней мере, эргативная и аккузативная), но нет языков, в которых аргументы кодировались бы синтаксическими позициями (такими, как подлежащее, дополнение). Думается, что это вряд ли связано со случайностью выборки, а обусловлено ролевой семантикой аргументов. В языках, где доминирует собственно синтаксическая категоризация аргументов, их ролевые свойства затемнены. Если данная корреляция правдоподобна, то наличие в языке обратимого маркирования данного типа может быть симптомом отсутствия в этом языке именных членов предложения (обратное не утверждается).

6.3. Наблюдаемая морфологическая форма и нули.

Анализ парадигм разноструктурных языков продемонстрировал необходимость очень осторожного подхода к морфемному членению и к постулированию ненаблюдаемых морфем (нулей).

В ряде случаев проведение инвентаризации морфем является далеко не тривиальной задачей, а неправильно проведенное членение может завести исследователя в тупик. Мы сталкивались с проблемами морфочленения в сванском и алыторском языках, формально допускающих альтернативное членение (выделение отдельных префиксов и суффиксов или единого циркумфикса), в йимас, где некоторые показатели можно было анализировать как отдельные морфемы или алломорфы одной морфемы. Эти проблемы не являются периферийными, так как за ними стоит вопрос о том, какие языковые единицы описываются и каким единицам ставится в соответствие то или иное значение. Как показывает практика, решение этих вопросов не лежит исключительно в области формальной морфологии, а зачастую выбор альтернативы зависит от того, какие значения приписываются выделяемым показателям. Таким образом, правдоподобность того или иного членения во многом предопределяется правдоподобностью выделяемых при этом значений. В то же время успех семантической интерпретации означаемых зависит от правильности выделения означающих.

В рассматриваемых выше парадигмах часто возникала ситуация, когда некоторое ожидаемое значение не имело материального выражения. В такой ситуации часто усматривают нулевые морфемы. Между тем известно различие между нулем и отсутствием языковой формы (см. [Мельчук 1974]). Как можно было видеть, принятие того или иного решения зачастую не является тривиальной задачей и зависит от многих факторов. В целом, в данной работе нулевые показатели вводились в тех случаях, когда можно было обнаружить косвенные следы их присутствия. К таким следам относятся, в частности, системные основания. Так, из системных соображений в Табл. 5 были введены префиксальные и инфиксальные нули, различающие внешне омонимичные формы алыторского глагола: \emptyset -*tapin̄kɨŋ* '2. ЕД-прыгнешь' и *tapin̄kɨŋ*- \emptyset 'прыгнет-3.ЕД'. Что касается инфиксальной позиции плюрализации в алыторском глаголе, в ней усматривается наличие нулевого показателя двойственного числа Пациентива, в отличие от значения единственного числа, не имеющего выражения, см. Табл. 9. При этом вопрос о нулевом выражении двойственного числа Агентива остается открытым, так как нет ни положительных, ни отрицательных свидетельств.

Вообще говоря, в некоторых случаях принять однозначное решение о наличии или отсутствии нуля оказывается затруднительным, но постулирование нуля всегда более ответственно.

Как следует из сказанного, анализ морфологической формы имеет самое прямое отношение к анализу значения, так как форма и значение являются зеркальным отражением друг друга, но исследователь, как правило, приступает к изучению значения, лишь имея в распоряжении его отражение в зеркале формы.

В свете принимаемой нами точки зрения введенное в название выражение "аномальная" упаковка грамматической семантики смысла не имеет. Оно должно рассматриваться не более как интригующая мимикрия под традиционный взгляд на проблему. "Аномальной" упаковки не существует, за ней скрываются аномальные презумпции и убеждения, бытующие в лингвистической теории.

6.4. Маркированность.

О данном феномене уже по необходимости говорилось выше. К сказанному можно добавить следующее. Анализ рассмотренных языков подтверждает продуктивность, а в ряде случаев необходимость данного понятия при описании языковой системы. Оно не только позволяет объяснить кодирующую технику, но в ряде случаев и описать ее. Оказывается, что иногда само значение морфемы кодирует не некоторую семантическую константу, а ее переменный маркированный статус. Таковы, например, аллоторские морфемы *na-*, *ina-*, которым, в соответствии с Правилами 3 и 4, приписывается соответственно значение Агентива низкого ранга и Пациентива высшего ранга.

В приводимых выше интерпретациях существенную роль играли такие реализации этого понятия, как градуальная маркированность, позволяющая по-разному проводить членение на шкале маркированности (см. аллоторский язык), и обратимая маркированность, связывающая дейктические и ролевые значения.

Принцип маркированности в системе знакообразования, будучи незамеченным, приводит как раз к тем самым "аномальным" эффектам, которые возбуждают недоумение исследователей и побуждают их лишней раз взывать к спасительному тезису о немотивированности языковых знаков и об отсутствии инвариантных значений.

В связи с этим следует отметить, что продемонстрированная выше возможность кардинально уменьшить синонимию и омонимию языковых единиц на примере личного спряжения не должна рассматриваться как периферийное явление, ограниченное именно этим фрагментом морфологии и именно этими семантическими категориями. Напротив, мне бы хотелось подчеркнуть **фундаментальный, методологический** характер обнаруженных закономерностей построения языковых знаков. В нашем случае неумолимая логика формальной морфологии дает путеводную нить для поиска истинных механизмов их устройства, лежащих в когнитивной сфере, а не в сфере произвольной наблюдаемой формы. Поэтому в каком-то смысле на рассмотренном языковом материале обнаружить этот механизм значительно проще, чем во многих других случаях, и ранее этого сделано не было лишь из-за принимаемых на веру ложных посылок. Но если предложенные выше описания (или хотя бы даже принципы таких описаний) верны, то это дает новый импульс для обращения к проблеме **инварианта значения** языковых единиц. Скептицизм в отношении этой проблемы обусловлен не обреченностью поисков инвариантов, а упрощенным пониманием их природы. Инвариант значения языковой единицы – это не логико-математическое пересечение наблюдаемых значений. Значения, которые, как нам кажется, мы наблюдаем, есть результат взаимодействия инвариантного значения данной единицы с сочетаемыми инвариантными значениями других единиц, и вычислить эти инварианты можно не иначе, как **реконструировав сочетаемостный механизм**.

В качестве кандидатов на роль таких сочетаемостных механизмов можно предложить принципы маркированности и, в том числе, несомненно, принцип обратной маркированности. В этой перспективе совершенно новое толкование могут получить

многие классические проблемы грамматической семантики (хотя и лексическая семантика несомненно соткана из таких же механизмов), такие как видовые и временные значения, соотношение числа и лексического значения имени, концепты коммуникативной и референциальной семантики и многие другие. Но это уже далеко выходит за рамки проблематики данной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кибрик А.А.* 1996 – Язык не так нелеп как кажется (лично–числовое глагольное согласование в сванском языке) // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию А.А. Зализняка. М. 1996.
- Кибрик А.Е.* 1979 – Материалы к типологии эргативности. 3. Чирагский язык // Предварительные публикации ИРЯ АН СССР. Вып. 127. М., 1979.
- Кибрик А.Е.* 1992 – Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
- Кибрик А.Е., Селезнев М.Г.* 1982 – Синтаксис и морфология глагольного согласования в табасаранском языке // Табасаранские этюды. М., 1982.
- Мельчук И.А.* 1973 – Модель спряжения в аллоторском языке. I, II // Предварительные публикации ИРЯ АН СССР. Вып. 46–47. М., 1973.
- Мельчук И.А.* 1974 – О синтаксическом нуле // Типология пассивных конструкций: диатезы и залогии. Л., 1974.
- Николаева И.А., Хелимский Е.А.* 1996 – Юкагирский язык // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1996.
- Blake B.* 1977 – Case marking in Australian languages. Canberra, 1977.
- Comrie B.* 1980 – Inverse verb forms in Siberia: evidence from Chukchee, Koryak, and Kamchadal // *Folia linguistica historica*. 1980.
- Croft W.* 1990 – Typology and universals. Cambridge, 1990.
- Foley W.A.* 1991 – The Yimas language of New Guinea. Stanford, 1991.
- Foley W.A.* 1993 – The conceptual basis of grammatical relations // *Foley W.A. (ed.). The role of theory in language description*. Berlin, 1993.
- Givon T.* 1990 – Syntax: A functional typological introduction. Vol. II. Amsterdam, 1990.
- Keenan E.* 1976 – Remarkable subjects in Malagasy // *Ch. Li (ed.) Subject and topic*. New York, 1976.
- Kibrik A.E.* 1997 – Beyond subjects and objects: Towards a comprehensive relational typology // *Linguistic typology*. 1997. V. 1. N3.
- Nichols J.* 1993 – Ergativity and linguistic geography // *Australian journal of linguistics*. 1993. V. 13.

© 1997 г. В.М. ЖИВОВ

ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ СИНТАКСИСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
 (По поводу книги: G. Hüttl-Folter. *Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen.* Böhlau Verlag, Wien; Köln; Weimar, 1996. 319 S.)

Есть области славистики, которые хотя бы на первый взгляд кажутся досконально изученными. Другие, напротив, не изучены настолько, что это бросается в глаза. Исторический синтаксис несомненно принадлежит к числу последних. Те суммирующие работы (например, Т.П. Ломтева или В.И. Борковского), которые определяют общий взгляд на характер исторических процессов, давно и безнадежно устарели – как по методам синтаксического анализа, оставшимся на уровне школьной грамматики, так и по способам обработки и экстерпирования письменных источников, в целом игнорирующим разнородность средневекового узуса. Та проблематика, которая определяет динамику синтаксических исследований в синхронии (лингвистика текста, изучение синтаксиса разговорной речи и т.д.), в историческом синтаксисе остается почти не затронутой. Отдельные работы, появившиеся в последнее время (например, Д.С. Ворта о дательном самостоятельном [Worth 1994] или Н. Бермела о функционировании видовой корреляции [Bermel 1995]), показывают, в каком направлении может развиваться данная область, но не меняют общей картины. Между тем очевидно, что в истории русского языка общие принципы синтаксического построения текста переживают существенные изменения. Во всяком случае именно такое впечатление складывается из сопоставления разнородных средневековых текстов – будь то книжные (церковнославянские) тексты, организованные по классическим риторическим образцам, или не книжные деловые и бытовые тексты, характеризующиеся ситуационным синтаксисом. – с памятниками русского литературного языка нового типа, от "Езды в остров любви" Третьяковского до произведений Пушкина или Тургенева.

Эти очевидные на первый взгляд отличия, никогда, впрочем, последовательно не проанализированные, подводят к заключению, что между средневековым узусом, представленным разнородными традициями, и узусом XVIII в., достаточно однородным и в своих основных чертах существующим по сей день, преемственность отсутствует. Этот тезис в 1970-е годы высказывался и автором рассматриваемой монографии, и А.В. Исаченко, указывавшими, что именно на синтаксическом уровне формирование русского литературного языка нового типа представляет собой разрыв с предшествующими традициями и что именно этот уровень имеет кардинальное значение для определения типа языка. Как писала Г. Хютль-Фольтер, "der Syntax als höchster Ebene im hierarchischen System der Sprache kommt entscheidende Bedeutung bei der Beurteilung zu, ob ein sprachlich stark gemischter Text in der einen oder anderen Sprache abgefasst ist" [Hüttl-Worth 1978: 188]. Основываясь на этом общем положении, исследователь делал вывод, что "[г]лубокие преобразования в области синтаксиса, которые происходили в русском литературном языке с начала и до конца XVIII в., завершившиеся в Новом слоге, убедительно доказывают, на наш взгляд, мнение, что речь идет о новообразовании (т.е. что русский литературный язык XVIII в. представляет собой новообразование – В.Ж.). Иначе говоря, синтаксис нового языка равным образом

отличается от синтаксиса церковнославянского языка и делового" [Хютль-Фольтер 1987: 9].

Ряд примеров, приведшихся при обсуждении этого вопроса, был весьма выразителен и прекрасно иллюстрировал общий тезис. Так, например, А.В. Исаченко полемизировал с Е.Т. Черкасовой, утверждавшей, что "синтаксический строй русского языка [...] изначально развивался по собственному пути" [Черкасова 1972: 81] (Черкасова в свой черед полемизировала с Б.О. Унбегауном) и в качестве доказательства рассматривавшей средства союзного подчинения. Если Черкасова заявляла, что эти средства сложились "в недрах живой народной речи" [там же: 78], то Исаченко резонно замечал, что "eine ansehnliche Zahl russischer Konjunktionen keineswegs als Schöpfungen der russischen Kanzleisprache, sondern als Lehnprägungen aus dem Französischen, Deutschen oder Polnischen zu erklären sind" [Issatschenko 1974: 270]. В частности, например, союз *благодаря тому что* появляется именно как калька франц. *grâce à* или нем. *dank* (с дативом), о чем и свидетельствует дативное управление, при том что глагол *благодарить* управляет вин. падежом [Issatschenko 1974: 270]. Отсюда делался вывод, что разрыв в преемственности был обусловлен ориентацией на синтаксис новых европейских языков (французского и немецкого), откуда и был усвоен новый принцип синтаксического построения. "Es ist wohlbekannt, – утверждает Г. Хютль-Фольтер, – dass der kirchenslavische Anteil auf den Gebiet der Syntax im Laufe des 18. Jahrhunderts durch lateinische und westeuropäische Vorbilder abgelöst wurde, wobei des Französische den umfassendsten und nachhaltigsten Einfluss auf die neuere russische Schriftsprache ausübte" [Hüttl-Worth 1978: 189].

Сколь бы "хорошо известен" ни был данный тезис, понятно, что для доказательства его нескольких примеров недостаточно. Как замечает сама Г. Хютль-Фольтер, "[s]ämtliche Einzelheiten dieses Prozesses harren noch einer genauen Untersuchung" [Hüttl-Worth 1978: 189]. И дело даже не в деталях. Нужно глобальное сопоставление синтаксических характеристик средневековых текстов (прежде всего текстов XVII в.) с текстами, появляющимися в период формирования русского литературного языка нового типа (в петровскую и послепетровскую эпоху), а этих последних, в свою очередь, с текстами более поздними, когда норму нового литературного языка можно считать стабилизировавшейся (последнее сопоставление необходимо для того, чтобы установить, какие черты, появившиеся в период формирования, сделались для нового литературного языка конститутивными). Только в рамках подобного исследования можно определить, насколько существенно сказалось влияние новых западноевропейских языков, в какой мере оно вступало в противоречие с преемственностью традиционных лингвистических навыков и до какой степени (и в чем именно) эта преемственность все же имела место – хотя бы в силу того факта, что русские, несмотря на все усилия Петра, остались русскими и не превратились в немцев или французов.

В контексте этих общих задач Г. Хютль-Фольтер и предприняла то монументальное исследование, результаты которого излагаются в рецензируемой монографии. Для исследования были избраны два важнейших аспекта синтаксического устройства русского литературного языка нового типа – сложноподчиненное предложение и деепричастные конструкции. Материалом послужили три пространных текста первой половины XVIII в., т.е. времени начального формирования русского литературного языка нового типа. Все три текста представляют собой переводы с французского, и в этом смысле идеально подходят для решения поставленной задачи – выяснить, как французские синтаксические построения проецировались на русский материал. Избранные три текста – это "Разсуждение о оказательствах к миру. И о важности чтоб оставить Гибралтар, соединен со владениями Великобритани. Выданное в лондоне, и переведено с французскаго языка на российскою" (СПб., 1720 – переводчик неизвестен, французский оригинал не установлен), "Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла парижской Академии наук секретаря. С французского перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве 1730 году"

(СПб., 1740 – перевод А. Кантемира), "Военное состояние Оттоманския империя с ея приращением и упадком. Сочинено чрез графа де Марсильи" (СПб., 1737, ч. 1, 2 – перевод В.К. Тредиаковского). Избранные тексты в самом деле представляют собой характерные образцы русского литературного языка нового типа на стадии его формирования, обособления от старого книжного языка и начальной нормализации; они создают для исследователя прекрасные возможности еще и потому, что переводной текст сопровождается в них оригинальным (в предисловиях и примечаниях), что позволяет увидеть, как синтаксические построения, соотнесенные с французскими оригиналами, реализуются в собственной языковой практике переводчиков, или, иными словами, что остается лишь калькой переводного текста, а что оказывается чертой нового литературного языка как такового.

Двум аспектам исследования соответствует две части монографии: первая часть посвящена сложноподчиненному предложению, вторая – деепричастным конструкциям. Две части отличаются способом изложения материала. В первой части материал распределен по типам сложноподчиненных предложений, для каждого типа приводятся данные по трем исследованным памятникам, сопоставляются статистические характеристики, рассматривается, в какой степени перевод отклоняется от оригинала в трактовке данного типа предложения. Во второй части, имеющей дело с деепричастными конструкциями, изложение ведется по памятникам; для каждого из трех текстов приводятся полные данные об употреблении деепричастных оборотов, их типах и их соответствии различным конструкциям французских оригиналов; сопоставление данных по трем текстам позволяет сделать общие выводы.

Начнем с первой части. Здесь, как уже сказано, последовательно анализируются типы сложноподчиненных предложений. В отдельных параграфах рассматривается относительное подчинение, придаточные изъявительные, временные, условные, уступительные, придаточные следствия (*Konsekutivsätze*), причины (*Kausalsätze*), цели (*Finalsätze*), придаточные образа действия (сравнительные, степени и способа действия, общие), ограничительные (*Restriktivsätze*), противопоставительные (*Adversativsätze*), придаточные места. Для каждого из типов указывается общая частота употребления, а также соотношение предложений данного типа, повторяющих предложения того же типа во французском оригинале, и предложений, имеющих гетерогенное французское соответствие. Рассматриваются подчинительные союзы и союзные слова, используемые для каждого из типов подчинительной связи, и именно они служат теми рубриками, по которым организовано изложение в данных параграфах. Специально отмечается позиция придаточного предложения (в препозиции, постпозиции или внутри главного) и соответствие между постановкой придаточного в переводе и эквивалентной ему конструкции в оригинале.

Так, например, в параграфе, посвященном придаточным относительным, автор начинает с анализа придаточных с союзом *который*. Сначала рассматриваются придаточные с *который* без антицедента в главном предложении. Таких в исследуемых текстах оказывается: в "Рассуждении" 82 (65 в переводной, 17 в оригинальной части), в "Разговорах" 588 (494 в переводной, 84 в оригинальной части), в первой части "Военного состояния" 893 (879 в переводной, 14 в оригинальной части). Г. Хюльфельтер отмечает, что в последних двух текстах (для них известен французский оригинал) рассматриваемые относительные придаточные по большей части воспроизводят аналогичные придаточные французского оригинала (с союзами *qui* и *que*, а также *dont*, *duquel*, *lequel*, *où*); в "Разговорах" подобное воспроизведение покрывает 449 предложений из 494 (т.е. 91%), в "Военном состоянии" 744 из 879 (т.е. 85%). Релятивные придаточные с *который* оказываются, таким образом, прочно укоренены в синтаксической организации анализируемых текстов, о чем свидетельствует и использование их для передачи иных конструкций французских оригиналов: Кантемир пользуется ими для перевода приименного родительного и инфинитивных конструкций, Тредиаковский, прибегая к этому средству чаще, чем Кантемир, употребляет их в качестве соответствия для причастных конструкций (52 случая), самостоятельных

предложений (21 случай), различных атрибутивных конструкций (47 случаев), придаточных другого типа и инфинитивных конструкций (8 случаев).

Широкое использование в переводах относительных придаточных в соответствии с относительными придаточными французских оригиналов позволяет исследователю сделать вывод, что именно синтаксическая организация этих последних обуславливает употребительность придаточных с *который* в анализируемых русских текстах. При этом «позиция придаточных с *который* в переводах практически всегда совпадает с их позицией в оригиналах. В "Разговорах" (651 пример) придаточные с *который* употреблены в препозиции 3 раза, в интерпозиции 131 раз и в постпозиции 517 раз, при этом лишь в 7 случаях перевод отклоняется от оригинала. В "Военном состоянии" из 1105 относительных придаточных с *который* 160 находятся в интерпозиции, 944 в постпозиции и одно в препозиции. Лишь в одном случае позиция в переводе не совпадает с позицией в оригинале» (с. 38–39). Влияние французского синтаксиса сказывается и в прямых синтаксических галлицизмах. К их числу автор относит цепочки из придаточных с *который*, связанных сочинительными союзами типа (пример из "Разговоров") "Такие они люди, *которым* смех неизвестное дело, *которым* надобно целый день, чтоб ответствовать на самое малейшее предложение, и *которым* Катон Утицкой показался бы чрез меру шутлив и непостоянен" (во французском та же структура: "...qui ne savent... qui prennent... et qui eussent trouvé"). Другим галлицизмом является соединение с помощью сочинительного союза придаточного с *который* и определения, например (пример из "Военного состояния"): "Сие делает *очень знатную сумму*, и *которую* нельзя считать" ("...ce qui monte, à une somme très considérable, et qu'on ne peut calculer"). На основании этих данных автор приходит к общему выводу: "Французский язык оказал сильнейшее влияние на выбор определенных моделей относительных придаточных, которые сделались наиболее употребительными конструкциями в новом литературном русском языке и остаются таковыми по сей день" (с. 39).

Это общее заключение, видимо, справедливо, однако, на наш взгляд, оно требует определенных уточнений. Уточнить следует, что именно было инновацией и какие именно инновативные черты обусловлены французским влиянием. Автор вводит в научный оборот обширный корпус данных, относящийся к первой половине XVIII в., однако оценить новизну проанализированных синтаксических конструкций можно лишь на фоне аналогичных данных для более ранних периодов (прежде всего XVII в.), а такими данными мы, к сожалению, не располагаем. Поэтому опираться приходится на случайные и не всегда достоверные выводы, не дающие надежной основы для реконструкции процесса синтаксического развития в целом. Г. Хютль-Фольтер ссылается, например, на заключения М.Н. Вьюковой из давней и устаревшей работы, в которой утверждалось, что в XVII в. "не было единой модели построения конструкций с зависимым определительным предложением", тогда как в XVIII в. такая модель появилась [Вьюкова 1957: 106]. В текстах XVII в. единообразия, действительно, нет, поскольку узус распадается на ряд относительно автономных письменных традиций (ср. [Живов 1996: 31–52]), однако из этого вовсе не следует, что модели, получившие преимущественное распространение в XVIII в., не были представлены в этих письменных традициях.

Г. Хютль-Фольтер указывает, что от ряда старых конструкций в анализируемых памятниках сохраняются лишь единичные следы, имея в виду как относительные предложения с союзами *иже*, *яже*, *еже* (несколько раз встречающиеся только в наиболее раннем "Разсуждении"), так и придаточные предложения, где при союзе *который* повторяется определяемое существительное главного предложения (с. 35). Вместе с тем отмечается, что относительные предложения с *который* и коррелятом в главной части, широко представленные в рассматриваемых текстах, существенно увеличивают свою частоту сравнительно с текстами XVII в. Например, у Котошихина построения с *тот – который* встречаются лишь 9 раз, тогда как в анализируемых переводах примеры исчисляются десятками (с. 44). Такие факты и в самом деле

создают впечатление перелома в развитии, при котором массивные инновации не могут быть объяснены как внутренняя эволюция и побуждают искать внешние образцы.

Перелом, видимо, и в самом деле имел место, и внешние образцы сыграли в нем определенную роль, однако вряд ли при этом стоит преуменьшать значение преемственности. Относительные союзы *иже*, *яже*, *еже* действительно перестают употребляться в текстах XVIII в., и их место занимает союз *который*, однако это по существу лексическая замена, не меняющая сама по себе синтаксического построения. При этом нет никаких оснований думать, что в данном изменении как-либо сказалось французское влияние. В деловых и бытовых текстах XVII в., которые чаще всего служили материалом для синтаксических наблюдений, построения с союзами *иже*, *яже*, *еже* практически отсутствуют, такие построения характерны для книжных текстов, в частности текстов нарративных и описательных, к которым ближе всего примыкают анализируемые переводы в литературном (риторическом) отношении. Эти тексты почти не исследовались, однако выборочные наблюдения показывают, что придаточные относительные с данными союзами достаточно в них единообразны, многочисленны и сходны по своему построению с теми предложениями с *который*, которые характерны для современного русского литературного языка.

Так, в первой части "Скифской истории" Андрея Лызлова [Лызлов 1990], сочинении не переводном, а оригинальном, написанном в 1692 г. на обычном книжном языке того времени (гибридном церковнославянском), я насчитал 65 относительных придаточных полной структуры с *иже* (в различных формах) и *идеже*, еще четыре придаточных с *иже* и нулевым сказуемым (типа "до пределов хийских, иже со Индию") и четыре относительных придаточных с *который* (не отличающихся по своему строению от аналогичных придаточных современного языка). Первая часть занимает всего 14 печатных страниц, так что плотность употребления относительных придаточных вполне сравнима с той, которая наблюдается в переводных текстах XVIII в., ср. типичный период: "От сих убо татар монгаилов изъидоша *сии* татарове, *иже* суть к нам, савроматом, пришельцы, *их же* называем крымския, монконския, перекопския, белгородские, очаковские, и *все те* народы, *иже* обитают около езера Палюсмеотис, то есть Азовскаго моря" [Лызлов 1990: 13]. Если заменить *иже* на *которые*, *их же* на *которых* и т.д., мы получим вполне обычные для литературного языка нового типа фразы, так что ничто не мешает видеть в подобных текстах (наряду с текстами французскими) прецедент той синтаксической организации нарратива, которая наблюдается в переводных памятниках XVIII в. О преемственности может, как кажется, свидетельствовать такая частная деталь, как позиция относительного местоимения, указывающего на принадлежность. В текстах первой половины XVIII в. (в отличие от современного языка) относительное местоимение ставится в большинстве случаев в начале придаточного, ср. пример из "Разговоров" Кантемира: "Меркурии [...] близок к Солнцу, в *котораго* лучах почти всегда скрыт живет" ("*dans les rayons duquel*") (рассматриваемая монография, с. 49); характерность этой позиции никак не может быть обусловлена французским подтекстом, зато легко объясняется как воспроизведение порядка слов в придаточных с союзами *егоже*, *еяже*, *ихже*, практически всегда занимающими начальную позицию, ср. у Лызлова: "половцы, *чрез их же* землю бегоша" [Лызлов 1990: 16].

Не менее показательно, что в книжных текстах XVII в. почти никогда не встречаются придаточные предложения, где при союзе *который* повторяется определяемое существительное главного предложения. Редкие употребления этого рода Г. Хютль-Фольтер отмечает в исследуемых ею текстах. В "Разсуждении" встречается пять таких конструкций, в "Разговорах" одна, ср. пример последней: "Нынешние Паписты говорят, что город Рим Папе Силвестру от Костантина великаго Греческаго Императора *жалованною грамотою* в вечное владение отдан, *которои грамоты* однакож нигде неможно показать..." (с. 55). Для приказного языка XVI–XVII в. такая конструк-

ция была стандартной, что, видимо, связано со спецификой делового документа: повторение в придаточном определяемого слова (или его производного) делает эксплицитной смысловую связь двух утверждений (так же как, скажем, деиктические прилагательные типа *aforementioned* в английском деловом языке), тогда как релятивизатор (*который*) обеспечивает связь формальную (отсюда понятно, почему употребление релятивизатора в приказном языке оказывается факультативным). Для других письменных традиций XVII в., в частности для книжных нарративных текстов (летописей, житий и т.д.), подобное построение нехарактерно и появляется лишь в виде единичных вкраплений, т.е. в точности таким же образом, как в рассматриваемых переводных текстах первой половины XVIII в. И в этом плане также можно говорить не только о влиянии французской синтаксической организации, но и о преемственности по отношению к старой книжной традиции¹.

Я позволил себе это пространное отступление об относительном подчинении, поскольку на данном примере отчетливо видны те проблемы, с которыми сталкивается исторический синтаксис русского литературного языка XVIII в. в силу недостаточной изученности синтаксиса различных письменных традиций предшествующего столетия. Эти проблемы возникают, естественно, не только с относительным подчинением, но практически и со всеми другими темами, рассматриваемыми в монографии, и к этому мы еще обратимся ниже. Вернусь теперь к изложению книги Г. Хютль-Фольтер, к тому параграфу о придаточных определительных, резюмирование которого было начато выше.

Проанализировав придаточные с *который* без антицедента в главном предложении, Г. Хютль-Фольтер переходит к анализу придаточных с антицедентом, рассматривая конструкции с антицедентами *сей, такой, оный, тот* и т.д. И для этих конструкций приводятся статистические данные по трем исследуемым памятникам. Специальное внимание уделено различию ограничительных и распространительно-повествовательных относительных предложений (с. 45–48). Оба типа достаточно широко, хотя и в неодинаковой пропорции представлены в анализируемых переводах. Г. Хютль-Фольтер приводит мнение В.И. Троицкого [Троицкий 1968: 155], согласно которому оба типа известны в памятниках XVI–XVII вв., однако второй встречается лишь в редких случаях. Г. Хютль-Фольтер справедливо замечает, что этот вывод связан с тем, что В.И. Троицкий исследовал преимущественно деловые тексты, в которых подобным предложениям просто нет места, тогда как в книжных текстах XVII в. (в качестве примера указано на "Географию" Ортелия в переводе 1670 г., исследованную П. Костой [Kosta 1982]) они отнюдь редкостью не являются. И здесь, таким образом, французский субстрат (в данном случае несомненный, поскольку тип семантической связи в переводах воспроизводит соответствующие параметры оригиналов) идет рука об руку с наследием старой книжной традиции.

Далее разбираются придаточные определительные, в которых относительное местоимение стоит в родительном принадлежности (с. 48–53); о них я упоминал выше. Выше упоминались и конструкции, которые анализируются в следующем разделе, — "устаревшие конструкции с *иже* и *который*" (с. 53–56). Отдельные разделы посвя-

¹Надо, впрочем, отметить, что в отдельных литературных текстах первой половины XVIII в. построения, характерные для приказного языка, встречаются относительно часто. Так обстоит дело, например, в известной "Истории о российском матросе Василии Корнютском", ср. здесь: "...и просил его, чтоб он во Францию сходил с товарами..., по которому прошению он Василий не послушался одного гостя"; или с препозицией придаточного: "И на котором корабле был Василий, и оный корабль волнами разбит". Для данного периода степень использования подобных конструкций может, видимо, служить индикатором социальной среды, в которой возникает и бытует тот или иной текст. Тексты, появляющиеся в рамках элитарной европеизированной культуры, лишь в малой степени затронуты субстратом приказной традиции и очень скоро от этого субстрата избавляются (показательно, что уже в "Военном состоянии" 1737 г. подобные построения отсутствуют). В какой мере это ограниченное использование связано с ориентацией на европейские образцы, а в какой — с преемственностью по отношению к старой книжной традиции, требует дальнейшего исследования.

щены "малоупотребительным относительным предложениям" с союзом *кой* (с. 56–57) и релятивным конструкциям, относящимся к главному предложению в целом (*freie Relativsätze*) и использующим союзы *еже* и *что* (с. 57–59). Отсюда делается естественный переход к другим относительным предложениям с союзом *что* (с. 59–61), а затем рассматриваются предложения с союзами *кто*, *чей*, *каков*, *каковой*, *какой*, *коликий*, *где*, *куда*, *откуда*, *когда* и *как*. Завершается параграф сводными статистическими таблицами для каждого из памятников, в которых для каждого из типов союзной связи указывается число примеров в переводной и непереводной части памятника, а также, для каждой из частей, число примеров с препозицией, интерпозицией и постпозицией придаточного.

Аналогичным образом построены и другие параграфы, трактующие различные виды придаточных предложений. С той же тщательностью обследуется материал, столь же последовательно проводится сопоставление с французскими оригиналами, так же подробно приводятся статистические данные. Понятно, что объем материала по разным видам придаточных предложений различен, поэтому одни параграфы пространны, а другие занимают всего несколько страниц, однако во всех случаях читатель получает адекватную картину, поскольку она может быть воссоздана из анализируемых текстов. Рамки статьи не позволяют хотя бы и вкратце пересказать содержание всех параграфов, поэтому в качестве компромисса я остановлюсь лишь на еще одном, посвященном придаточному образу и способу действия.

Г. Хютль-Фольтер начинает изложение с указания, что наиболее распространенным типом данного придаточного является конструкция *так – что*, известная в украинских (югозападнорусских) текстах XVI–XVII вв. и отсюда, видимо, проникшая в Московскую Русь; в любом случае она восходит к польской конструкции *tak – że*. Данное построение реализуется в трех вариантах, все они представлены в русском литературном языке нового типа с начальных этапов его формирования. В первом *так* определяет качественное наречие или прилагательное, во втором – предикат главного предложения, а в третьем, представленном только в "Военном состоянии", относится ко всему главному предложению. Конструкция употребляется в соответствии с франц. *si + прилагательное/наречие – que*, а также *de sorte que*, *ensorte que* и т.д. Разобрав данную конструкцию (с. 191–193), автор указывает, что в качестве варианта *так* может выступать *такой*, *толикий*, *таким образом*, *таков* и сообщает статистические данные об употреблении этих коррелятов. Особое внимание уделено обороту *столько* (*столь*, *столький*, *толикий*) – *что*; ссылаясь на Н.А. Широкову, Г. Хютль-Фольтер утверждает, что в древнерусском этот оборот употреблялся "только при выражении соответствия по количеству" [Широкова 1966: 98]; в новом литературном языке он применяется и для сопоставления по степени признака ("колодези [...] *столько велики, что можно чрез трубку их усмотреть*" из "Разговоров" – с. 195 рассматриваемой монографии); Широкова датирует эту инновацию второй половиной XVIII в., обсуждаемое исследование позволяет передатировать ее на полвека раньше. Г. Хютль-Фольтер указывает, что построения с *столько*, *столь*, *столький*, нередкие у Кантемира, отсутствуют у Тредиаковского, который употребляет в аналогичных случаях построения с *толь* (с. 196), и здесь вновь не вполне ясным оказывается, где речь идет о синтаксических функциях, а где о лексических (и стилистических) вариантах союзных средств.

В следующем разделе разбираются придаточные образа действия с союзом *чтобы* и антицедентом в главном предложении; автор отличает такие придаточные от придаточных цели: в предложениях первого типа имеется в виду не цель, но степень признака, обуславливающая ситуацию, описываемую в придаточном, ср. из "Разсуждения": "и оные еще *такое худое мнение* о знании и искусстве нашем [...] *не имеют, чтоб* они дерзнули учинить нам такое недостойное предложение". По мнению автора, распространение таких конструкций, известных, кажется, и ранее, происходит под

французским влиянием, которое и мотивирует вытеснение в данной функции союза *что* союзом *чтоб*. Как показывают "Разговоры", французским подтекстом оказывается здесь конструкция "*pour* + инфинитив", а также обороты с *si* или *tant*, за которыми следует инфинитив с *de* или *de que*. Наблюдения этого рода приводят автора к выводу, что развитие данного типа предложений в русском литературном языке нового типа обнаруживает существенное французское влияние. При этом "изменения, которые в специальной литературе, не упоминающей о внешних импульсах, датировались второй половиной XVIII в., оказываются представленными с 1730-х годов в первых же крупных переводах с французского" (с. 206).

Следует вообще отметить, что исчерпывающее исследование трех значимых для истории русского литературного языка текстов позволило автору передатировать целый ряд инноваций, и это еще раз обращает нас к тому факту, что только подобного рода сплошной анализ важнейших в лингвистической перспективе текстов (а не наблюдения, сделанные над случайными выборками из картотек и отдельных примеров) может сформировать основу для построения реального исторического синтаксиса. Сверх отмеченной выше коррекции, Г. Хютль-Фольтер передатирует также придаточные цели, соединенные сочинительной связью с предложной конструкцией типа "надлежало бы нам употребить все возможные меры, для умножения морских наших сил, и да бы держать в узде тех..." ("Разсуждение"); как показывают примеры из трех проанализированных текстов, такие построения появляются уже в начале XVIII в. (с. 177–178), тогда как И.И. Ковтунова [Ковтунова 1964: 427] указывала на распространение подобных конструкций (под французским влиянием) лишь в начале XIX в. Аналогичным образом, придаточные ограничительные с конструкцией *не что иное, как*, которые, по данным Н.А. Широковой, "отмечаются со второй половины XVIII в." (примеры из Фонвизина и Карамзина) [Широкова 1966: 38], Г. Хютль-Фольтер находит уже в исследованных ею памятниках, ср. в "Военном состоянии": "Язык франкской нечто иное, как испорченный Итальянской..."; этот оборот употребляется в соответствии с франц. *n'est autre chose que*; впрочем, Г. Хютль-Фольтер резонно полагает, что источником может быть и нем. *ist nichts anders als* (с. 216). Надо, однако, отметить, что все эти находки, сколь бы важны они ни были сами по себе, не дают окончательной хронологии, поскольку для предшествующих XVIII в. периодов адекватно обработанный материал отсутствует – исследование Г. Хютль-Фольтер задает такой стандарт синтаксического описания текста, которому соответствуют лишь очень немногие работы, посвященные текстам более ранним, и отсутствие сопоставимых данных для других хронологических слоев накладывает существенные ограничения на возможные выводы общего характера.

Вторая часть работы, в три раза меньшая первой, посвящена деепричастным конструкциям и организована по иному принципу, нежели первая. Поскольку материал относительно однороден, каждый из анализируемых памятников рассматривается особо: трем текстам посвящены три отдельные параграфа. Для каждого памятника выясняется, как и в каком количестве употребляются (а) деепричастия наст. времени несов. вида на *-я(-а)*, *-ючи(-ючи)*, (б) деепричастия прош. времени сов. вида на *-в*, *-вши*, *-ши*, (в) деепричастия сов. вида на *-в*, *-вши*, *-ши*, (г) деепричастия сов. вида на *-я(-а)*; отдельно рассматриваются деепричастия-связки *будучи* и *быв(ши)*. Различаются обособленные и необособленные деепричастия (деепричастные обороты), хотя именно в данном случае не только критерии различения оказываются не слишком четкими (на что обращает внимание и сам автор – с. 238–239), но и цель различения не вполне ясной. В нормативных описаниях современного русского языка это различие возникает в связи с требованиями пунктуации, в значительной степени искусственно и никак не соотносится однозначно с семантическими или дискурсивными оппозициями (в глубинной семантической репрезентации и обособленные деепричастные обороты, и существительная часть необособленных являются отдельными предикативными компонентами); понятно в этой ситуации, что при отсутствии нормализованной пунктуации в

русской письменности XVIII в. и при неочевидности различия для языкового сознания, оно непосредственно никак в употреблении не обнаруживается и потому вряд ли заслуживает особого анализа.

Учитывается также позиция деепричастного оборота (препозиция, интерпозиция или постпозиция во фразе), рассматриваются французские соответствия, выявляются семантические характеристики деепричастных оборотов (прежде всего одновременность/неодновременность действий или состояний, обозначенных деепричастием и основным предикатом). Отдельно отмечаются деепричастные обороты с субъектом, отличающимся от субъекта основного предложения, причем различаются абсолютные деепричастные обороты и обороты с "непрямой кореференцией" – понятие введено Г. Раппапортом и обозначает такое построение, когда субъекты основного предложения и деепричастного оборота хотя и не совпадают, однако один субъект косвенно отсылает к другому [Rapport 1984: 46], ср. пример из "Разговоров" "Не будучи *мое намерение* сочинить пустую и бесполезную Систему, употребил я истинные физические разсуждения" (рассматриваемая монография, с. 258) – *мое намерение* и я связаны кореферентной связью. Обобщающие наблюдения содержатся в параграфе, посвященном "Разговорам" Кантемира.

Для "Разговоров" Кантемира характерны следующие черты в употреблении деепричастий. Во-первых, деепричастия употребляются очень широко. В тексте в целом деепричастные обороты встречаются 229 раз, при этом в переводном тексте 201 раз. Менее чем в трети случаев (62 из 201) деепричастные обороты перевода повторяют деепричастные обороты оригинала, в 139 случаях они употреблены в соответствии с иными конструкциями французского источника (прежде всего в соответствии с инфинитивными конструкциями, для которых прямое соответствие в русском синтаксисе отсутствует). Во-вторых, наиболее широко представлены деепричастия наст. времени (147 из 201 примера), причем в основном это деепричастия на *-я(-а)*, тогда как деепричастия на *-ючи(-ючи)* встречаются – если исключить *будучи* – всего 5 раз; выбор данной формы (деепричастия наст. времени), как справедливо замечает автор, не может быть обусловлен французским оригиналом, так как во французском имеется лишь одна форма герундива. В-третьих, широкое распространение в переводном тексте получают конструкции с *будучи* (44 примера) (с. 235); последнее обстоятельство связано у Кантемира, как предполагает Г. Хютль-Фольтер, с дефектностью презентной парадигмы глагола *быть*: эта связь выражается, в частности, в том, что в 16 случаях *будучи* соответствует личным презентным формам *être*, т.е. как бы восполняет нулевую связку (с. 253). Во всех перечисленных аспектах узус "Военного состояния" совпадает в целом с узусом "Разговоров"; от последнего не отличается радикальным образом и узус, наблюдающийся в "Разсуждении" (материал которого относительно невелик, что ограничивает возможности содержательного анализа). В этом плане употребление деепричастных конструкций в "Разговорах" можно считать репрезентативным для анализируемого типа текстов, и это оправдывает изложение основных результатов исследования деепричастных конструкций в параграфе, посвященном данному памятнику.

Возникает вопрос, касающийся и относительно сложноподчиненных предложений, какие именно факторы обуславливают наблюдаемое употребление деепричастных конструкций, в какой степени оно определяется французским оригиналом, а в какой степени продолжает местные традиции; важно, естественно, и то, какие именно традиции находят продолжение в русском литературном языке нового типа вообще и в памятниках анализируемого типа в частности. Г. Хютль-Фольтер указывает, что позиция деепричастной конструкции в предложении практически полностью определяется французским оригиналом (позицией герундивных конструкций во французском тексте или позицией тех конструкций, например, инфинитивных, на место которых русские авторы подставляют деепричастные обороты) (с. 234). Комментируя позицию конструкций с деепричастиями сов. вида, Г. Хютль-Фольтер приходит к заключению,

что "контуры французского периода" сохраняются в русском тексте, несмотря на то что деепричастные обороты могут замещать конструкции иного типа (с. 262). Этот вывод сомнений не вызывает, однако его значимость для процессов формирования русского литературного языка нового типа остается неясной. То, что общее изменение дискурсивных моделей произошло, представляется правдоподобным, хотя структура периода в книжных текстах XVII в. остается неизученной и в силу этого сравнивать не с чем². Сказалось ли это на характере употребления деепричастных оборотов и, в частности, на их позиции во фразе, установить сложнее.

Сам по себе тот факт, что в двух третях случаев деепричастные обороты употребляются вне соответствия с герундивными конструкциями французских оригиналов, показывает, что это употребление стимулировано не процессом перевода, а традиционными лингвистическими навыками переводчиков. Можно полагать, что ориентировались они на ту самую книжную традицию, о которой мы уже говорили выше, – на книжные повествовательные тексты, написанные на модернизированном (гибридном) церковнославянском. Косвенно на это указывает тот факт, что презентные деепричастия употребляются в основном в форме на -я(-а), тогда как деепричастия на -учи(-ючи), за исключением *будучи*, появляются относительно редко; именно так обстоит дело и в гибридных церковнославянских текстах, тогда как в деловых и бытовых текстах XVII в. пропорции данных форм имеют совершенно иной вид. Об этом говорит и сама Г. Хютль-Фольтер, замечая, что в "позднем (упрощенном) церковнославянском *будучи* выступает с теми же функциями и значениями, что и у Кантемира" (с. 245) и приводя в качестве примера перевод Псалтыри, сделанный в 1683 г. Авраамием Фирсовым.

В рамках такой преемственности может интерпретироваться и употребление деепричастных оборотов с субъектом, отличающимся от субъекта основного предложения. Ряд таких оборотов обусловлен, конечно, французским оригиналом и, можно думать, входит в русский литературный язык именно под французским влиянием. Имею в виду обороты типа *не считая, не исключая, не касаясь*, которые, однако же, как справедливо отмечает Г. Хютль-Фольтер, передают не французский герундив, а инфинитивные конструкции типа *sans compter, sans excepter, sans toucher*. Такие обороты представлены в "Военном состоянии" Тредиаковского (с. 287) как соответствия указанным французским выражениям и в дальнейшем укореняются в русском литературном языке.

Французский оригинал безусловно не мог повлиять на появление предложений, в которых деепричастие является единственным предикатом. Два таких примера имеются в "Разговорах о множестве миров", и Г. Хютль-Фольтер полагает, что ко времени Кантемира подобные построения были устаревшими (с. 267). Нет оснований думать, что такие конструкции когда-либо были широко распространены или являлись нормативными для какой бы то ни было письменной традиции, однако в гибридных церковнославянских текстах они встречаются – в тем большем количестве, чем далее отступает текст от стандартного церковнославянского (ср. довольно многочисленные примеры из Мазуринской летописи конца XVII в. – [Живов 1995: 57–58]). Как реликт подобного употребления следует, видимо, толковать и примеры из "Разговоров". Показательно, что в "Военном состоянии" таких примеров нет (с. 302), что естественно связать с более высокой грамматической образованностью Тредиаковского, не допускавшего подобных ляпсусов.

² Несомненно, что структура периода в новом литературном языке радикально отличалась от той, которая была характерна для деловых текстов XVII в. Подобное же различие устанавливается и между деловыми текстами XVIII в. и аналогичными текстами предшествующего столетия, устанавливается по мере того, как деловые тексты начинают составляться на новом литературном языке. Это, однако, лишь побочный и вполне ожидаемый эффект процессов формирования нового литературного языка, не связанного отношениями преемственности с приказным языком XVII в., и функциональной экспансии этого нового литературного языка, претендующего на универсальность (ср. [Живов 1996: 110–124]).

Что же касается абсолютных деепричастных конструкций, которые встречаются и в "Рассуждении", и у Кантемира, и у Третьяковского, то субстратом для них может служить и французский язык (абсолютные герундивные конструкции), и гибридная традиция. Можно думать, что французский субстрат способствовал употреблению таких конструкций, при том что прецедент имелся в русской письменной традиции (впрочем, и в средневековых текстах, и в новом литературном языке не как нормативное явление) и актуализовался за счет французских стимулов. Характерно, что такие обороты появляются у Кантемира и Третьяковского в основном вне соответствия с французскими абсолютными герундивными конструкциями, имеются они и в оригинальном тексте, ср. в примечаниях Кантемира: "*Вошедши дверьми к передней стене, зделан феатр, или место, на котором изображатели представляют свои действия*" (рассматриваемая монография, с. 270). Таким образом и здесь, как и в синтаксисе сложноподчиненного предложения, происходит сложный синтез книжных традиций предшествующей эпохи с внешними влияниями, и именно из этого синтеза образуется русский литературный язык нового типа³.

Как уже говорилось, проблему того, что в литературном языке нового типа и в какой степени восходит к каждому из составляющих этого синтеза, решить в настоящее время достаточно сложно, и книга Г. Хютль-Фольтер никаких окончательных ответов не дает. Зато она отчетливо показывает, что ситуация здесь значительно сложнее, чем представлялось А.В. Исаченко и автору рассматриваемой монографии в 1970-е годы: западное влияние в синтаксисе несомненно, но оно не объясняет процесса в целом и не исключает определенной преемственности по отношению к книжному языку предшествующих эпох. Книга Г. Хютль-Фольтер не позволяет восстановить картину этого развития во всех деталях, да автор и не ставил перед собой такой задачи. Однако трудно переоценить тот вклад в решение этой проблемы, который она вносит. Раньше, обсуждая эту проблематику, мы имели дело с двумя неизвестными – начальным этапом формирования русского литературного языка нового типа и книжной традицией средневековья. Это, естественно, сказывалось на качестве и достоверности общих построений. Теперь одна из лакун в значительной степени заполнена и, как мы видели, трудности в построении общей картины оказываются обусловленными отсутствием таких синтаксических исследований текстов XVII в., которые по тщательности и полноте могли бы сравниться с рассматриваемой книгой. Монография Г. Хютль-Фольтер безусловно останется в науке как важнейший источник сведений о синтаксисе русского языка первой половины XVIII в. и послужит, надо надеяться, ценнейшим материалом для построения русского исторического синтаксиса на новых и достоверных основаниях.

³Сделаю еще одно частное замечание о деепричастных конструкциях. Анализируя обороты с деепричастиями сов. вида на *-я(-а)*, Г. Хютль-Фольтер ссылается на наблюдение Р.О. Якобсона, согласно которому перфектное деепричастие на *-я(-а)* обозначает действие, непосредственно предшествующее основному, и по этому признаку противопоставляет перфектному деепричастию на *-в*. Если в контексте *прочитав* (или *прочтя*) книгу, он задумался эти формы взаимозаменяемы, то в контексте *прочитав книгу, он впоследствии часто говорил о ней* замена *прочитав* на *прочтя* невозможна – именно в силу отсутствия непосредственного следования [Jakobson 1957: 8]. Насколько последовательно проводится эта дифференциация в современном русском употреблении, трудно сказать. Г. Хютль-Фольтер предполагает, основываясь на двух примерах, что такая же дифференциация имела место и у Кантемира (с. 237–238). Такая интерпретация вряд ли правомерна. Для форм деепричастия в этот период характерна широкая вариативность, не упорядоченная грамматической традицией, дифференциация этих форм явно не имеет еще общепринятого характера, и нет достаточных оснований думать, что Кантемир избирает тот способ различения форм на *-я(-а)* и на *-в(-вши)*, который утвердился в литературном языке в позднейшее время.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вьюкова М.Н.* 1957 – Относительные предложения с союзным словом "который" в литературном языке 18 века // Уч. зап. Томского гос. ун-та им. В.В. Куйбышева. № 30. 1957.
- Живов В.М.* 1995 – Usus scribendi. Простые претериты у летописца-самоучки // R Ling. 1995. V. 19. № 1.
- Живов В.М.* 1996 – Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Ковтунова И.И.* 1964 – Изменения в системе осложненного предложения // Изменения в системе простого и осложненного предложения в русском литературном языке XIX века [Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века]. М., 1964.
- Лызлов А.* 1990 – Скифская история / Подготовка текста, комментарий и аннотированный список имен А.П. Богданова. М., 1990.
- Троицкий В.И.* 1968 – Относительное подчинение в языке русской письменности XVI–XVII веков. Казань, 1968.
- Черкасова Е.Т.* 1972 – К вопросу о самобытности синтаксического строения русского языка // ВЯ. 1972. № 5.
- Хютль-Фольтер Г.* 1987 – Языковая ситуация петровской эпохи и возникновение русского литературного языка нового типа // Wiener Slavistisches Jahrbuch. Bd. 33. 1987.
- Широкова Н.А.* 1966 – Из истории союзных конструкций, выражающих отношения сравнения. Казань, 1966.
- Bermel N.* 1995 – Aspect and the shape of action in Old Russian // R Ling. 1995. V. 19. № 3.
- Hüttl-Worth G.* 1978 – Zum Primat der Syntax bei historischen Untersuchungen des Russischen // Studia linguistica Alexandro Vasiliij filio Issatschenko a collegis amicisque oblata. Lisse, 1978.
- Issatschenko A.* 1974 – Vorgeschichte und Entstehung der modernen russischen Literatursprache // ZSlPh. 1974. Bd. 37. Hf. 2.
- Jakobson R.* 1957 – Shifters, verbal categories, and the Russian verb. Harvard University, 1957.
- Kosta P.* 1982 – Eine russische Kosmographie aus dem 17. Jahrhundert. Sprachwissenschaftliche Analyse mit Textedition und Faksimile // Specimina philologiae slavicae, Bd. 40. München.
- Rappaport G.C.* 1984 – Grammatical function and syntactic structure. The adverbial participle of Russian / UCLA Slavic Studies. V. 9. Columbus. 1984.
- Worth D.* 1994 – The dative absolute in the "Primary Chronicle": some observations // Harvard Ukrainian studies. 1994. V. XVIII. № 1/2.

© 1997 г. Л. ЯСАН

О ПРИНЦИПАХ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПАРЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

Видовую парность (соотносительность) принято считать не только одним из основных понятий славянской аспектологии, но, в силу высокой степени грамматикализации процесса имперфективации (отчасти и перфективации), и "исключительным свойством" славянского глагола. Именно наличие чисто грамматической и, как правило, достаточно регулярной имперфективации позволяет говорить о славянском виде как о морфологической категории. Отсутствие же аналогичного процесса и тем самым чисто видовых корреляций в неславянских языках относит всю проблематику вида в этих языках к области синтаксиса и лексики. Согласно сказанному, понятие видовой пары достаточно точно и единообразно определяется в научной литературе: общим и наиболее существенным элементом в имеющихся дефинициях является то, что глаголы, образующие видовую пару, не различаются лексическим значением, их отличие заключается лишь в значении вида (в наличии/отсутствии признаков целостности и ограниченности действия пределом). Поскольку одной из сторон изучения видовой соотносительности является изучение лексической тождественности двух глаголов, противоположных по виду, можно было бы ожидать, что в этой области спорные вопросы аспектологии уже давно решены. Однако проблема видовой парности, заинтересовавшая многих языковедов (из ряда работ см. [Мучник 1956; Маслов 1958; Исаченко 1960; Бондарко 1975]), решается по-разному и дискутируется по сей день (см., в частности, [Гловинская 1982б; Lehmann 1988, Падучева 1989, Черткова 1995]). Отсутствие окончательного решения рассматриваемой проблемы объясняется разными причинами, – мы выделим следующие из них.

Во-первых, видовые корреляции семантически разнородны, они распадаются на разные классы. В монографии М.Я. Гловинской [Гловинская 1982а] различаются четыре стандартных типа, однако с учетом нестандартных типов [Падучева 1989] или согласно другой типологизации их число гораздо больше.

Во-вторых, объективно доказать абсолютное лексическое тождество в оппозиции противоположных по виду глаголов оказывается не всегда просто, прежде всего в глагольных парах, возникших в процессе так называемой "чистовидовой" перфективации, в которой могут участвовать многочисленные приставки, имеющие избирательный семантический характер по отношению к глагольной основе и не всегда создающие одинаковую семантическую близость соотносительных глаголов.

Несмотря на то, что согласно единой дефиниции видовой пары в качестве соотносительных глаголов должны были бы признаваться одни и те же противопоставления, в разных словарях (в толковых и двуязычных) при описании видовых пар все-таки нет единства. Более того, узкое и широкое понимание видовой пары известно и в аспектологии, оно основывается на принципиальном различении приставочных пар (возникших при перфективации) и суффиксальных пар (образованных путем имперфективации), так как в этих двух видообразующих процессах в целом обнаруживается разная степень грамматичности. Такой дифференцированный подход к видообразованию имеет уже давнюю традицию, причем акценты касательно статуса

приставочной пары могут быть разными (см. [Карцевский 1962: 229, Маслов 1958]). В последнее время наблюдается тенденция к признанию приставочной пары в качестве чисто видовой [Гловинская 1982б], более того, в круг приставочных пар включаются и противопоставления по делимитативному способу действия [Булыгина 1983 : 82–83]. В отдельных работах встречается и крайне широкое определение данного понятия, объединяющее в пару (на основании функционирования глагола НСВ по отношению к глаголу СВ) такие глаголы как, например, *идти* и *пойти*, *искать* и *найти*, *продолжаться* и *продлиться* [Черткова 1995 : 120]. Можно предположить, что расширению понятия видовой пары способствовало и отрицание многими лингвистами видообразования как словоизменительного типа. Эта точка зрения на данную проблематику рассматривается в заключительном разделе.

Наша концепция построена на функциональном принципе и имеет интегрирующий характер: всю полемику о том, существуют ли помимо морфологически идеальных суффиксальных корреляций и приставочные пары и являются ли они также "подлинными", "полноценными", можно просто обойти, если представить и охарактеризовать сложившиеся здесь отношения в полевой структуре, по принципу центра – периферии. Видовая соотносительность – это особое понятийное поле, в котором функциональные свойства парности обнаруживаются неодинаково – то в полной, то в неполной мере. В случае морфологически разнотипных пар на самом деле создается разная степень семантической близости. Соответственно этому, в таком поле признаки семантической спаянности видовых пар проявляются диффузно, с разной степенью сгущенности, образуя ядро и периферию, а между ними широкую переходную зону с нечеткими границами. Представление пар в полевой интерпретации не снимает строгих семантических и функциональных критериев видовой пары: они безоговорочно и максимально осуществляются в центре (но только в центре) поля соотносительности, однако если мы удаляемся от центра и подходим все ближе к периферии, то, соответственно, строжайшие критерии все в меньшей мере сохраняют силу. Таким образом, исходя из семантической близости глаголов и опосредованно из их функционирования, устанавливается иерархия разного рода соотносительных корреляций. Этот подход к понятию видовой парности органически входит в ту лингвистическую модель описания языковых явлений, которая опирается на принцип функционально-семантических полей, последовательно применяемый в работах А.В. Бондарко (см., в частности [Бондарко 1983]).

Интерпретация видовой парности в полевой структуре делает возможным комплексное, многоаспектное рассмотрение данной проблематики, такое описание интегрирует в некотором отношении различные (и даже стоящие далеко друг от друга "непримиримые") точки зрения на границы видовой корреляции. Мы подчеркиваем это и потому, что критерии соотносительности анализировались в литературе в первую очередь со стороны перфективации (одним из исключений является работа А.В. Бондарко [Бондарко 1963]), и в этой связи существование чистовидовой функции приставки аспектологи то категорически отвергали [Карцевский 1962 : 229; Исаченко 1960 : 165; Ройзензон 1966], то устойчиво "реабилитировали", приравнивая этот процесс к имперфективации, связывая его даже с формообразованием глагола [Тихонов 1964; Mulisch 1969]. Непрестанно возобновляющиеся и не очень плодотворные дискуссии о чистовидовой приставке ведутся, по-видимому, прежде всего в одном направлении: может ли приставка, абстрагировавшись, полностью освободиться от своего реального лексического значения, десемантизироваться в такой мере, чтобы "вносить" в глагол только значение СВ? Утвердительный ответ на этот вопрос можно дать в том случае, если согласиться с тем, что собственно реальное значение префикса (или сохранившиеся следы его реального значения) находятся в семантическом соответствии с лексическим значением основы исходного глагола. Однако при этом с функциональной точки зрения не важно, "выветривается" ли префикс полностью, достигая максимальной абстрагированности (*делать* – *сделать*, *просить* – *попросить*), или ощущаются некоторые следы его первоначального реального значе-

ния (*писать* – *написать*, *пахать* – *вспахать*, *делить* – *разделить*), – в конечном счете важно то, что при употреблении эти пары (например, *делать* – *сделать* и *писать* – *написать*) не проявляют функциональных различий.

Если окажется, что префиксальная пара ведет себя так же, как суффиксальная (или никем не оспариваемая супплетивная) пара, точнее, если исходный глагол префиксальной пары функционально относится к своему перфективному корреляту так же, как имперфектив к перфективу суффиксальной (или супплетивной) пары, то следует признавать и префиксальные пары. Это естественно. Но вопрос состоит в том, признавать ли приставочные пары абсолютно равноценными суффиксальным парам? Ведущими представителями петербургской аспектологической школы (Ю.С. Маслов, А.В. Бондарко) и близких к ней направлений (М.А. Шелякин) их последовательное различение проводилось в плане словоизменения (суффиксальные пары) и словообразования (приставочные пары). В монографии М.Я. Гловинской [Гловинская 1982а] семантические типы видовых противопоставлений представлены лишь на материале суффиксальных пар, однако в других своих работах автор подчеркивает, что "семантический критерий выделения чисто видовых пар должен применяться независимо от формального" [Гловинская 1982б : 33], что при семантической классификации видовых пар "оказывается несущественным, каким формальным способом – суффиксальным, префиксальным и т.п. – образована данная пара" [Гловинская 1986 : 3].

В самом деле, функциональный подход может, по-видимому, и не учитывать особенности морфологического строения имперфективного глагола видовой пары. Наши наблюдения, однако, показывают, что большинство бесприставочных имперфективов не обладает некоторыми особенностями, присущими приставочным глаголам НСВ. Эти две морфологические разновидности парных глаголов НСВ ведут себя одинаково в большей части контекстов, но не во всех (при этом не учитывается то, что собственно транзитивные бесприставочные исходные глаголы в абсолютном употреблении чаще, чем приставочные имперфективы, выступают в неопределенном значении, обособляясь как глаголы относительных *imperfectiva tantum*). Для определения лексической тождественности членов видовой пары широко применяются две операции, предложенные Ю.С. Масловым [Маслов 1948 : 307; 1984 : 67]: это, с одной стороны, возможность транспозиции глагола СВ из плана прошедшего времени в план настоящего исторического (*написал* → *пишет*), и, с другой стороны, возможность итеративизации, т.е. трансформационный тест глагола СВ на многократность (*написал* → *писал*).

Бесприставочный глагол оказывается безупречным только при модификации контекстов: а) *Он всегда писал сочинение 10 минут*, б) *За час он писал несколько сочинений*.

С этой точки зрения небезразличен и тот факт, что в итеративно-результативной позиции часто (и не без основания) отдается предпочтение вторичному имперфективу собственно трехчленного соотношения (см. употребление глаголов типа *съесть*, *выучивать*, *прочитывать* и др.). Дело, по-видимому, не столько в степени абстрагированности и десемантизации перфективирующей приставки, сколько в отсутствии какой-либо приставки в исходном глаголе. Исходный глагол вступает в видовую корреляцию потому, что его основа является предельной. Однако сила проявления предельности бесприставочного глагола НСВ обычно уступает предельной семантике приставочного имперфектива – в нем предельность выражена дважды: приставка подчеркивает (и конкретизирует) предельное значение глагольной основы. Можно легко доказать, что именно различная степень проявления предельного значения регулирует функциональный механизм видов первичного и вторичного имперфективов при одном и том же общем перфективе, как, например, в случае *пахать* и *вспахать*, *слабеть* и *ослабевать*, *гибнуть* и *погибать* (см. [Veurenc 1965; Маслов 1984 : 69; Петрухина 1990; Ясаи 1990; 1991–1992]).

Разумеется, утрата или высокая степень ослабления реального значения перфективирующей приставки – явление, тесно связанное с возникновением приставочных пар, однако оно заслуживает серьезного внимания тогда, когда "лексически пустой" префикс присоединяется к предельной основе. Только в этом случае можно считать упомянутые выше трансформации надежными способами для проверки лексической тождественности, – иначе, если не принять во внимание отсутствие предела в исходном глаголе, то и тест на противопоставление по делимитативному способу действия (типа *сидеть – посидеть*) дает позитивный результат, как если бы эти глаголы являлись парными. Также весьма сомнительной нам кажется "парность" неопределенного имперфектива *злиться*, который в словаре С.И. Ожегова имеет сразу три коррелята: *разозлиться, обозлиться, озлиться* [Ожегов 1989 : 33]. Выделение префиксальных корреляций более последовательно проведено в словаре "Русский глагол – венгерский глагол" [Апресян, Палл 1982], отличающийся при подаче префиксальных пар аспектологически большей обоснованностью, более последовательным учетом наличия или отсутствия признака предела в исходном глаголе НСВ. Представленный глагольный материал служит и примером того, что широкое понимание соотносительности (т.е. признание возможности образования префиксальной пары) не означает искусственного расширения этого понятия.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОЙ ГЛАГОЛЬНОЙ СООТНОСИТЕЛЬНОСТИ В ПОЛЕВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Рассмотрение проблемы видовой соотносительности в рамках полевой структуры по принципу центра – периферии не отвергает также крайне широкого понимания парности, однако предполагает дифференцированный подход к разным типам соотносительности.

1. С нашей точки зрения, очевидно, что центр разноуровневой иерархии соотносительных связей, ядро данного поля должны составлять суффиксальные пары. Прототипом рассматриваемой аспектуальной дихотомии в славянских языках является семантически наиболее тесно и полно соотносительная, морфологически идеальная пара (типа *записать – записывать, дать – давать*). Корреляты таких пар в русской лингвистике многими языковедами рассматривались в рамках глагольной парадигматики как формы одного и того же глагольного слова [Исаченко 1960 : 138; Маслов 1963 : 3; Бондарко 1971; Шелякин 1983 : 34]. Парадигматичность вида, как считают сторонники этой концепции, не опровергается и тем фактом, что лексическое расхождение (несовпадение отдельных внутриглагольных значений), характерное в первую очередь для приставочных пар, можно наблюдать и в суффиксальных парах. Расхождение в значениях при имперфективации не является полным (полное расхождение при *заблудиться* и *заблуждаться* служить примером одного из немногочисленных исключений). Как в аспектологии, так и в лексикографической практике считается общепринятым тезис, что "для признания видовой пары достаточно соотносительности по крайней мере в одном из значений" [Бондарко 1975 : 40], и в качестве единицы описания следует брать не глагол в целом, а одно из его лексических (словарных) значений [Апресян, Палл 1982; Гловинская 1982б : 28].

Тем не менее, и среди суффиксальных пар встречаются такие, которые, несмотря на их "морфологическое совершенство", представляются с другой точки зрения не идеальными. Дело в том, как это убедительно показал А.В. Бондарко на глаголах с приставкой *за-* [Бондарко 1963], что один из коррелятов суффиксальной пары иногда характеризуется крайней редкостью употребления. Их малоупотребительность может проявляться в обоих видах, но в большей части в образовании НСВ. В статье отдельно рассматриваются такие видовые образования, реальное существование которых в языке порой является спорным, но "потенциальная возможность индивидуального употребления не может быть исключена", и такие, которые являются

реальными, хотя и редкими. В первой группе отмечены, в частности, имперфективы *забаловывать, забривать, заезываться, заколдовывать*, во вторую входят многочисленные образования, уступающие по частотности употребления соотносительным глаголам СВ (например, *заинтересовывать, заигрывать*). К образованиям СВ относятся лишь глагол *заискать* и несколько глаголов с возвратно-страдательным значением (*завинтиться, завеситься*) (см. [Бондарко 1963: 65–76]).

Разумеется, аналогичное явление, прежде всего в связи с имперфективацией, можно наблюдать и в других способах действия. В частности, глаголы *накуриваться, отмучиваться, дозваниваться, разбаливаться, уезживаться, избивать* и другие являются морфологически безусловно возможными образованиями, а *презреть и наблюдать* – устаревшими глаголами СВ. Мы согласны с А.В. Бондарко в том, что из-за отсутствия частотного равновесия в употреблении соотносительных глаголов целесообразно выделить особый, "неравночастотный" тип видовой соотносительности [Бондарко 1963 : 70]. Определение места этих корреляций в иерархии поля не просто. В кругу неравночастотного типа корреляций следует выделить те окказиональные образования, которые помимо малоупотребительности отличаются и заметной искусственностью, индивидуализацией употребления и носят иногда отпечаток диалектного влияния [такими могут быть из образований НСВ: *уезживаться* при *уездиться, изъезживать* при *изъездить, вылепливать* при *вылепить* (вместо *лепить*), а из образований СВ: *заискать* при обычном *заискивать*]. Такие окказиональные суффиксальные пары, естественно, не входят в ядро (они не могут рассматриваться в качестве прототипических пар), а вытесняются на периферию поля. Если, однако, существование имперфектива, несмотря на его сравнительно редкое употребление, является реальным (*заинтересовывать, дозваниваться, накуриваться, поскользываются*), то такие пары с "неполноправным" глаголом НСВ следует отнести к ядерной зоне, а именно к ее периферии. Такое различие, конечно, не всегда оказывается простым или даже возможным. Дело в том, что у разных образований ощущается разная степень искусственности. Надо иметь в виду и следующее обстоятельство: так называемые редкие имперфективы встречаются редко именно потому, что они, как правило, выступают только в многократном употреблении, но у некоторых действий кратная ситуация встречается сравнительно редко. Так, например, глаголы случайного действия обычно являются монотемпоральными, соотносятся с единичной ситуацией, и поскольку они практически не выражают ни процессного, ни общефактического значения, то в гораздо большей части случаев выступают в формах СВ, чем НСВ (*поскользнулся, промахнулся, обжегся, проговорился*). Редкость употребления соотносительных форм НСВ (*поскользывался, промахивался, обжигался, проговаривался*) объясняется, следовательно, тем, что для случайных, произвольных действий не характерно регулярное повторение.

2. Связующим звеном между двумя основными морфологическими типами видовой пар (приставочными и суффиксальными, значительное число которых можно рассматривать как прототипические) являются трехчленные корреляции (тройки). В их образовании участвуют оба основных видообразующих процесса – перфективация (с чисто видовой функцией префикса) и имперфективация – как среди переходных глаголов (*пахать – вспахать – вспахивать, жечь – сжечь – сжигать*), так и среди непереходных, инхоативных (*гибнуть – погибнуть – погибать, слабеть – ослабеть – ослабевать*). Такие трехчленные соотношения следует трактовать, как нам кажется, не как две морфологически разнотипные пары, имеющие общий коррелят СВ, а как тройки, представляющие одно аспектуальное единство. В таком единстве, как правило, первичный и вторичный имперфективы относятся друг к другу комплементарно, взаимодополняя аспектуально ограниченную функциональную сферу. Несмотря даже на возможность их функциональной синонимии, каждая грамматическая форма, вследствие отличия морфологической структуры, характеризует протекание действия по-своему. Если же рассматривать их не в единстве, а отдельно как приставочную и

суффиксальную пару, ни одна из них не окажется функционально полноценной (например, ни *читать*, ни *прочитывать* при общем корреляте *прочитать*), следовательно, морфологически "нормальная" суффиксальная пара типа *прочитать* – *прочитывать* не может считаться прототипической парой. Тем не менее, практически каждое соотношение требует индивидуального подхода. Например, в трехчленном соотношении *публиковать* – *опубликовать* – *опубликовывать* первичный и вторичный имперфективы не проявляют таких отличительных признаков в аспектуальной характеристике протекания действия, какие имеются в случае наличия собственно непроцессуального вторичного образования (как *прочитывать*, *съесть*, *выучивать*, *раставать* и др.).

3. Следующую градацию в иерархии от центра к периферии представляют приставочные пары. Однако, как известно, те глагольные противопоставления, которые принято квалифицировать как приставочные пары, образуют весьма разнородный комплекс. В целом приставочные пары разнородны не только потому, что в так называемой чистовидовой перфективации участвуют разные префиксы (их число, по мнению сторонников этой концепции, достигает 16), но прежде всего потому, что посредством префиксации создаются видовые оппозиции неодинаковой семантической близости. Из них к центру поля видовой соотносительности непосредственно примыкают те, перфективный коррелят которых избирает, при многозначности во всех значениях, одну и ту же приставку и является соотносительным со своим исходным, мотивирующим глаголом во всех его предельных значениях. Такими перфективами можно считать образования с разными приставками: *поблагодарить*, *сделать*, *замаскировать*, *написать*, *процитировать*, *истратить*, *вылепить*, *охарактеризовать*, *подковать*, *украсть*, *воспользоваться*, *отомстить*, *присниться*, *переночевать* и другие, а возникшие таким образом видовые противопоставления можно назвать тривиальными приставочными парами.

Более трудно решимую теоретическую проблему представляет перфективация, осложненная "полипрефиксацией". При образовании видовой пары один и тот же исходный глагол часто перфективируется разными приставками либо в одном лексическом значении, различая очень тонкие, порой лишь стилистические оттенки (ср., например, *вымыть* и *помыть* при *мыть* или *похоронить* и *схоронить* при *хоронить*), либо в разных значениях, вследствие чего в СВ разграничиваются морфемно те семантические различия, которые диффузно наличествуют в бесприставочном глаголе. Например, снятие полисемантической глагола *резать* с помощью разных конкретизирующих приставок дает несколько пар в результате того, что при заполнении валентности объекта практически не чувствуется семантического сдвига: *резать* – *порезать* (*обрезать*) *палец*, *резать* – *срезать* *мяч*, *резать* – *зарезать* *курицу*. Подобным же образом, с участием разных приставок перфективируются, согласно соответствующим внутривидовым значениям, и такие глаголы, как, например, *бить*, *готовить*, *копать*, *рвать*, *слушать* и другие. Главную трудность при выделении таких приставочных пар мы видим в том, что семантическая близость мотивирующего глагола (являющегося общим для всех пар) и приставочного перфектива не всегда оказывается одинаковой. С этой проблемой сталкиваются и авторы словарей. В таких случаях они иногда непоследовательно проводят границу между парностью и непарностью. Например, глагол *готовить*, безусловно, соотносительен как с *приготовить* (*ужин*), так и с *подготовить* (*кого-л. к чему-л.*), но соотносительность в словаре [Апресян, Палл 1982] понимается еще шире, там отмечается также и пара *готовить* – *заготовить* (*дрова на зиму*) [там же, I : 323], хотя здесь префикс, как нам кажется, привносит и оттенок "заблаговременно". Если допустить, что *готовить* – *заготовить* приводится в качестве пары, то почему по-иному трактуется противопоставление *готовить* – *изготовить*? Нечеткость, диффузность соотносительности хорошо можно продемонстрировать и на примере глагола

копать. Глаголы *копать* и *выкопать* соотносительны с объектом "земля". Соотношение *копать* – *выкопать* требует объекта другого типа: "канавы", "яма" и т.п. В этом значении может употребляться и другой приставочный глагол: *прокопать* (канаву). В третьем значении возникают также префиксальные варианты: *копать* – *выкопать/откопать* (червей) (ср. [Апресян 1967 : 86]). Отметим, что при "полипрефиксации" одного и того же исходного глагола обычно имеет место и вторичная имперфективация. По-видимому, с одной стороны, по функциональным соображениям целесообразно расширять понятие видовой пары (как это, хотя и несколько противоречиво, делается в словарной и учебной практике), с другой стороны, при расширении это понятие становится все более расплывчатым и границы парности менее четкими.

4. Далее от центра отстоят оппозиции *видеть* – *увидеть*, *слышать* – *услышать*, *чувствовать* – *почувствовать*. Нельзя отрицать, что префиксация здесь создает новое значение, не присущее глаголам НСВ – значение, связанное с признаками начинательности и моментальности. Однако если подвергнуть эти противопоставления преобразованиям "прошедшее СВ → настоящее историческое НСВ" или "однократное действие СВ → многократное действие НСВ", то окажется, что они функционируют так, как видовые пары. В самом деле, эти бесприставочные глаголы естественно употребляются в форме нарративного презенса: *В общем, иду по улице и вдруг слышу какой-то стон* (Зоценко. Ночное происшествие). *Вдруг видим, из одной воронки выскочил фашистский солдат* (Зоценко. Солдатские рассказы). Замена *вдруг почувствовал* → *вдруг чувствую* тоже является естественной. Как показывают примеры, при транспозиции в план настоящего исторического под воздействием контекста сохраняется оттенок начинательности, моментальности, что позволяет рассматривать формы типа *увидел* и *видит* как лексически тождественные. Это, однако, не означает того, что сами эти глаголы ничем не отличаются кроме значения вида, ведь ясно, что в изолированном бесприставочном глаголе отсутствуют компоненты начинательности и моментальности. Они развиваются под влиянием других факторов, на уровне высказывания. Именно поэтому характер их функционирования часто свидетельствует об их парности. (Смотри, кроме указанных преобразований, употребление данных глаголов в контекстах при выражении последовательных, сменяющихся друг за другом действий: *пришел, увидел, победил*, а также в контекстах типа *Он разное видел, но главного не увидел*, сближающих их с тривиальными приставочными парами (типа *делать* – *сделать*) и тем, что вместо начинательного значения глагола СВ на первый план здесь выступает результирующее значение.) Таким образом, к приведенным выше оппозициям нельзя приравнять несоотносительное противопоставление *любить* – *полюбить*, в котором отличительный признак начинательно-результативного значения перфектива ни в каком контексте, ни при каких трансформациях не теряет силу (например, *он полюбил ее ≠ он любит ее*) (ср. [Маслов 1948 : 307]).

Относительно словарной репрезентации нетривиальных приставочных пар типа *видеть* – *увидеть* лексикограф оказывается перед альтернативой: а) можно следовать тому принципу, что указанные оппозиции не являются видовыми парами из-за семантической модификации исходного глагола, относящей образования СВ к способам действия; б) в функциональном аспекте данные оппозиции можно рассматривать как видовые пары, считая, что этому аспекту уступает изолированное морфологическое рассмотрение противопоставленных глаголов. При возможности выбора отсутствие единства в словарях при описании глагольных оппозиций – закономерное явление. Так, например, в словаре С.И. Ожегова глаголы *видеть* и *увидеть*, *слышать* и *услышать* приводятся как видовые пары, а глаголы *чувствовать* и *почувствовать* репрезентируют самостоятельные словарные статьи. В словаре, посвященном глагольному управлению и сочетаемости [Апресян, Палл 1982], к глаголу *видеть* тоже дается коррелят, но у глагола *слышать* он отсутствует, а глагол *чувствовать* отмечен как

соотносительный с *почувствовать*. На наш взгляд, эти три оппозиции внутри одной работы не должны различаться в квалификации по парности или непарности.

5. Создаются и такие оппозиции, которые проявляют еще меньше признаков видовой соотносительности, следовательно, они представляют отдельный уровень в структуре поля. Это "пара" типа *идти – пойти*. Остановимся на этом соотношении более подробно. В "Русской грамматике" говорится: "Глаголы однонаправленного движения образуют с префиксом *по-* глаголы совершенного вида с начинательным значением, которые остаются несоотносительными глаголами совершенного вида: *пойти, побежать, поплыть*" [Русская грамматика 1980 : 591]. В аспектологии принимается без каких-либо возражений, что образование видовой пары от исходного глагола НСВ обуславливается его предельным значением. В связи с этим в "Русской грамматике" можно обнаружить следующее несоответствие: там утверждается, что "глаголы однонаправленного движения – это глаголы предельные, называющие такое движение, которое направлено на достижение предела (в прямых значениях – пространственного)" [Русская грамматика 1980 : 595]. Необоснованность сказанного в сопоставленных цитатах заключается в том, что по принятой в "Русской грамматике" концепции предельность служит семантической базой для видовой парности [Там же: 595]. Следует заметить и то, что однонаправленные глаголы сами по себе не являются предельными, они ведут себя нейтрально по отношению к пределу, данный признак развивается только при реализации валентности цели (так, *Он шел домой* – предельное действие, но *Он шел быстро* – непредельное).

В абсолютном употреблении, естественно, соотносительности не может быть. Вопрос состоит в том, могут ли быть парными те же самые глаголы при указании пространственной цели движения? Обозначает ли глагол *пойти* достижение этой цели как результата? Чтобы дать однозначный ответ, необходимо истолковать общий смысл глагольной фразы в разных контекстах. Согласно этому можно отметить три возможные интерпретации.

(1) Наличие актанта цели без дальнейшего уточнения допускает лишь неопределенную интерпретацию смысла действия: *Он пошел домой* = 'Он стал идти, продолжал начатое движение в направлении к указанной цели, и при этом неизвестно, включает ли этот процесс и достижение цели'.

(2) Несмотря на указание пространственной цели движения, действие может восприниматься как определенно-начинательное; его вторичная результативная функция актуализируется с минимальной вероятностью – как об этом сообщает ситуативный контекст: *Я долго сидел в саду. Потом пошел домой. Но когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил свой зонтик на скамейке* (Зощенко. Леля и Минька). *Они пошли с Машей домой. Дорогой Саука все изумлялся про себя...* (Шукшин. Обида).

(3) При ограничении ситуативного контекста результативность, проявляющаяся в достижении цели движения, может быть и очевидной: в цепи минимально двух действий осмысление этого признака зависит от того, о чем сообщает действие, следующее в повествовании. Например: *Они пошли в сад и сели там на скамью под старинным кленом...* (Чехов. О любви). *Михаил пошел на почту и отбил брату и сестрам телеграммы...* (Распутин. Последний срок).

Постановка вопроса о видовой парности в случае первой и второй интерпретации, очевидно, является нереальной. В третьей интерпретации, однако, она заслуживает внимания, хотя нельзя не заметить и того, что значение достижения результата развивается контекстуально, только на уровне высказывания. Для проверки, имеет ли место в нашем случае такого же рода семантическое различие между НСВ и СВ, что и в обычных приставочных парах (как, например, *писать – написать*), можно предложить те операции, к которым принято прибегать при определении лексической тождественности двух глаголов противоположного вида.

В этом отношении обе трансформации, и тест в настоящем историческом, и тест многократности, дают позитивный результат. Приставочная форма *пошел* свободно заменяется бесприставочный *идет*, так же, как и в общепризнанных парах: а) *Он пошел в угол, (...) сел на лавку и уперся локтями в колени* (Федин. Старик) → *Он идет в угол, садится на лавку и упирается локтями в колени*; б) *После тренировки он пошел домой, поужинал и лег спать* → *После тренировки он (обычно) шел домой, ужинал и ложился спать*. Эти преобразования, безусловно, говорят в пользу признания рассматриваемых глаголов видовой парой, доказывая, что они проявляют явное семантическое сближение друг с другом. Однако можно привести и такие аргументы, которые показывают, что возможность преобразования однократного действия СВ из плана прошедшего в план настоящего исторического или в план многократности не является абсолютным и универсальным доказательством тривиальной соотносительности. Итак, после утвердительной аргументации приведем три отрицательных аргумента, противоречащих безоговорочному принятию оппозиции типа *идти* – *пойти* в качестве видовой пары.

(1) Употребление настоящего исторического оказывается возможным не только при реальном достижении пространственной цели движения, но и при неизвестности ее реализации. Для использования формы настоящего вместо прошедшего, как кажется, достаточно указать на цель движения, независимо от того, достигнута ли она или нет. *Студент совершенно поправляется, встает на ножки и идет на домовое собрание* (Зоценко. Серенада). В приведенном контексте статус субъекта по отношению к цели движения не проясняется.

(2) То значение, на основании которого предполагается видовая соотносительность в оппозиции *идти* – *пойти*, целиком вытекает из контекста: как предельное значение исходного глагола, так и достижение пространственной цели актуализируются под воздействием внешних факторов, в рамках целостного высказывания. В тривиальных приставочных парах, как известно, именно префикс является основным элементом, придающим действию значение результативности, а в нашем случае префикс указывает лишь на начало движения.

(3) В соотношении *идти* – *пойти* функциональный "недостаток" можно обнаружить и в исходном глаголе НСВ: в результативном употреблении (что является предпосылкой соотносительности) он не может выступать в значении общефактического действия (ни в одной из его разновидностей), тогда как все агентивные, собственно процессуальные глаголы легко развивают это значение (в специальном контексте даже многие неагентивные – ср. *Вы еще не ошибались в такой ситуации?*). Глаголы в контекстах типа *Он(уже) шел/ехал/бежал домой* означают только конкретный процесс, тогда как глаголы *писал, читал, строил, готовил* и другие могут констатировать и общий факт в прошлом. Фраза *Я уже читал этот роман, зачем же еще раз (читать)* – правильна, однако по этой аналогии не может быть сформулирована фраза **Я уже ехал в Москву, зачем же еще раз (ехать)*. Однонаправленным глаголам – по семантическим причинам – чужда идея общефактического значения, если при них обозначена цель движения, но не обозначен маршрут. Ср. глагол в общефактическом значении в зависимости от разного расположения данных актантов. Можно сказать: *Я уже ехал по этой дороге* или *Я уже ехал домой по этой дороге*, но нельзя: **Я уже ехал домой на прошлой неделе (сейчас не еду)*, потому что достижение результата предполагает двунаправленное действие (движение), которое может быть выражено только другим глаголом, взятым из серии ненаправленных – в данном случае глаголом *ездить*. Таким образом, если настаивать на том, что глаголы *идти* и *пойти* составляют видовую пару, то парадигма НСВ довольно своеобразно должна быть дополнена супплетивным способом, что привело бы к ряду других теоретических проблем.

Вместо этого мы предлагаем другой теоретический вывод. Анализ данной оппози-

ции в разных контекстах показывает, что она имеет и признаки парности, и признаки непарности. Глаголы такого противопоставления в какой-то степени соотносительны, они, по-видимому, находясь как бы на грани парности и непарности, занимают в иерархии понятийного поля видовой соотносительности периферийную зону.

6. Поскольку поле не имеет четких границ (как и не имеют их те зоны, которые устанавливаются в его структуре), при тонкой градации этого многоуровневого комплекса следует выделить и его "дальнюю периферию". Сюда входят наиболее сомнительные "пары", приводимые сторонниками чрезмерно широкого понимания видовой соотносительности (ср. [Черткова 1995]), в частности, и противопоставления по делимитативному способу действия с приставкой *по-*. Хотя в глаголах *посидеть*, *постоять*, *поиграть* и других выражается значение 'некоторое время, оцениваемое говорящим как сравнительно краткое', оно в какой-то степени теряет свою силу, если говорящий, соблюдая определенные правила, просто должен употребить СВ, однако, он имеет в своем распоряжении только данный способ действия. Например, в диалоге – *Садитесь. – Спасибо, я постою* – выбор делимитатива объясняется в первую очередь необходимостью использования простого будущего, а не желанием говорящего выразить кратковременность стоячего положения. По сходным соображениям Ф. Леманн предлагает говорить о функциональном партнерстве глаголов [Lehmann 1988 : 177–178], однако большинство приведенных им примеров из художественной литературы не очень убедительно, так как в рассматриваемых образованиях не стирается значение соответствующего способа действия. Ср. *Помолчав, он спросил* (т.е. 'не долго'), *Загудел лифт* (т.е. 'начал гудеть'). (...) *Он, сделав два шага вслед за Леной, постоял в коридоре и вернулся в комнату* (т.е. 'некоторое время'). *Я посижу с ним дня два, все ему объясню* (эксплицитно выражена ограниченность во времени). (...) *Неожиданно она заговорила изменившимся, льстивым голосом* (т.е. 'начала говорить').

Логику функционального подхода Ф. Леманна можно понять, хотя, наверное, не все аспектологи согласны с его интерпретацией, затушевывающей различия между видом (как более или менее грамматикализованным явлением) и способами действия (по крайней мере, некоторыми из них), представляющими лексико-семантический уровень актуальности. По этому вопросу автор высказывается эксплицитно, замечая, что в функциональное понятие партнерства включены не только глаголы с "пустыми приставками" (*строить – построить* и т.д.), но и некоторые глаголы "способов действия" [Lehmann 1988 : 180]. При расширенном понимании какого-либо явления, по нашему мнению, необходимо дифференцировать сложившиеся в нем различные и разного рода отношения.

Коснемся еще одного соотношения – противопоставления *искать – найти*. Хотя глагол *искать* в словарях зафиксирован как непарный, в некоторых работах к нему дается супплетивный коррелят *найти* [Авилова 1976 : 247, 249; Янко-Гриницкая 1982: 97]. Здесь дело не в том, что интуитивно чувствуется семантическая близость ("лексическое тождество") противопоставленных глаголов. В этом случае другие, функциональные, обстоятельства наталкивают некоторых авторов на мысль о том, чтобы рассматривать данные глаголы в качестве соотносительных. Среди видовых пар русского глагола выделяется обширная группа, имеющая семантическое противопоставление 'стремление к тому, осуществление чего обозначает глагол СВ'. Это – актуализация в одном аспектуальном контексте конативно-тендентивного значения НСВ, в котором проявляется потенциальный предел действия, и результативного значения СВ с обозначением реального (реализованного, достигнутого) предела. Достижение предела часто связывается с отрицанием, что указывает на безуспешность, безрезультатность стремления: *решал, но не решил; уговаривал, но так и не уговорил; встречал, да не встретил; ловил, но не поймал* и т.п. На первый взгляд действительно кажется что соотношение *искать – найти* также входит в этот ряд. Ср. два аналогично построенных предложения – в первом употребляется никем не

оспариваемая супплетивная пара, а во втором "оказиональная супплетивная пара" *искать – найти*: а) *Он весь день ловил рыбу, но ни одной не поймал*, б) *Он весь день искал моллюсков, но ни одного не нашел*.

Дело в том, что при употреблении подлинной видовой пары данное противопоставление осуществляется в рамках одного и того же лексического значения, однако, глаголы *искать* и *найти* в подобном контексте выражают явно разные лексические значения. Поэтому оппозиция *искать – найти*, конечно, не выдерживает ни пробу на настоящее историческое (форма *нашел* никогда не заменяется формой *ищет*), ни пробу на итеративизацию (*искал* никогда не значит "много раз + *нашел*"). Ю.С. Маслов приравнивал семантику глагола *искать* к 'безуспешной попытке' (в отличие от глаголов *ловить*, *уговаривать* и других, которые могут обозначать 'успешную попытку'). Он имел в виду те безрезультатные процессы, которые "не ведут ни к какому скачку в новое состояние, остаются равными себе на всех отрезках своего протекания и, таким образом, не дают никакой перспективы, кроме перспективы бесконечной себестожденной длительности" [Маслов 1948: 309].

При первом рассмотрении, как кажется, можно было бы предположить, что при включении в приведенное соотношение глагола *находить* образуется трехчленное соотношение, внутри которого перфектив *найти* по-разному коррелирует с процессуальным, нерезультативным глаголом *искать* и с результативным, непроцессуальным *находить*. Однако такая аргументация, насколько бы приемлемой она на первый взгляд ни казалась, оказывается несостоятельной. Нельзя не заметить, что первичный и вторичный имперфективы "подлинных" троек, несмотря на их явно разную аспектуальную характеристику, могут функционально сближаться, оказавшись в позиции взаимозаменяемости (относительной синонимии): *Он все читает / прочитывает, что приносят ему из библиотеки; Он ест / съедает по кило фруктов в день*. В отличие от этого, глаголы *искал* и *находил* ни в каких позициях не могут заменять друг друга, поскольку у них нет общего лексического значения (вследствие отсутствия реального предела у глагола *искать*). На основе изложенного можно заключить, что соотношение *искать – найти* не является супплетивной видовой парой, но тем не менее следует признать, что в нем, по крайней мере в показанном типе контекста, проявляются и признаки, сходные с парными глаголами.

Сделаем некоторые выводы. Мы считаем естественным явлением то, что понятие видовой парности на функциональном уровне не может суживаться, – напротив, оно охватывает гораздо больше глагольных противопоставлений, чем это отражается, например, в 17-томном словаре русского языка, в котором практически зафиксированы только суффиксальные пары. Из этого, однако, не следует, что все оппозиции "функционального партнерства" равносильны, что степень проявления признаков соотносительности одинакова. Следовательно, пары типа *дать – давать, писать – написать, видеть – увидеть, идти – пойти (куда-л.)* и другие не должны быть поставлены в один ряд, они относятся к разным уровням семантической спаянности. Применительно к "нечистым" и спорным противопоставлениям по виду можно предложить, в частности, термин "приблизительная видовая пара", как делал это Ю.С. Маслов, может быть, слишком строго, применительно к таким приставочным парам, которые мы квалифицировали как "тривиальные" (пары типа *писать – написать*) [Маслов 1964 : 84]. Представленная разнородность противопоставлений позволяет охарактеризовать видовую соотносительность не только на основе семантических типов видовых пар (как это сделано в работе М.Я. Гловинской [Гловинская 1982а]), но и по степени грамматикализованности, семантической близости глаголов НСВ и СВ, объединенных в оппозицию. Изложенный по такой концепции материал может служить и объяснением того, почему выделение видовых пар вызывает колебание как в аспектологии, так и в словарной и учебной практике. Эти "противоречия" можно понять и простить.

3. ВИДОВАЯ ПАРА И ПОНЯТИЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ

Несмотря на почти вековую дискуссию о словоизменительном (по другому, хотя и не абсолютно равнозначному термину, формообразующем) или классифицирующем (т.е. словообразовательном) характере глагольного вида, окончательного решения этого вопроса до сих пор нет. В результате этой дискуссии, как известно, в основном сложилось три концепции. 1. Образование видовой пары – это чисто грамматический, словоизменительный процесс, в который включается, помимо имперфективации, и перфективация с "чистовидовой" ("лексически пустой", "грамматикализованной", "аспектуализованной") приставкой (см. более подробно об этом в работах А.Н. Тихонова, в частности [Тихонов 1964]). 2. Любая видовая пара, образованная либо в процессе "чистой" перфективации, либо имперфективации, является результатом словообразования. Такая трактовка всегда существовала на разных этапах аспектологии (например [Авилова 1959: 1976]) и сильна и по сей день [Милославский 1981 : 175–176; Падучева 1989: 24; Lehmann 1988]. 3. Подход петербургской аспектологической школы отличается своей дифференцированностью: согласно этой концепции, весьма распространенной в аспектологии, суффиксальные пары представляют собой словоизменительный тип, а приставочные – классифицирующий (см., в частности [Маслов 1963 : 3]).

Интерпретация видовых пар в полевой структуре, естественно, не позволяет рассматривать все типы пар в качестве одного и того же слова, но в принципе не исключает возможности такой трактовки для суффиксальных пар, квалифицируемых как прототипические. Поэтому в дальнейшем мы ограничимся рассмотрением только суффиксальных пар. Ю.С. Маслов, подчеркивая кроме семантического критерия (тождество лексического значения) и характер регулярности и последовательности образования, приравнивал имперфективацию к другим парадигматическим изменениям глагола: "...Глагол изменяется (спрягается) по видам в принципе так же, как он изменяется (спрягается) по временам, наклонениям, лицам и числам" [Маслов 1963 : 3]. Насколько бы метким ни казалось это замечание Ю.С. Маслова, в нем можно усомниться по двум причинам.

1. Дело в том, что значение лица, числа, времени и наклонения выражается с максимальной (хотя и не абсолютной) регулярностью и делается это большей частью посредством флексий. (поэтому вполне естественна их словоизменительная роль). Имперфективация, по сравнению с упомянутыми категориями, не так регулярна и последовательна. Ее относительная регулярность характеризуется некоторой неустойчивостью образования: известно, что далеко не от всех глаголов СВ можно образовать парные глаголы НСВ (см. *закричать, разволноваться, очутиться, отужинать, всплакнуть, грянуть, рухнуть, хлынуть*). Семантическая причина видовой "дефектности", на которую в связи с этим принято ссылаться, по-видимому, во многих случаях (в том числе и при выражении моментальности) не препятствует имперфективации – и становится возможным обозначение многократности (см. *заговаривать, вскрикивать, наигрывать, отсиживать* и др.). Следует учитывать и то обстоятельство, как уже указывалось выше, что имперфективация иногда принципиально возможна и тогда, когда образуется довольно редко употребительная, более того, искусственная или диалектная форма (*забривать, расцеловывать, уезживать*). Возможность или невозможность имперфективации в целом, как кажется, зависит не только от семантических, но и от морфологических условий и тесно связанных с ними фоноэстетических причин (ср., например, невозможность образования **закрикивать* от глагола *закричать*).

2. О "капризности" имперфективации свидетельствуют и те, в целом немногочисленные, примеры, когда при формально правильной имперфективации создается новое лексическое значение: *заблудиться* → *заблуждаться, положить* → *полагать* (но: *положиться* – *полагаться* – пара!), *прожить* → *проживать* и другие. С относительностью имперфективации связаны и те факты, когда в этом процессе возникает и

новое значение, несоотносительное с глаголом СВ. Хотя разная семантическая структура глаголов, объединенных в пару, в большей части случаев наблюдается у приставочных пар, это явление не чуждо и суффиксальным корреляциям: например, *ответить* – *отвечать* (на что), но *отвечать* *требованиям* (СВ нет). При этом, конечно, ясно, что о видовой паре можно говорить уже и тогда, когда глаголы соотносительны по крайней мере в одном лексическом значении, ведь, как было отмечено выше, соотносительность приписывается глаголу не в целом, а его отдельным внутриглагольным значениям. Однако с точки зрения того, являются ли члены видовой пары (имеется в виду прототипическая пара) грамматическими формами одного и того же слова или отдельными словами, отнюдь не безразлично, обнаружены ли кроме соотносительных (т.е. лексически тождественных) значений и несоотносительные, лексически отличающиеся. В этом отношении мы сталкиваемся со следующей "загвоздкой": объединение некоторых лексических значений глагола НСВ и глагола СВ в одну лексему позволяет заключить, что те значения, которые остаются несоотносительными по виду, как бы выводятся из состава лексемы и, парадоксальным образом, относятся к явлению омонимии. В конечном счете с этой логикой можно было бы согласиться, но она вряд ли находится в соответствии с тем "исходным положением", что видовая парность проявляется в многозначном глаголе, значит, не во всех значениях одного и того же глагола.

Другой аргумент против признания видовой пары в качестве одной лексемы состоит в том, что данное противопоставление формируют не флексии (т.е. морфемы, предназначенные для словоизменения), а суффиксы (т.е. морфемы, предназначенные, в первую очередь, для образования нового слова). При этом глаголы видовой пары, безусловно, обладают всеми морфологическими признаками самостоятельного слова, оба коррелята имеют свой набор флексий и отдельную систему спряжения. Вопрос, следовательно, состоит в том, достаточно ли опираться при решении вопроса о словоизменении или словообразовании исключительно на единственный аспект – на соблюдение лексического тождества коррелятов, тогда как данная категория описывается в рамках морфологии? Трактовка вида как классифицирующей категории не означает, что тем самым снимаются строгие семантические критерии соотносительности: "... Видовая пара является высшей грамматической абстракцией, при которой различие соотносительных пар заключается только в противоположности видов при абсолютной лексической тождественности разных глаголов" [Авилова 1959 : 21]. В свете сказанного можно утверждать, что только семантические аргументы позволяют признать видовую пару словоизменительного типа. Те аргументы, однако, которые подчеркивают морфологическую структуру глагола, безусловно, относят данную категорию к области словообразования. Это противоречие можно устранить, расширив традиционное понятие "спряжение" и тем самым по-иному проведя границу между парадигматикой и словообразованием глагола. Такая мысль была выдвинута А.В. Исаченко [Исаченко 1960 : 137], подчеркнувшим, что внутриглагольное формообразование видов происходит не при помощи флексий, как грамматических показателей, а посредством изменения внутри основы, и это объясняется исторически: "видовые различия восходят к различиям лексическим; грамматические приемы видообразования являются продолжением старых словообразовательных приемов" [Исаченко 1960 : 138].

Возможен и другой, более естественный выход из противоречивого положения. Если доказывается, что вид имеет и признаки словоизменения, и словообразования, то целесообразно охарактеризовать его как промежуточную категорию. Такой "компромиссный" подход был предложен М.Я. Гловинской [Гловинская 1986 : 3], хотя она, в отличие от концепции настоящей статьи, на функционально-семантическом основании не проводит грань между формально разными типами видовых пар – приставочными и суффиксальными [там же]. Практически это же (смежный, промежуточный характер) ранее имел в виду А.М. Ломов, утверждая, что вид предполагает совмещение двух принципов грамматической характеристики – словоизменительного и

классификационного [Ломов 1977 : 19]. Такую трактовку можно поддержать не только на основе вышеприведенных аргументов, к ним можно добавить и другие доводы. Роль лексики в реализации отдельных частных значений должна заставить нас быть осторожными при отнесении видообразования к словоизменительному процессу. По всей видимости, о безусловно чистой грамматичности этой категории можно говорить лишь в связи с общим значением (инвариантом) СВ и НСВ, однако, как убедительно показано в работах [Маслов 1948; Гловинская 1982а; Апресян 1988], в возможности актуализации частных значений (процессного, общефактического, потенциального и других) играет роль и глубинная семантика (случайность, перформативность, моментальность и т.п.), значит, опосредованно, общий тип лексического значения глагола. Следовательно, вид и с е м а н т и ч е с к и не является чисто словоизменительной категорией, а признанию вида словообразовательной категорией мешают, парадоксально, семантические требования данной категории: в этом процессе (при соотносительности) не должны рождаться новые лексические значения, хотя образование нового самостоятельного слова трудно представить при сохранении тождества лексического значения. Неслучайно из сравнения вида с другими глагольными категориями опять вытекает, что ни лицо, ни число, ни время или наклонение не ограничены (или в гораздо меньшей степени ограничены) лексической семантикой глагола. Поскольку мы здесь имеем дело с таким явлением, которое частично соприкасается как со словоизменением, так и со словообразованием, образование чисто видовой пары суффиксального типа логично рассматривать как смежный, промежуточный тип. Формообразованием можно было бы его назвать только в том случае, если принимаются положения (согласно рассуждениям А.В. Бондарко [Бондарко 1974 : 4–5]), что "зоны формообразования и словообразования пересекаются, образуя общий сегмент, в котором представлено как то, так и другое явление (без смешения)" [там же: 5], и что "...граница между образованием форм одного слова и форм разных слов (...) проходит внутри области формообразования" [там же: 5]. Однако такую трактовку формообразования, как нам представляется, можно принять только с натяжкой.

По нашей трактовке естественно, что соотношения, занимающие переходные и периферийные зоны в поле видовой соотносительности (за пределами его центра), могут быть охарактеризованы только в рамках словообразования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Авилова Н.С. 1959 – О категории вида в современном русском языке // РЯШ. 1959 № 4.
 Авилова Н.С. 1976 – Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976.
 Апресян Ю.Д. 1967 – Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.
 Апресян Ю.Д. 1988 – Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке // Русистика сегодня. Язык: система и ее функционирование. М., 1988.
 Апресян Ю.Д., Палл Э. 1982 – Русский глагол – венгерский глагол. Управление и сочетаемость. 1 – 2. Будапешт, 1982.
 Бондарко А.В. 1963 – Об одном типе видовой соотносительности глаголов в современном русском языке // ФН. 1963. № 1.
 Бондарко А.В. 1971 – Виды глагола и способы действия в русском языке // РЯШ. 1971. № 2.
 Бондарко А.В. 1974 – Формообразование, словоизменение и классификация морфологических категорий // ВЯ. 1974. № 2.
 Бондарко А.В. 1975 – Глагольный вид и словари // Современная русская лексикография. Л., 1975.
 Бондарко А.В. 1983 – Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
 Булыгина Т.В. 1983. – Классы предикатов и аспектуальная характеристика высказывания // Аспектуальные и темпоральные значения в славянских языках. М., 1983.
 Гловинская М.Я. 1982а – Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
 Гловинская М.Я. 1982б – К понятию чисто видовой пары // Проблемы структурной лингвистики. М., 1982.
 Гловинская М.Я. 1986 – Теоретические проблемы видо-временной семантики русского глагола: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1986.
 Исаченко А.В. 1960 – Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология. Ч. 2. Братислава, 1960.

- Карцевский С.* 1962 – Из книги "Система русского глагола" // Вопросы глагольного вида. М., 1962.
- Ломов А.М.* 1977 – Очерки по русской аспектологии. Воронеж, 1977.
- Маслов Ю.С.* 1948 – Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке // ИАН ОЛЯ. 1948. № 4.
- Маслов Ю.С.* 1958 – Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида. М., 1958.
- Маслов Ю.С.* 1963 – Морфология глагольного вида в современном болгарском литературном языке. М.: Л., 1963.
- Маслов Ю.С.* 1964 – Заметки о видовой дефективности (преимущественно в русском и болгарском языках) // Славянская филология. 1964.
- Маслов Ю.С.* 1984 – Очерки по аспектологии. Л., 1984.
- Милославский И.Г.* 1981 – Морфологические категории современного русского языка. М., 1981.
- Мучник И.П.* 1956 – О видовых корреляциях в системе спряжения глагола в современном русском языке // ВЯ. 1956. № 6.
- Ожегов С.И.* 1989 – Словарь русского языка. 21-е изд. М., 1989.
- Падучева Е.В.* 1989 – К поискам инварианта в значении глагольных видов: вид и лексическое значение глагола // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1989. № 12.
- Петрухина Е.В.* 1990 – К вопросу о конкуренции первичных и вторичных имперфективов в современном русском языке // Русский язык за рубежом. 1990. № 4.
- Ройзензон Л.И.* 1966 – Существуют ли чистовидовые приставки в славянских языках? // Материалы научной конференции по языкознанию: (К 75-летию проф. Е.Д. Поливанова). Самарканд, 1966.
- Русская грамматика. 1980 – Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
- Тихонов А.Н.* 1964 – Чистовидовые приставки в системе русского видового формообразования // ВЯ. 1964. № 1.
- Черткова М.Ю.* 1995 – Вид глагола как словоизменительная категория в концепции В.В. Виноградова // Международная юбилейная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения акад. В.В. Виноградова: Сб. тезисов докладов. М., 1995.
- Шелякин М.А.* 1983 – Категория вида и способы действия русского глагола: (Теоретические основы). Таллин, 1983.
- Янко-Триницкая Н.А.* 1982 – Русская морфология. М., 1982.
- Ясаи Л.* 1990 – Характер вариативности бесприставочных и приставочных инхотативных глаголов несовершенного вида // Russistik / Русистика. Берлин, 1990. № 2.
- Ясаи Л.* 1991–1992 – Заметки об одном типе видовых троек русского глагола // Studia Slavica Academiae scient. hungaricae. Budapest, 1991/1992. Т. 37, fasc. 1/4.
- Lehmann V.* 1988 - Der russische Aspekt und die lexikalische Bedeutung des Verbs // ZSIPh. 1988. Bd. 48. № 1.
- Mulisch H.* 1969 – Zum Problem der präfixalen Aspektkorrelationen in der russischen Gegenwartssprache und ihrer Verifizierung im Kontext // Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogische Hochschule. Dresden 1969. H. 4.
- Veyrenc J.* 1965 – Un problème de formes concurrentes dans l'économie de l'aspect verbal en russe: imperfectifs premiers et imperfectifs seconds // Slavica. V. Debrecen. 1965.

© 1997 г. Е.Ю. ФИЛИМОНОВА

**К ВОПРОСУ ОБ ИЕРАРХИЧЕСКОМ УПОРЯДОЧИВАНИИ ЛИЦ.
ВЫДЕЛЕННОСТЬ 2-ГО ЛИЦА.
ГИПОТЕЗА ЯЗЫКОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ**

Проблема иерархического упорядочивания лиц неоднократно ставилась в лингвистической литературе последнего времени [Mallinson, Blake 1981:65; Nichols 1991:66; Plank 1986; Heath 1991]. Пожалуй, первым об этом заговорил М. Сильверстейн. В его ставшей уже классической работе [Silverstein 1976] постулируется обособленность местоимений 1-го и 2-го лица при падежном оформлении в некоторых языках эргативного строя. В этих языках имена существительные оформляются согласно эргативному принципу маркирования актантов, в то время как местоимения 1-го и 2-го лица, как правило, следуют аккумулятивному принципу. Кратко поясним, что означают эргативный и аккумулятивный принципы маркирования. Пусть S_t есть субъект переходного действия; O – объект переходного действия; S_i – субъект непереходного действия. Согласно аккумулятивному принципу маркирования (этому принципу следуют, к примеру, существительные и местоимения в русском языке) S_t и S_i оформляются одним падежом – номинативом, а O имеет другой падежный показатель – аккумулятив. В случае эргативного принципа общий показатель имеют S_i и O , в данном случае это – номинатив. А субъект переходного действия S_t оформляется эргативным падежом. Сильверстейн объяснял это явление "расщепления" в падежном оформлении, используя семантический принцип одушевленности, или "личности" именных групп, согласно которому происходит упорядочивание именных групп по шкале падежного маркирования. По мнению Сильверстейна, местоимения 1-го и 2-го лица отсылают к наиболее "личным" референтам, которые, в свою очередь, скорее всего могут быть инициаторами действия и, следовательно (поскольку функция агенса является наиболее ожидаемой для местоимений 1-го и 2-го лица) могут быть оформлены немаркированным, в данном случае номинативным, падежом. По мере продвижения (слева направо) по шкале одушевленности (местоимения 1-го и 2-го лица > местоимения 3-го лица > имена собственные > имена, обозначающие людей > одушевленные существительные > неодушевленные существительные) вероятность того, что именные группы, занимающие эти позиции, будут выступать в качестве субъекта переходного глагола, т.е. инициатора действия, падает. Наиболее ожидаемая функция для этих именных групп – объект переходного действия. Вполне логично ожидать, что именные группы этой функции будут также оформлены немаркированным падежом. В данном случае – это номинативный падеж.

А. Вежбицка [Wierzbicka 1981], объясняя расщепление в падежном оформлении между именами существительными и личными местоимениями 1-го и 2-го лица, критикует теорию Сильверстейна об одушевленности, или, как ее называет Вежбицка, об агентивности именных групп. А. Вежбицка считает, что расщепление не может быть объяснено теорией, которая учитывает только формы падежей и игнорирует их функции.

Вежбицка считает, что агенсы, выраженные личными местоимениями 1-го и 2-го лица, с точки зрения транзитивности "ничем не лучше" агенсов, выраженных местоимениями 3-го лица. Наоборот, в некоторых языках предложения с субъектами 1-го и

2-го лица отличаются от основной транзитивной модели и рассматриваются как менее транзитивные. Так, если говорящий производит действие по отношению к 3-му лицу, предложение, описывающее это действие, должно рассматриваться как квазитранзитивное, поскольку агент 1-го лица занимает центральную позицию в сознании говорящего, и таким образом, для другого участника в его поле зрения не остается места. Так, например, в английском языке предложения с агентами 1-го и 2-го лица менее поддаются пассивизации, являющейся одним из лучших тестов на транзитивность, чем предложения с агентом 3-го лица.

Ср. *He beats me.* ⇒ *I was beaten by him.*

I beat him. ⇒ **He was beaten by me.*

А. Вежбицка постулирует высокую топиализованность личных местоимений 1-го и 2-го лица и объясняет все расщепления¹ (в согласовании, порядке местоименных клитик, местоименных аффиксов, в категории "направление" (*direction*) (встречающейся, к примеру, в алгонконских языках), в падежном маркировании) через эту концепцию.

Вежбицка также согласна с мнением, высказанным А.Е. Кибриком [Kibrik 1979: 74] по поводу "гетерогенного принципа кодирования актантов" в некоторых кавказских языках. Кибрик рассматривает те языки, в которых личные местоимения в отличие, скажем, от существительных, не различают эргативный падеж. В их падежной парадигме номинатив и эргатив имеют одинаковые формы. В силу этого, в тех случаях, когда местоимения 1-го или 2-го лица выступают в качестве субъекта переходного действия, возникают конструкции, в которых S_i и O маркируются одним падежом – номинативом. Кибрик пытается найти объяснение, почему личные местоимения ведут себя подобным образом. Он полагает, что эргатив по сути своей является периферийным маркером. Кибрик указывает на противоречие, которое возникает в том случае, если личные местоимения следуют эргативному принципу кодирования актантов: это противоречие между центральной ролью участника речевого акта, являющегося семантически активным, и его периферийным маркером – эргативом. Если эргатив действительно является периферийным маркером, как считает Кибрик, то тенденция местоимений 1-го и 2-го лица избегать эргативного маркирования представляется вполне естественной.

Вежбицка считает, что ограничения, накладываемые на порядок следования местоименных клитик и аффиксов, тоже объясняются с помощью иерархии топиализованности. Так, во многих языках (например, во французском и шамбала) клитики или аффиксы 1-го и 2-го лица не могут находиться в соположении. Они соревнуются за право занять один и тот же слот – слот высокой топиальности².

¹ Имеются в виду те ситуации, когда местоимения 1-го и 2-го лица и соотносимые с ними грамматические элементы и конструкции оформляются иначе, следуют другим правилам, нежели местоимения 3-го лица или имена существительные.

² Поясним это положение на примере французского языка. Местоименное косвенное дополнение глаголов типа "recommander" (рекомендовать) может выступать в контрастной форме только в контексте выделения:

Roger l'avait recommandé à toi, pas à Jean.

Роже рекомендовал это тебе, а не Жану.

В этом примере косвенное дополнение *à toi* противопоставлено другой именной группе (*à Jean*). В случае, когда контекст противопоставления отсутствует, используется слабая, или "клитическая", форма местоимения:

Roger te l'avait recommandé.

Роже рекомендовал это тебе.

Но если мы возьмем предложение типа

Roger nous avait recommandés à toi.

Роже рекомендовал нас тебе,

то здесь форма *à toi* не воспринимается как контрастная. В этом предложении в позиции косвенного дополнения невозможно использовать слабую (клитическую) форму местоимения:

Дж. Хит [Heath 1976] предлагает приблизительно похожее объяснение тому факту, что в некоторых австралийских языках эквивалентные комбинации этих двух лиц (комбинации, в которых субъект и объект занимают эквивалентные иерархические позиции) имеют вид портманто, т.е. представляют собой комбинации, не поддающиеся морфологическому сегментированию, или же маркируются показателем 1-го лица инклюзивного. Так, например, в языке алава показатель комбинации "1ExPl->2Sg" имеет вид *aŋi*, а "2Sg->1Sg" – *ji*. При этом в местоименной системе языка отсутствуют элементы, фонологически сходные с приведенными показателями, и расчленив их, попытаться разложить на составляющие элементы не представляется возможным. В языке нунгубуу показатель комбинации "2Pl->1Sg/Pl" *ŋiri* сходен с показателем 1Pl, который схематично можно было бы представить как *ŋVrV*, который, в свою очередь, в языке реализуется в виде *ŋiri*, *ŋiri* и *ŋä* (из **ŋara*). В языке аниндиляква показатель комбинации "2Pl->1Sg/Pl" *y(ə)* омофоничен (интранзитивному) 1Pl *Du y(ə)*, а показатель комбинации "1Sg/Pl->2Pl" *ŋar* омофоничен (интранзитивному) 1Pl *ŋar* [Heath 1991: 82–3]. Как отмечает Д. Хит, при использовании показателей первого лица инклюзивного ролевая дифференциация лиц практически стирается. Хит называет комбинации 1 и 2 лица (1(-)2) наиболее "опасными" в том смысле, что они содержат наиболее прагматически чувствительные местоимения и при введении их в синтагматическую структуру внимание неизбежно фокусируется на отношении "говорящий–адресат" [Heath 1991:86]. Поэтому некоторые языки не могут решить, какому из двух лиц пары "говорящий–адресат" отдать предпочтение и определить как стоящее выше по иерархии лиц, и во избежание конфликта используют особый аффикс, значение которого сводится лишь к указанию, что в действии принимают участие референты 1-го и 2-го лица (без ссылки на то, в какой именно роли – агенса или объекта – выступает то или иное лицо).

По-иному подходит к проблеме иерархического упорядочивания лиц Ф. Планк [Plank 1985]. Планк не ставит своей задачей определить, какое из трех лиц является наиболее отмеченным в личной иерархии. В своей работе он обсуждает, скорее, общетеоретические аспекты иерархизации лиц. Планк поднимает вопрос о необходимости говорить о лицах, понимаемых морфосинтаксически, а не семантикопрагматически, когда речь идет об их взаимосвязи с концептом референциальной иерархии. В его работе рассматривается отражение принципа иерархического упорядочивания местоимений 1-го, 2-го и 3-го лица в синтаксических правилах, зависимость упорядочивания форм и значений в личных и лично-числовых парадигмах от этого принципа, а также роль этого принципа при оформлении реляционной конструкции предложения.

В настоящей работе объектом рассмотрения стали языки³, где постулируется выделенность 2-го лица по сравнению с 1-ым и 3-им лицами. Мы не ставим своей задачей ответить на вопрос о том, почему в этих языках второе лицо оказывается наиболее выделенным. Этот аспект довольно убедительно изложен в работе Ф. Плана. Нас будут интересовать морфосинтаксические особенности этих языков.

* *Roger nous l'avait recomandés.*

* *Roger te nous avait recomandés.*

Аналогично, если в роли косвенного дополнения выступает местоимение 1-го лица, то оно может употребляться в клитической форме только в случае, если прямое дополнение отсутствует или если в роли прямого дополнения выступает местоимение 3-го лица. Но если в роли прямого дополнения выступает местоимение 2-го лица, использование клитической формы местоимения 1-го лица в роли прямого дополнения приводит к грамматически неправильному предложению [Perlmutter 1971: 53–54]. Таким образом, местоимения 1-го и 2-го лица не могут выступать в одной клитической группе.

³ Отметим сразу, что нам не удалось обнаружить большого количества интересующих нас языков. Используются следующие языки: нунгубуу, алава, аниндиляква [Heath 1976, 1991], кри [Ahenakew 1987], кечуа [Weber 1986], йокутс [Newman 1944], сомали [Jensen 1930], маньчжурский [Jensen 1930], оджибве [Jensen 1930, Moravcsik 1978, Schwartz, Dunnigan 1986], каража [Wiesemann, 1986], потаватоми [Plank 1985], испанский [Moravcsik 1978, Plank, Schellinger 1997]. Данные о принадлежности того или иного языка к определенной языковой группе приведены по списку Рулена [Ruhlen 1987].

Иерархия лиц может проявляться как на синтаксическом, так и на морфологическом уровнях, или же на обоих уровнях одновременно. В первом случае, т.е. при наличии синтаксической иерархии, мы имеем дело с упорядочиванием лиц при распределении синтаксических ролей (например, в языке кри (алгонконская подгруппа североамериканской группы америндских языков), кечуа (андская группа америндских языков). Речь идет о возможных изменениях синтаксических конструкций, а также принципов оформления личных глагольных аффиксов в зависимости от того, в какой функции в предложении (субъекта или объекта) выступают местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица (подробнее см. ниже). Во втором случае морфологический анализ форм свободных личных местоимений, а также согласовательных личных аффиксов дает основания сделать заключение о выделенности того или иного лица. Как правило, это анализ форм со смешанным референтным множеством, т.е. инклюзивных форм в сравнении с эксклюзивными. Причем, как будет показано ниже, выделенность 2-го лица на синтаксическом уровне влечет за собой обязательное выделенное выражение этого лица на уровне морфологическом, но не наоборот.

В морфологическом плане можно назвать следующие признаки выделенности 2-го лица.

В языках, где 2-е лицо находится на высшей ступени иерархии лиц, естественно ожидать противопоставления инклюзивной и эксклюзивной числовых форм, иначе говоря, наличия отдельной инклюзивной числовой категории 1-го лица, когда адресат включается говорящим в референциальное множество. Категории инклюзив/эксклюзив существуют во многих языках, но не во всех языках, где встречаются эти категории, второе лицо является выделенным.

Как правило, в языках с выделенным 2-ым лицом, форма 1Pl(Du)Incl. в морфологическом плане строится с перспективы 2 лица. Так, например, в языке йокутс (пенутийская подгруппа) северо-американской группы америндских языков [Newman 1944; Nymes 1953: 297] формы местоимений 1-го лица множественного и двойственного числа эксклюзивных и второго лица множественного и двойственного числа при морфологическом членении обнаруживают общий второй элемент, т.е. морфему со значением множественности или двойственности. Формы 1-го лица множественного и двойственного числа инклюзивного и 2-го лица множественного и двойственного числа имеют общий первый элемент, который можно было бы обозначить как показатель 2-го лица:

Единственное число	1	<i>na'</i>	
	2	<i>ma'</i>	
Двойственное число	1 Ex.	<i>na'ak'</i>	
	1 In.	<i>mak'</i>	
	2	<i>na'ak'</i>	
		<i>ma'an</i>	
Множественное число	1 Ex.	<i>na'an</i>	
	1 In.	<i>ma</i>	
	2	<i>ma'an</i>	[Newman 1944 : 231-232].

где *na'* – показатель 1-го лица, *ma'* – показатель 2-го лица, *ak'* – показатель двойственности, *an* – показатель множественности.

Енсен в своей работе [Jensen 1930: 121] отмечает ряд языков, которые при построении инклюзивной формы "мы" используют элементы, обычно характеризующие формы 2-го лица. Так, в языке сомали (кушитская группа афроазиатских языков) "мы" эксклюзивное имеет форму

anna < **ani-n-a* (множественное число от *an*, *ani* "я");

"мы" инклюзивное имеет форму

inna < **adi* ("ты") -*n-an* ("я");

второе лицо множественного числа ("вы") имеет вид

adi-n (множественное число от *adi* "ты").

В маньчжурском языке (тунгусская группа алтайских языков) "мы" экскл. имеет

форму *be*, косвенная форма *te* (*bi* "я", косв. *mi*), "мы" инклюзивное имеет форму *muse*, а формы 2 лица имеют вид *si* "ты", *sue* "вы".

В языке оджибве (алгонконская подгруппа северо-американской группы америндских языков) ситуация выглядит следующим образом:

1Pl Ex. *ninawin* (*nin* "я")
 1Pl In. *kinawin* (*kin* "ты", *kinawa* "вы"),

что демонстрирует построение инклюзивной формы на основе 2-го лица, а не 1-го.

Интересно отметить, что в некоторых грамматиках при описании данной категории используется обозначение "21p(erson)" [Ahenakew 1987], т.е. на переднем плане стоит 2-е лицо, а не 1-е.

В качестве примера выделенности 2-го лица на морфологическом уровне можно указать также, что в диалекте кузко (Cuzco) языка кечуа формы будущего времени имеют регулярное образование во всех лицах, кроме второго [Moravcsik 1978: 356].

В языке каража (же-пано-карибская группа америндских языков) [Wiesemann 1986: 370] плюральные и временные показатели идентичны для 1 и 3 лица и отличаются, в свою очередь, от показателей 2 лица:

лицо вид	1/3 замысел/начало *	1/3 замысел/начало	2 замысел	2 начало
направление (direction)	эгрессив	ингрессив	эгр/ингр	эгр/ингр
мн. ч.	<i>reny</i>	<i>deny</i>	<i>beny</i>	<i>d'eny</i>
отдаленное прошлое	<i>re</i>	<i>de</i>	<i>be</i>	<i>d'e</i>
недавнее прошлое	<i>ra</i>	<i>da</i>	<i>ba</i>	<i>d'a</i>
настоящее	<i>teri</i>	<i>deri</i>	<i>beri</i>	<i>d'eri</i>

(* местоимения в языке каража различают категорию вида: действие в состоянии замысла и действие начатое (contemplated/begun aspects))

На морфо-синтаксическом уровне можно выделить следующие возможности проявления маркированности 2-го лица.

В алгонконских языках, в частности в языке оджибве [Schwartz, Dunnigan 1986: 295, Moravcsik 1978: 355], имеет место следующая зависимость: если 2-е лицо участвует в предложении в качестве субъекта или объекта, то глагольным префиксом будет префикс 2-го лица. Если же ни один из актантов не имеет в качестве референта 2-го лица, но один из них выражен местоимением 1-го лица, то глагольным префиксом будет являться префикс 1-го лица.

В языке кечуа [Weber 1986] формы переходных глаголов содержат отсылки к субъекту и объекту. Основное правило следования этих местоименных суффиксов следующее: если актант 2-го лица участвует в предложении как субъект или объект, то позиция его местоименного суффикса всегда финальная; если же 2-е лицо не участвует в действии, то конечную позицию будет занимать суффикс 3-го лица.

Интересно, что в этом языке в выделенном положении находится не только второе лицо, но и инклюзивное первое лицо, т.е. внимание концентрируется на участии в действии адресата высказывания. Так, например, если 3-е лицо выступает в качестве субъекта, а в качестве объекта – 2-е лицо или 1-е лицо инклюзивное, то при маркировании соответствующей лично-ролевой комбинации будет действовать следующее правило: объектный маркер сохраняет лицо реального объекта, а при маркировании субъекта происходит смещение, при котором лицо реального субъекта уподобляется лицу объекта, т.е.:

$3S-2O \Rightarrow 2O...-2S$

$3S-(1+2)O \Rightarrow (1+2)O...(1+2)S$

Например,

rika-shu-nki (verb-2O-2S) "он/а видит тебя" (3S-2O)

rika-ma-nchi (verb-(1+2)O-(1+2)S) "он/а видит нас (3S-(1+2)O).

[Weber 1986: 335]

В языке потаватоми (алгонконская подгруппа америндских языков) [Plank 1985: 155] обращает на себя внимание личное глагольное согласование. Как видно из приведенных ниже примеров, в инклюзивной форме в качестве личного префикса используется показатель 2-го лица:

<i>n-kaskumi</i>	я убегаю
<i>k-kaskumi</i>	ты убегаешь
<i>w-kaskumi</i>	он убегает
<i>n-kaskumi-mun</i>	мы убегаем (экскл.)
<i>k-kaskumi-mun</i>	мы убегаем (инкл.)
<i>k-kaskumi-tun</i>	вы убегаете
<i>w-kaskumi-uk</i>	они убегают.

В языке кри [Ahenakew 1987] глагол согласуется с субъектом и объектом в лице и числе. Но лично-числовые аффиксы не различают субъект и объект как таковые. Это делается с помощью так называемого прямого и обратного (инверсивного) маркирования глагола. Иерархическое упорядочивание лиц в кри выглядит следующим образом: 2>1>3 (лицо, стоящее слева от знака ">", занимает более высокую позицию в иерархии лиц). Глагол в языке кри маркируется прямым показателем, когда субъект превосходит объект по иерархии лиц, и инверсивным показателем в обратной ситуации. Приведем несколько примеров:

<i>ni-pamih-â-nân</i>	"Мы его ищем"
1Pl-verb-Dir-1Pl	
<i>ni-pamih-iko-nân</i>	"Он нас ищет"
1Pl-verb-inv-1Pl	[Ahenakew 1987: 93]
<i>ki-pamih-i-n</i>	"Ты меня ищешь"
2-verb-Dir-2Sg	
<i>ki-pamih-iti-n</i>	"Я тебя ищу"
2-verb-Inv-2Sg	[Ahenakew 1987: 97].

Проанализировав данные из всех упомянутых выше языков, нам удалось заключить следующее:

если в языке имеет место дейктическая выделенность 2-го лица, то в этом языке обязательно присутствует особая числовая категория "мы инклюзивное", включающая адресата, или иначе говоря, 2-е лицо, в референтное множество. Таким образом, для этих языков характерно противопоставление инклюзивного и эксклюзивного множества, имеющее своей целью подчеркнуть выделенный, особый характер 2-го лица.

Используя символы математической логики и принятые лингвистические обозначения, можно записать:

$$2 > (13) \Rightarrow (\text{Incl et Excl.})$$

Обратное не верно.

Возможно, исключением из этого правила является испанский язык. Э. Моравчик [Moravcsik 1978: 356] отмечает характер упорядочивания для этого языка личных клитик и аффиксов, при котором второе лицо предшествует первому, а то, в свою очередь, третьему лицу. Однако в местоименной парадигме испанского отсутствует противопоставление "инклюзивность/эксклюзивность". В этом отношении интересно замечание, приведенное в работе Ф. Планка и В. Шеллингера [Plank, Schellinger 1997], по поводу испанских местоимений *nosotros/nosotras*. Дело в том, что с исторической точки зрения эти местоимения образованы слиянием собственно личных местоимений и прилагательного, маркированного категорией рода (Ср. *alteros, alteras* "другой" (муж.,

жен.)). В других романских языках – французском, итальянском, сардинском – это слияние не грамматикализовалось в той степени, как это произошло в испанском, однако используется для различения 1 лица эксклюзивного и инклюзивного (ср. ит. *noi altri/noi*).

Предвидя возможную критику в адрес использованной в работе языковой выборки, хочется отметить следующее. Действительно, большинство языков, упомянутых в работе, в географическом плане сконцентрировано в Северной и Южной Америке. По данным Дж. Николс [Nichols 1991: 123–4], наличие или отсутствие у местоимений оппозиции "инклюзивность/эксклюзивность" не имеет никакой типологической корреляции, т.е. не соотносится с какими-либо языковыми признаками. С географической точки зрения, распределение местоименной оппозиции инклюзивность/эксклюзивность выглядит следующим образом:

Старый Свет → Новый свет → Пацифика (Австралия, Океания и Новая Гвинея) (направление стрелки указывает возрастание количества языков, в которых у местоимений наличествует оппозиция "инклюзив/эксплюзив") с наибольшей концентрацией в Тихоокеанском регионе (Пацифике). Однако, согласно нашим данным, для австралийских языков характерно выделенное положение 1-го лица, т.е. позиции говорящего, по сравнению со 2-ым и 3-им лицами ($1 > 2 > 3$). Следовательно, наше заключение о связи выделенного характера 2-го лица и наличия оппозиции инклюзивность/эксклюзивность, к которому мы пришли на материале нашей языковой выборки, было в какой-то мере обусловлено экстралингвистическими фактами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ahenakew F. 1987 – Cree Language Structure. Manitoba, 1987.
- Heath J. 1976 – Substantival hierarchies: addendum to Silverstein // Dixon (ed.). Grammatical categories in Australian languages. Canberra, 1976.
- Heath J. 1991 – Pragmatic disguise in pronominal-affix paradigms // F. Plank (ed.). Paradigms. The economy of inflection. Berlin, 1991.
- Jensen H. 1930 – Bemerkungen zum ungeschlechtigen Personalpronomen des Indogermanischen // IF 48. 1930.
- Kibrik A.E. 1977 – Canonical ergativity and Daghestan languages // F. Plank (ed.). Ergativity. London, 1977.
- Mallinson G., Blake B.J. 1981 – Language typology. Amsterdam, 1981.
- Moravcsik E. 1978 – Agreement // J. Greenberg (ed.). Universals of human languages. V. 4: Syntax. Stanford, 1978.
- Nichols J. 1992 – Linguistic diversity in space and time. Chicago; London, 1992.
- Newman S. 1944 – Yokuts Language of California. New York, 1944.
- Perlmutter D.M. 1971 – Deep and surface structure constraints in syntax. N.Y., 1971.
- Plank F. 1985 – Die Ordnung der Personen // Folia Linguistica 19. 1985.
- Plank F., Schellinger W. 1997 – The uneven distribution of genders over numbers // ALT 1. 1997.
- Ruhlen M. 1987 – A guide to the world's languages. Stanford, 1987.
- Schwartz L., Dunnigan T. 1986 – Pronouns and pronominal categories in Southwestern Ojibwe // U. Wieseemann (ed.). Pronominal systems. Tübingen, 1986.
- Silverstein M. 1976 – Hierarchy of features and ergativity // Dixon (ed.). Grammatical categories in Australian languages. Canberra, 1976.
- Weber D. 1986 – Huallaga Quechua pronouns // U. Wieseemann (ed.). Pronominal systems. Tübingen, 1986.
- Wierzbicka A. 1981 – Case marking and human nature // Australian Journal of Linguistics 1. 1981.
- Wieseemann U. 1986 – The pronominal systems of some Jê and Macro-Jê languages // U. Wieseemann. (ed.). Pronominal systems. Tübingen, 1986.
- Wieseemann U.(ed.). 1986 – Pronominal systems. Tübingen, 1986.

© 1997 г. Е. ПИИРАЙНЕН

**"ОБЛАСТЬ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ" –
МЕТАФОРА — МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
(на материале фразеологии
западно-мюнстерландского диалекта)**

**1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
ЦЕЛИ И МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ**

В данной работе речь идет не о новой теории метафор, а о том, каким образом новейшие достижения когнитивной семантики, вместе с традиционными методами, можно использовать при анализе инвентаря фразеологизмов. Материалом служит фразеология нижненемецкого диалекта, а именно, западно-мюнстерландского диалекта. Целью исследования является описание фразеологии данного диалекта, а также в точном сопоставлении с нормативными языками и по возможности выявление отраженного в ней мировоззрения.

1.1. В качестве вступления дадим краткую характеристику объекта исследования. Западно-мюнстерландским диалектом называются региональные наречия в западном районе Вестфалии. Они, в силу своего периферийного положения, а именно в пограничной зоне с Нидерландами, консервативнее, архаичнее, чем другие ниже-немецкие наречия. Носители диалекта принадлежат к относительно гомогенному аграрному обществу. За последние годы все яснее наблюдается переход к использованию современного литературного немецкого языка. Диалектом пользуются при неофициальных близких устных контактах, в кругу семьи. Несколько лет тому назад еще представлялось возможным найти компетентных носителей диалекта, с помощью которых удалось составить объемный корпус диалектных фразеологизмов. Речь идет примерно о 5000 единицах, собранных из различных из устных источников, проверенных с помощью опроса информантов (ср. [Piigainen 1994]).

С отказом от использования диалекта в официальной сфере общения наблюдается и утрата самой его структуры: сильнее всего данному явлению подвержены фразеологизмы. Собрать диалектные фразеологизмы удалось только благодаря компетентности самого старшего поколения от 70 до 90 лет, освоившего нижненемецкий диалект в качестве первого языка. Молодые носители языка не владеют большинством фразеологизмов или же совсем их не понимают. С уходом последних компетентных носителей диалекта утратится поэтому не только фразеология западно-мюнстерландского наречия, но и вся традиционная культура, заключенная в данной системе языка. Поэтому первоочередной задачей является понимание высокоразвитой фразеологической системы и описание ее особенностей.

1.2. Инвентаризацию и интерпретацию фразеологического материала можно сравнить, с одной стороны, с традиционными методами этнографии, а с другой стороны, она сближается с приемами экспериментально-когнитивной лингвистики, где важнейшим источником выступают лица, владеющие родным языком (информанты). Данный прием исследования (наблюдений), который опирается исключительно на информацию носителей языка и отодвигает на задний план (предполагаемые) собственные знания исследования, оправдывается прежде всего там, где речь идет о семантических

процессах и когнитивных феноменах. Сюда относится вопрос о мотивации, который при описании диалектных фразеологизмов представляет собой отдельный комплекс проблем. С точки зрения исследователя, в качестве мотивированных фразеологизмов выступают такие, которые носители языка понимают дословно или же могут спонтанно дать пояснение по их интерпретации. При этом речь идет не только о "правильном", историко-этимологическом пояснении, но и о такой систематизации, которая для носителей родного языка представляет собой психологическую реальность.

Выяснилось, что носители диалекта со спонтанной экспликацией по мотивации фразеологизмов владеют языковыми знаниями и областью знания мира, которые зачастую значительно отличаются от "наивных" или энциклопедических знаний исследователя диалектов, выросшего в окружении современного литературного немецкого языка. Приведем пример (1):

(1) *he häff sik up Strieksied leggt* («*er hat sich auf die "Streichseite" [Rückenseite] gelegt*»), 'er ist gestorben' «он лег на "сторону (на тыльную сторону, спину)", по которой гладят (поглаживают)», 'он умер'.

По пояснению носителей языка, слово *Strieksied* употребляется исключительно в связи с птицами и рыбой и выступает в зависимости от таких глаголов как *liegen* "лежать" или *sich legen* "укладываться". Во фразеологизме нашло отражение представление об умирающей птице. В основе лежит наблюдение над природой: умирающая птица ложится на спину. Следовательно, если говорить о мотивационной основе, то речь идет об элементах специального языкового знания (*Strieksied*), а также о детальном энциклопедическом знании. Другой пример (2):

(2) *daor is eene van't Recke follen* ("*da ist jemand von der Sitzstange (im Hühnerstall) gefallen*"), 'dort ist jemand (der Hofbesitzer) ganz plötzlich gestorben' ("там кто-то вдруг упал с шеста (в курятнике)", 'там кто-то (владелец крестьянского двора) скоропостижно умер').

Recke означает длинный деревянный поперечный шест в курятнике, на котором курицы и петух сидят ночью. По свидетельству носителей диалекта, данный фразеологизм используется только для обозначения скоропостижной смерти крестьянина, сравниваемого с петухом: еще сильное на вид животное вдруг падает с шеста мертвым.

Здесь речь вновь идет о дифференцированном фрагментальном знании окружающего мира, которое увязывается с фразеологизмом только старейшими носителями диалекта, выросшими в данном окружении. Для них это часть когнитивной системы, а для наблюдателя, пребывающего во временной и пространственной дистанции – это прежде всего "фольклорные" приобретенные знания. Поэтому адекватное описание диалектальных фразеологизмов должно учитывать не столько историко-фольклорную перспективу, сколько реальные когнитивные феномены данного регионально-специфического знания окружающего мира.

2. "ОБЛАСТЬ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ" (ФРЕЙМ/СЦЕНАРИЙ) VS. "МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ" (ОБРАЗ-СХЕМА)

Для понимания образной основы западно-мюнстерландской фразеологии, в чем и заключалась одна из задач работы, фразеологизмы классифицируются, с учетом данных информантов, по лежащим в основе "метафорическим отображениям", "источникам метафоры" или исходным описаниям, они составляют в упорядоченном виде один из массивов данных, включающий примерно половину рассматриваемых случаев. Так оказался возможным соотнести пример (1) с областью метафорического отображения 'птицы (как они обитают в природе)', пример (2) – с комплексом 'курятник/пернатые', каждый из которых определяет структуру примерно 30 последующих фразеологизмов.

Подобный принцип классификации применялся только однажды, а именно Фридрихом в "Современной немецкой идиоматике" [Friederich 1966] для фразеографических

целей и с тех пор считается неудачным из-за ряда непоследовательностей (ср. среди прочего критику [Rothkegel 1973: 22, 165f]). Мы же хотим, несмотря на неудавшийся опыт, вновь использовать данный традиционный метод исследования с учетом новейших когнитивных теорий. Традиционному понятию "область метафорического отображения" ("Bildspender") соответствует в когнитивной терминологии упорядочение по определенным признакам знания об окружающем мире. Конкретные концептуальные структуры (фрейм или сценарий), которые хранятся во фразеологизмах, берут свое начало в этом знании окружающего мира¹. Здесь следует обозначить и другую проблему, для чего приведем следующий пример (3):

(3) *he is in'n Dүүstern wassen* ("er ist im Dunklen gewachsen"), 'er ist sehr dümmlich, geistig beschränkt' ("он вырос в темноте", 'он придурковат, умственно ограничен').

Мотивационную основу данного фразеологизма не следует искать в метафоре ТЕМНОТА, как это на первый взгляд вытекает из конституента *Dүүstern* 'темнота'. В этом кроется основная ошибка Фридериха [Friederich 1966], определявшего тематическое окружение всего фразеологизма по предполагаемому основному значению отдельного конституента, а не исходя из скрытой структуры знаний (например, фразеологизм *keinen Boden gewinnen* "не получать распространения" ошибочно отнесен к комплексу 'Haus- und Wohnungseinrichtung' 'устройство дома и квартиры'). По данным информантов, когнитивной реальностью для примера (3) представляется картина из области лесного хозяйства: речь идет о дереве, которое получает мало солнечного света и поэтому искривляется. То, что данный фразеологизм интерпретируется на основании метафоры ЛЕСНИЧЕСТВО, на что однако не указывает ни один из конституентов, основывается на элементарном жизненном опыте носителей диалекта в сельской местности западной Мюнстерландии. Для лесного хозяйства, например, прореживание низкорослого леса для того, чтобы сильные деревья получали больше солнечного света, представляется общеизвестным, ежедневным занятием.

Если ставится вопрос о соотношении примера (3) с областью метафорического отображения (фрейм/сценарий), то он присоединяется к более массивному, ярко выраженному комплексу 'лесное хозяйство' (лес понимается утилитарно только как 'ландшафт производства'). Его можно поставить в ряд примеров подобного источника, а именно независимо от их актуального идиоматического значения как, например (4) и (5):

(4) *in ussen Busk bünt se ook all an't Houen* ("in unserem Wäldchen sind sie auch schon dabei (Bäume) zu schlagen") 'wenn mehrere ältere Leute gestorben sind' "в наших лесочках они тоже уже приступили валить (деревья)", (говорится, если умерло несколько старых людей);

(5) *se saagt all an mienen Boom* ("sie sägen schon an meinem Baum") 'ich werde bald sterben' usw. "они уже подпиливают мое дерево", (т.е. 'я скоро умру') и т.д.

Однако это только одна сторона проблематики. При поиске метафоры, лежащей в основе фразеологизма, зачастую следует учитывать абстрактный уровень, одну из внешних образных реализаций независимой концептуальной метафоры по теории Дж. Лакоффа, М. Джонсона [Lakoff, Johnson 1980; Lakoff 1987], как это демонстрирует пример (3). При выяснении образного источника (метафоры ЛЕСНИЧЕСТВО) неучтенным осталось актуальное значение фразеологизма "он глуп". Если же глуповатая, умственно ограниченная личность сравнивается с кривым деревом, то на абстрактном уровне вскрывается совершенно другая метафора, которую можно обозначить как УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ – ЭТО ФИЗИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ.

¹ Хотя в когнитивной лингвистике и существуют довольно разные точки зрения на статус фрейма и сценария (ср. среди многих других [Schank, Abelson 1977; Minsky 1985; Fillmore 1985; Konearding 1993]), эвристика фрейм семантики зарекомендовала себя в качестве возможного метаязыкового аппарата. Под фреймами или сценариями здесь понимается концептуальная структура, которая охватывает определенную лексическую единицу как ассоциативный контекст или же при помощи которой она воспроизводится, причем сценарии имплицитно указывают на временной отрезок происходящего.

Такой вид метафор находится по теории Дж. Лакоффа в плоскости между областью цели и областью источника: область цели ГЛУПОСТЬ/УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ оформляется в речи с помощью метафорической модели, которую можно обозначить как ФИЗИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ. Комплекс 'лесное хозяйство' в качестве источника конкретного образа выступает, как показывают Дж. Лакофф и М. Джонсон [Lakoff, Johnson 1980], только как поверхностная реализация ("surface realization"), среди прочего, и в качестве таковой, с учетом когнитивной перспективы, она незначительна в сопоставлении с осевшей на глубинном срезе, закрепившейся концептуальной метафорой.

Если ставится вопрос о структурировании названной метафоры при помощи других фразеологизмов, то следует исходить из области цели. Анализ семантического поля 'глупость' дал множество примеров для подобной метафорической модели ГЛУПОСТЬ – ЭТО ФИЗИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ, ср. примеры (6) и (7). Подобно примеру (3) и эти фразеологизмы требуют, из-за своего скрытого потенциала, подробного объяснения для того, чтобы проследить его становление. Мы ограничимся приведением примеров и указанием на отождествление физического недостатка или слабости с 'глупостью'. В пределах западно-мюнстерландских фразеологизмов это следует рассматривать как когнитивно реальное явление. Для фразеологии литературного немецкого языка данная метафорическая модель не характерна.

(6) *he häft sewwen in eene Hosse ("er hat sieben in einem Strumpf")* [er läuft so ungeschickt, als ob er sieben Beine in einem Strumpf hat; er gleicht einem Gehbehinderten], 'er ist sehr dümmlich, geistig zurückgeblieben' "у него семь в чулке" [он ходит так неловко, как если бы у него было семь ног в чулке; он похож на человека с физическим недостатком ног], 'он очень глуп, умственно отсталый';

(7) *man kann de wall ne Bischopp van maaken (apatt kinn vernünftig Määske) ("mann kann wohl einen Bischof aus ihm machen (aber keinen vernünftigen Menschen")* [er ist schwächlich, er ist (wie ein Bischof) für schwere körperliche Arbeit nicht geeignet], 'er ist sehr dumm' "из него, видимо, можно сделать епископа (но не разумного человека)" [он слабосильный, он (как епископ) не годится для физической работы], 'он очень глуп'.

Отметим, что во фразеологизме, как это показано на примере (3), встречаются два различных вида метафор, которые для анализа инвентаря фразеологизмов могут быть равнозначны, однако следует различать:

(i) конкретный образный источник фразеологов, традиционно обозначаемый областью метафорического отображения. Приблизительно синонимично могут использоваться фрейм или сценарий с точки зрения декларативных или процедурных типов знаний;

(ii) концептуальная метафора², которая характеризуется более высокой степенью абстракции. Ее можно объяснить только с учетом области цели, которая менее доступна непосредственному наблюдению. Так как она "моделевидна" и встречается в системе аналогий, то для ее характеристики используется термин "метафорическая модель", равнозначный понятию образ-схема по теории Дж. Лакоффа.

3. ФРЕЙМ/СЦЕНАРИЙ КАК ПРИЕМ ОПИСАНИЯ.

3.1. Фрейм западно-мюнстерландской фразеологии.

В предыдущих пунктах были названы некоторые характерные особенности диалектной фразеологии. При классификации фразеологизмов по фреймам были исключены фразеологизмы, не поддающиеся соматической мотивировке (в широком смысле)

² Для Дж. Лакоффа и его сторонников область источника выступает частью концептуальной метафоры, чаще всего как отклонение от конкретной образной реализации (CONTAINER, FLUID, HEAT, MOTION, POSSESSION и т.д.), конкретное окружение в качестве источника образности не играет никакой роли. Так, например, *spill the beans* и *let the pig out of the bag* рассматриваются как синонимы на основании их одинаковой области цели, ('выдать скрываемые знания') и одинаковой области источника CONTAINER внутри концептуальной метафоры MIND IS A CONTAINER [Gibbs, O'Brien 1990: 38].

ле), и фразеологические сравнения. Кроме того, мы стремились к полноте освещения, так как высказывания о специфике западно-мюнстерландских фразеологизмов следует строить на основании не отдельных ярких примеров, а всего собранного материала.

Таким образом, выявилось примерно 40 комплексов, каждый из которых содержит более 20 фразеологизмов. Примеры (1) и (2) показывают, что исследование ведется на основании определенного фразеологического материала ('птицы в природе' и 'курятник на крестьянском дворе' в качестве отдельных областей), а не по априорному конструкту. Секторы образного метафорического отображения пересекаются лишь в некоторых случаях. Например: 'уборка сена', 'земледелие (рожь, гречиха)', 'выращивание скота', 'молочное хозяйство', 'лошадь и телега', 'погода', 'кухня и приготовление пищи', 'хранение запасов', 'работа женщин с тканью (прясть, ткать)', 'уход за ребенком (колыбель и пеленки)', 'детские игры', выделяя при этом сектор 'карточная игра мужчин', также области занятий мужчин, как 'жевательный табак и трубка', затем светские занятия, как 'карнавал' и 'ярмарка', и, наконец, в большом количестве христианские религиозные обряды, дифференцированные по таким мотивам, как 'хождение в церковь', 'домашняя молитва', 'покаяние', 'крещение', 'потусторонние представления'. Вырисовывается, как и предполагалось, отображение повседневных, элементарных форм жизни и хозяйствования западно-мюнстерландских крестьян прошлых времен.

3.2. Сравнение с современным литературным немецким языком.

Остановимся теперь на сравнении с образной системной современной немецкой фразеологией. Несмотря на отсутствие сравнительной основы, можно все же установить, что такие области познания современного урбанистического общества, как спорт, театр, банковское дело, автомобиль, современная техника и т.д., не отражены в диалектной фразеологии. Однако, с другой стороны, многие области одновременно представлены в современном литературном немецком языке, как, например, 'аграрное', в том числе 'курятник/пернатые' (*Hahn im Korb sein* "быть единственным мужчиной в обществе женщин (восемь девок один я)"); *es kräht kein Hahn danach* "и думать об этом забыли, никому до этого дела нет"; 'погода' (*jmdm. im Regen stehen lassen* "оставить одного в беде, оставить одного без поддержки"; *jmdm. bläst der Wind ins Gesicht* "у кого-либо одни неприятности"), 'карточная игра' (*gute Karten haben, einen Trumpf ausspielen* "иметь на руках хорошие карты, пустить в ход козырь"), 'религиозное' и прочее.

Для того чтобы установить, черпают ли обе языковые формы свои представления из одинаковых или различных когнитивных сфер, можно прибегнуть к сопоставлению внутри узко ограниченной парадигмы. На примере ДОМ можно показать, что в западно-мюнстерландских фразеологизмах представлен совсем другой фрейм "ДОМ", чем в современном немецком языке. С одной стороны, это вестфальский крестьянский дом, дом-зал без внутренних перегородок, с его особыми элементами конструкции, такими, как подпорка, мощная сеновальная балка на подпорке, въездные ворота и т.п., ср. примеры (8) – (10):

(8) *dat bliff binnen de Pöste ("das bleibt innerhalb der Pfosten")*, 'das bleibt unter uns, wird vertraulich behandelt' "это касается только нас (семьи)", 'это касается только нас, это будет рассмотрено конфиденциально'; *dat sitt in de Pöste ("das sitzt in den Pfosten")*, 'das ist eine bestimmte (erbliche) Familieneigenschaft' "это свойственно им", 'это определенное (наследственное) фамильное свойство'; *he löpp teggen'n Post ("er läuft gegen einen Posten")*, 'er will sein Vorhaben trotz unüberwindlicher Hindernisse (gewaltsam) durchsetzen' "он идет против стены (подпорки)", 'он хочет осуществить свое желание (насильно), несмотря на непреодолимые преграды';

(9) *daor fall ik nich um van'n Balken ("deshalb falle ich nicht vom Heuboden")*, 'das erschüttert mich nicht; das ist nur eine Kleinigkeit' "из-за этого я не свалюсь с сеновала", 'это не потрясает меня, это только мелочь'; *he steck de Nösse nao't Balkenschlopp ("er steckt die*

Nase hin zur Luke im Heuboden"), 'er ist gerade gestorben' "он высунул нос в отверстие на сеновале", 'он только что умер'.

(10) *se dräägt em döör de Nenndöör* ("sie tragen ihn durch die Tennentür (Einfahrtstür am Wirtschaftsteil des Bauernhauses"), 'er ist gestorben' "его вынесли через черный вход (через ворота хозяйственной пристройки в крестьянском доме)", 'он умер'; *daor kiek de Jungs all äwwer de Nenndöore* ("dort gucken die Jungen schon über die Tennentür"), 'wenn die Erbtochter eines großen Hofes ins heiratsfähige Alter kommt und Bewerber hat' "там уже подглядывают юноши через дверь/ворота", 'если наследница большого поместья/двора достигла зрелого возраста, на выданье, и уже имеет поклонников'.

С другой стороны, с позиции литературного немецкого языка современный жилой дом – это дом с комнатами, потолком, обоями и стенами, это совсем другой образный субстрат, чем в диалектных фразеологизмах. Такие примеры, как (11), немыслимы в западно-мюнстерландской фразеологии:

(11) современный немецкий язык: *an die Decke gehen* "возмущаться"; *jmdm. fällt die Decke auf den Kopf* "не выдержать дома (стены давят)"; *gegen eine Wand reden* "говорить впустую"; *mit dem Kopf durch die Wand (rennen) wollen* "идти напролом, лезть на рожон"; *die Tapeten wechseln* "переменить привычную обстановку, окружение"; *Tür an Tür wohnen mit jmdm.* "жить с кем-либо дверь в дверь, рядом, бок о бок"; *einen Fuß zwischen der Tür haben* "почти войти в доверие, наполовину пробиться"; *sich die Türklinke in die Hand geben* "пользоваться услугами других, быть не напористым"; *nicht ganz richtig im Oberstübchen sein* "не все дома".

4. ОБРАЗ-СХЕМА КАК ПРИЕМ ОПИСАНИЯ

4.1. Концепт БЕДНОСТЬ в западно-мюнстерландских фразеологизмах.

Семантическое поле 'бедность' представлено в западно-мюнстерландском диалекте примерно 80-ю фразеологизмами, которые нетрудно упорядочить по двум образам-схемам. Здесь речь идет не о "случайных", а о регулярных, моделируемых концептах. Первый концепт можно сформулировать как БЕДНОСТЬ – ЭТО НЕДОСТАТОК В РЕСУРСАХ. Примеры данной схемы (12) – (14) зависят одновременно от конкретной образности: недостаток еды, одежды или жилья может быть объяснен в пределах знания фрейма описательно (например: *sich nicht satt lecken können* "не насытиться"; *keine Hose am Leib tragen* "быть плохо одетым, обноситься"; *keine Dachziegel behalten* "пустой дом, остаться без средств", "остаться без крыши над головой"). Образ-схема БЕДНОСТЬ – ЭТО НЕДОСТАТОК В РЕСУРСАХ может содержаться и в неявном выражении, в завуалированной форме (ср. примеры (12б), (13б), (14б), которые непонятны без пояснения носителям языка):

(12а) *se könnt sik nich satt lecken* ("sie können sich nicht satt lecken"), 'sie sind sehr arm' "они не могут насытиться", 'они очень бедны'; (12б) *se könnt trüggäärs up'n Kidden springen* ("sie können rückwärts auf den Stapel [von Roggengarben] springen" [sie haben nur wenig geerntet; der Vorrat reicht nicht]), 'sie sind sehr arm' "они могут прыгнуть назад на скирду (снопы ржи)" [они собрали плохой урожай; запасов не хватит], 'они очень бедны'; (13а) *he höllt kinne Buxe an't Gatt* ("er behält keine Hose am Hinter"). 'er ist sehr arm' "он останется без штанов на заднице", 'он очень беден'; (13б) *he is met eenen Schoh in eenen Schloff* ("er ist mit einem Schuh in einem Wollsocken" [seine Kleidung ist unvollständig]), 'er ist sehr arm' "он залез ботинком в шерстяной носок" [его одежда не соответствует], 'он очень беден';

(14а) *se höllt kinne Panne up't Dack* ("sie behalten keine Dachziegel auf dem Dach"), 'sie leben in sehr ärmlichen Verhältnissen' "у них нет крыши над головой", 'они живут очень бедно'; (14б) *he häff noch in'n Kollenkasten schlaopen* ("er hat noch im Kohlenkasten geschlafen" [er hatte kein eigenes Bett]), 'er ist von sehr ärmlicher Herkunft' "он спал еще в ящике из-под угля" [у него не было собственной кровати], 'он родом из очень бедной семьи'.

Во второй образ-схеме речь идет о совершенно другой концептуальной метафоре **БЕДНОСТЬ – ЭТО ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ**, ср. пример (15):

(15) *se könnt sik nich röhrn of weggen ("sie können sich weder rühren noch bewegen")*. 'sie sind sehr arm; sie haben kein Geld' "они не могут не только двигаться, но и пошевелиться" (они стеснены в движениях), 'они очень бедны; у них нет денег'.

Данный образ более абстрактен, он не опирается на такие бытовые темы, как пища, одежда, квартира, а скорее лишен определенных представлений. К тому же фразеологизмы данной модели **БЕДНОСТЬ** синкретически связаны с **ФИНАНСОВЫМ ЗАТРУДНЕНИЕМ** – целевая область которых в той же мере концептуализируется как **ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ** (ср. примеры (16) по (18)):

(16) *he kann nich up of daale / he kann nich an noch trügge ("er kann weder hinauf noch hinunter / er kann weder vor noch zurück")*, 'er ist in einer finanziellen Zwangslage, er wird sich wirtschaftlich nicht erholen' "он не может (переместиться) ни вверх ни вниз / он не может (переместиться) ни вперед ни назад", 'у него финансовые затруднения, он не сможет поправить свое экономическое положение';

(17) *he kann sik nich uut't Fenster leggen ("er kann sich nicht aus dem Fenster lehnen")*. 'er hat wenig Geld zur Verfügung, er kann sich finanziell nicht sehr strapazieren' "он не может высунуться из окна", 'у него в распоряжении мало денег, он не может взять на себя слишком большие финансовые расходы';

(18) *he kann kinne wieden Spünge maaken ("er kann keine weiten Sprünge machen")*, 'er hat wenig Geld zur Verfügung, er kann sich finanziell nicht sehr strapazieren' "он не может позволить себе слишком большие отклонения (прыжки)", 'у него в распоряжении мало денег, он не может взять на себя слишком большие финансовые расходы';

(19) *se häbbt' nich breed [vöör't Gatt] / se häbbt' nix te breed ("sie haben es nicht breit [vorm Hintern] / sie haben es nichts zu breit")*, 'sie sind sehr arm' "у них почти ничего нет (нечем прикрыть зад) / у них не так много лишнего", 'они очень бедны';

(20) *et is daor kötter an / daor is dat [monks] kötter an ("es ist dort kürzer [an] / dort ist das [manchmal] kürzer an")*, 'es geht dort sehr ärmlich zu' "там всего совсем мало / там (иногда) совсем мало", 'там дела совсем плохи (очень бедно)'.

Как показал анализ словарного поля 'бедность' в западно-мюнстерландской фразеологии, речь здесь идет о двух совершенно различных видах **БЕДНОСТИ** (которые не так ясно опознаются на поверхности, например через семантическую парафразу). **БЕДНОСТЬ**, которая концептуализируется как 'ограничение в передвижении, ограниченность в реализации планов, быть вынужденным придерживаться тесных границ' – все это в тесном взаимодействии с **НЕДОСТАТКОМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**, совсем другой вид бедности, словесное оформление которого берет свое начало из образного мира элементарного и физического недостатка.

4.2. Концепт **БЕДНОСТЬ** в современном немецком литературном языке.

Сопоставления с фразеологизмами современного немецкого языка поля 'бедность' (например, по Schemann [Schemann 1992: 180], Fb7 "Armut... verarmt") показывает, что первая образ-схема здесь представлена множеством примеров, прежде всего в конкретной реализации как 'нехватка еды' (*nichts (mehr) zu beißen haben; Schmalhans ist Küchenmeister; am Hungertisch nagen* "не иметь куска хлеба, голодать, положить зубы на полку"), реже как 'нехватка одежды' (*kein (ganzes) Hemd mehr am Leibe haben* "гол как сокол"), вторая образ-схема распознается с трудом, по крайней мере в синкретических соединениях о 'бедности' и о 'недостатке в деньгах' как в современном немецком языке *keine großen Sprünge machen können* "он не может развернуться, он не может позволить себе больших затрат".

Если же исходить из области источника **ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ**, то выясняется, что в фразеологии современного немецкого языка они представлены довольно большим количеством, однако используются не для словесного

оформления конкретной области цели как 'бедность', а скорее для более абстрактного феномена – 'всеобщее ограниченное/стесненное положение'. Так, образ-схему примеров (21) можно сформулировать как ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – ЭТО ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ (DIFFICULTIES ARE IMPEDIMENTS TO MOTION) [Lakoff 1993: 20].

(21) *hd. keinen Ausweg mehr wissen* "не видеть выхода (из положения)"; *weder aus noch ein wissen* "не знать, как быть (что делать, как поступить)"; *in der Klemme sitzen* "быть в затруднительном положении"; *in der Patsche sitzen/stecken* "быть (находиться) в затруднительном положении"; *jmdn. in die Enge treiben* "поставить кого-л. в безвыходное положение, прижать (припереть) к стенке; поставить кого-л. в тупик"; *mit dem Rücken zur Wand stehen* "занять выгодную позицию"; *jmdn. an/gegen die Wand drücken* "припереть к стене (к стенке) кого-л., поставить в безвыходное положение кого-л." и т.д.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Традиционные подходы в сочетании с данными когнитивной лингвистики позволяют более точно описать с семантической точки зрения объект диалектологической фразеологии. Таким образом, можно было более четко установить различия между говором и литературным языком: когнитивные знания носителей диалекта не совпадают со знаниями носителей нормативного языка. Диалект располагает некоторыми, порой уникальными, образ-схемами; метафорический потенциал в общей сложности используется различным образом. Поэтому пришлось рассмотреть также причины данного явления, для чего был привлечен только один аспект прагматического класса.

Образ 'бедность' или 'глупость' обозначаются в диалекте преимущественно концептуальными метафорами – не потому, что это относится к абстрактным сферам, которые не поддаются другому словесному оформлению (как это имеет место при обозначении психического состояния 'страх' или 'злоба'), а потому, что речь идет о запретных темах. Если речь идет об 'умственно отсталой' личности, то это будет звучать не как 'он глуп', но однако и не как 'он как недоразвитое дерево', ср. пример (3). Скорее всего будет выбрано выражение, состоящее из неспецифических слов, которое только намекает на лежащую в основе концептуальную метафору, понятную только посвященным. Фразеологизм здесь выступает не как "экспрессивная конкурирующая форма", а как важное средство для выражения чего-то отрицательного, что не должно облекаться в слова, однако можно выразить, не нарушив общественные нормы коммуникации. Метафорично-когнитивные процессы, показанные здесь, оказывают, тем не менее, непосредственное влияние на прагматику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Caccari C., Tabossi P. 1993 – Idioms: processing, structure, and interpretation. Hillsdale, New Jersey, 1993.
- Chlosta Ch., Grybek P., Piirainen E. (Hrsg.): Sprachbilder zwischen Theorie und Praxis. Akten des Westfälischen Arbeitskreises 'Phraseologie – Parömiologie'. Bd. 1.
- Fillmore Ch.J. 1985 – Frames and the semantics of understanding // Quaderni di semantica, 2. 1985.
- Friederich W. 1966 – Moderne Deutsche Idiomatik. Systematisches Wörterbuch mit Definitionen und Beispielen. München, 1966.
- Gibbs R.W. 1993 – Why Idioms Are Not Dead metaphors // Caccari C., Tabossi P. (eds.) 1993.
- Gibbs R.W., O'Brien J.E. 1990 – Idioms and mental imagery: The metaphorical motivation for idiomatic meaning // Cognition, 36. 1990.
- Konerdig K.-P. 1993 – Frames und lexikalisches Bedeutungswissen. Untersuchungen zur linguistischen Grundlegung einer Frametheorie und zu ihrer Anwendung in der Lexikographie. Tübingen, 1993.
- Lakoff G. 1987 – Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago, 1987.

- Lakoff G.* 1993 – The contemporary theory of metaphor // Ortony (ed.). 1993.
- Lakoff G., Johnson M.* 1980 – Metaphors we live by. Chicago, 1980.
- Lakoff G., Turner M.* 1989 – More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago; London, 1989.
- Minsky M.L.* 1985 – The Society of Mind. New York, 1985.
- Ortony A.* (ed.). 1993 – Metapher and Thought. Cambridge, 1993.
- Piirainen E.* 1994 – Phraseologie der westmünsterländischen Mundart. Computer im Dienst semantischer Korpusanalyse // Chlosta et al. (Hrsg.). 1994.
- Rothkegel A.* 1973 – Feste Syntagmen. Grundlagen, Strukturbeschreibung und automatische Analyse. Tübingen, 1973.
- Schank R.C., Abelson R.P.* 1977 – Scripts, Plans, Goals and Understanding. An Inquiry into Human Knowledge Structures. Hillsdale (New Jersey). 1977.
- Schemann H.* 1992 – Synonymwörterbuch der deutschen Redensarten. Stuttgart etc., 1992.

© 1997 г. Р.К. ПОТАПОВА, С.В. ПРОКОПЕНКО

**К ОПЫТУ ИЗУЧЕНИЯ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКОЙ
РИТМИЗАЦИИ ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ**

В связи с интересом к проблемам когнитивного аспекта построения текста, с одной стороны, проблемам речевого ритма, изучению которого в последние годы уделяется большое внимание как в лингвистике [Антипова 1980; 1990; Блохина 1983; Гаспаров 1984; 1981; 1982; 1979; Гиндин 1969; Потапов 1996; Гиришман 1982; Потапова 1997; Прокопенко 1995], так и в литературоведении [Жирмунский 1966; 1975; Фортунатов 1974; Чичерин 1973], с другой, представляется перспективным исследование многоуровневой ритмической стратификации¹ и динамической структуризации текста в аспекте его порождения и смысловосприятия.

Под речевым ритмом понимается квазипериодическая (термин Р.К. Потаповой) повторяемость сходных и соизмеримых речевых явлений (единиц), а также – связей и отношений между ними, представляющая собой относительное чередование, которое не сводится ни к строгой периодичности, ни к абсолютно свободному движению [Потапов 1996]. Речевой ритм рассматривается как одно из проявлений фундаментальной закономерности природы – ее ритмичности, как факт, который служит целям текстообразования вообще и основой эстетической организации художественного произведения в частности.

Анализ многоуровневой ритмической стратификации текста предполагает постановку и решение ряда задач. В первую очередь – это изучение семантического и синтаксического стратов ритма в тексте, а также анализ их непосредственных коррелятов как в плане выражения, так и в плане содержания. Далее – рассмотрение ритмической организации текста в аспекте его контекстно-вариативного членения, а также выявление ритмической организации текста с позиций анализа его семантических связей. И, наконец, проведение эксперимента на смысловосприятие полисемичных текстов информантами с целью изучения и описания особенностей восприятия и интерпретации собственно содержательно-смыслового плана текста с особой установкой на ритмическую компоненту.

Предполагается, что в конечном итоге подобное исследование должно привести к выявлению **смысловой функции ритма в тексте** [Прокопенко 1995]. Принципиально важным является то, что основная идея такого исследования сводится к разработке и обоснованию несколько иных по сравнению с общепринятыми гипотетических построений относительно вероятностно ориентированной смысловой фактуры текста, в частности, и смысловой природы речевого ритма в целом. В рамках настоящей статьи демонстрируется попытка анализа только двух из всех выше отмеченных стратов ритма в тексте – семантического и синтаксического, что продиктовано ограниченным объемом жанра статьи.

Подход к ритму с позиции выражаемого смысла получил широкое распространение в исследованиях по поэтической [Гаспаров 1984; 1981; 1982; 1979; Фортунатов 1974; Белый 1981]. Ритмизованная форма признается содержательной, поскольку содержание выражается соответствующей формой ритмической "кривой" [Белый 1981]. Если

¹Термин "многоуровневая стратификация" был введен Р.К. Потаповой [Потапова 1986].

поэтическую речь вслед за Потебней [Потебня 1905; 1914] понимать как речь художественную, а художественный текст (даже и прозаический) – как текст поэтический, то относительно любого художественного прозаического текста будет справедливым замечание Ю.М. Лотмана [Лотман 1970] о том, что выступающая основой сопоставления всех языковых элементов поэтического текста, ритмическая структура преобразует значение используемых в тексте языковых средств, обуславливает появление некоего внутреннего поэтического смысла [Лотман 1970].

Соответствующий характер презентации явления помещает исследование в круг другой, не менее сложной проблемы – проблемы актуализации лексической единицы в тексте. Лексическая актуализация трактуется обычно в плане выбора и комбинирования наименований, снятия полисемии, моносемантизации компонента и/или трансформации, редукции и трансформации семемы [Гак 1973]. Ее основным фактором признается специфика актуализируемого лексико-семантического компонента. "Размытие смысла слов, слияние их в непрерывный, внутренне неразрывный – континуальный поток образов", отмечаемое Налимовым, [Налимов 1979], основывается таким образом, на известном механизме редукции и трансформации семемы в ходе ее актуализации в тексте. Семантическая трансформация может быть описана, в свою очередь, через явления коннотации и синсемантии [Прокопенко 1995].

Происходящее в ходе порождения и восприятия текста "приращение" смысла сопровождается, как правило, с одной стороны – "затушевыванием" основного денотативного значения, частичной или полной трансформацией исходного языкового знака, с другой – синсемантизацией слова в тексте, возникновением способности указывать на элементы действительности только при совместной реализации с семантически ключевым словом [Телия 1981].

Возникающий словесный ряд подвергается, таким образом, операции семантического "филтража", а именно: аккумулирует соответствующие денотативные и коннотативные признаки совокупно, исключая некоторые денотативные. Коннотативные семантические компоненты, лежащие в основе "размытия" значения, "не выходят из игры", а сопровождают переосмысленное значение и выступают тем самым в функции **повторяющихся** смысловых ориентиров, столь необходимых для создания ритмического впечатления.

Возвращаясь к определению ритма, данному В.В. Налимовым – "Ритм как непосредственное вхождение в континуальный поток образов" [Налимов 1979: 239], – можно отметить следующее: ритмическое впечатление основывается на приеме семантического тождества, достигаемого за счет эффекта семантической общности словесного ряда, его возведения в достоинство синонимического, или эквивалентного. В своей глубинной сущности ритм манифестируется как неразрывный, сплошной **континуум**, расчленение которого на самодостаточные части не представляется возможным по причине размытия денотативного значения и синсемантизации отдельных "коннотирующих" лексико-семантических компонентов. Собственно **семантическая** концепция ритма не получила широкого освещения в современной филологии. Исходя из вышесказанного, глубинный семантический ритм можно определить как квазипериодическую повторяемость минимальных семантических признаков и аргументировать это прежде всего с позиции изотопии. Заимствованный из области физики и химии термин "изотопия" впервые употребляется в практике лингвистического исследования в значении повторяемости классом, или контекстуальных сем [Greimas 1966]. Введение понятия в терминологический аппарат семантики не был случайным, а определялся закономерным развитием ряда семантических постулатов. Среди них можно отметить комбинаторный характер представления лексического значения подобно фонеме в фонологии в виде пучка дифференциальных признаков, получивших в различных концепциях наименование семы [Greimas 1966; Гак 1971; 1972], семантического маркера или лексической мерисмы [Реформатский 1973]; констатация избыточного характера семантической структуры языка [Жирмунский 1966] и общепризнанный факт иерархической организации значения "по центру и периферии", его разгра-

ничество на узуальное и окказиональное значение, основные и второстепенные ("колеблющиеся") признаки [Тынянов 1965], семическое ядро и контекстуальные семы [Greimas 1966], семы родового и видового значения [Гак 1972].

Первоначально соотносясь с семантической структурой высказывания (текста), изотопия экстраполируется в дальнейшем и на другие уровни: синтаксический, фонетический и графический, образуя последовательно изофонию и изографию. Возвращаясь к характеристике изотопии плана содержания, следует сказать, что особый интерес вызывает в этой связи другое, широко известное определение: под изотопией понимается некая избыточная совокупность семантических категорий, обеспечивающих единство прочтения текста в результате преодоления разночтения отдельных высказываний [Greimas 1966]. Как следует из вышеприведенной дефиниции, отличительными свойствами изучаемого явления выступают, с одной стороны – семантическая избыточность лгивстической структуры как необходимая предпосылка, с другой – семантическая связность и единство осмысления как закономерное следствие.

Воспринимаясь в качестве основного закона семантически корректного сочетания слов, изотопия воплощается в семантической итеративности как "плавающих", так и "регуляторных" признаков, образуя последовательно коннотативную и денотативную изотопии [Прокопенко 1995].

Являясь непосредственным отражением виртуальных семантических категорий высказывания (текста), изотопия (или ритм плана содержания) актуализируется в читательском сознании всякий раз как необходимая смысловая связность. Из сказанного выше следует, что изотопия выступает одновременно как ингерентным свойством семантической структуры, так и характеристикой соответствующего ее восприятия. Этим, по нашему убеждению, во многом и объясняется структурирующая текстоформирующая функция изотопного ритма, реализующаяся в той мере, в какой последний обеспечивает когезию и коррелирует с определенным вариантом осмысления, т.е. структурирует процесс формирования связного смысла.

Текстообразование как актуализация связного смысла обеспечивается, таким образом, в той мере, в какой семантическая структуризация текста укладывается в рамки той или иной ритмо-изотопной цепочки, определяющей соответствующий характер селекции, комбинаторики и актуализации лексических компонентов.

Представляется необходимым непосредственно приступить к анализу семантического страта ритма в тексте.

В качестве материала предлагается отрывок из романа Патрика Зюскинда "Парфюмер"² (Patrick Sueskind "Das Parfum") [Sueskind 1987].

Die Katastrophe war kein Erdbeben, kein Waldbrand, kein Bergrutsch und kein Stolleneinsturz (a1)³. Sie war ueberhaupt keine aeussere Katastrophe, sondern eine innere (a2), und dacher besonders peinlich l, denn sie blockierte Grenouilles bevorzugten Fluchtweg (b1). Sie geschah im Schlaf (c1). Besser gesagt im Traum (c2). Vielmehr im Traum im Schlaf im Herz in Seiner Phantasie (c3).

Er lag auf dem Kanapee im purpuren Salon und schlief. Um ihn standen die leeren Flaschen. Er hatte enorm viel getrunken, zum Abschluss gar zwei Flaschen vom Duft des rothaarigen Maedchens. Wahrscheinlich war das zuviel gewesen, denn sein Schlaf, wiewohl von todesaehnlicher Tiefe, war diesmal nicht traumlos, sondern von geisterhaften Traumschlieren durchgezogen. Diese Schlieren waren deutlich erkennbare Fetzen eines Geruchs. Zuerst zogen sie nur in duennen Bahnen an Grenouilles Nase vorbei (a1), dann wurden sie dichter, wolkenhaft (a2). Es war nun, als stuede er inmitten eines Moores, aus dem der Nebel stieg. Der Nebel stieg langsam immer hoeher. Bald war Grenouille vollkommen

²Перевод Э. Венгеровой [Зюскинд 1992].

³Указанные в скобках литеры с цифрами в цитируемом немецком тексте обозначают соотносительные синтаксические группы.

umhuellt von Nebel (b1), durchtraenkt von Nebel (b2), und zwischen den Nebelschwaden war kein bisschen freie Luft mehr. Er musste, wenn er nicht ersticken wollte, diesen Nebel einatmen. Und der Nebel war, wie gesagt, ein Geruch (c1). Und Grenouille wusste auch (d1), was fuer ein Geruch (e1). Der Nebel war sein eigener Geruch (c2). Sein, Grenouilles, Eigengeruch war der Nebel (c3).

Und nun war das Entsetzliche, das Grenouille, obwohl er wusste, dass dieser Geruch sein Geruch war, ihn nicht riechen konnte. Er konnte sich, vollstaendig in sich selbst ertrinkend, um alles in der Welt nicht riechen!

Als ihm das klargeworden war, schrie er so fuerchterlich laut, als wuerde er bei lebendigem Leibe verbrannt. Der Schrei zerschlug die Waende des Purpursalons (a1), die Mauern des Schlosses, er fuhr aus dem Herzen ueber die Graeben und Suempfe und Wuesten hinweg (b1), raste ueber die naechtliche Landschaft seiner Seele wie ein Feuersturm (b1), gellte aus seinem Mund hervor (b2), durch den gewundenen Stollen (c1), hinaus in die Welt (c2), weithin ueber die Hochebene von Saint – Flour (c3) – es war, als schriee der Berg. Und Grenouille erwachte von seinem eigenen Schrei (a1). Im Erwachen schlug er um sich (a2), als muesse er den unrichbaren Nebel vertreiben, der ihn ersticken wollte. Er war zutode geaengstigt (b1), schlotterte am ganzen Koerper vor schierem Todesschrecken (b2). Haette der Schrei nicht den Nebel zerrissen (c1), dann waere er an sich selber ertrunken (c2) – ein grauenvoller Tod. Ihn schauderte (d1), wenn er daran zurueckdachte (f1). Und waehrend er noch schlotternd sass (f1) und versuchte (e2), seine konfusen veraengstigten Gedanken zusammenzufangen (f3), wusste er schon eines ganz sicher (e1): Er wuerde sein Leben aendern (g1), und sei es nur deshalb (g2), weil, er einen so furchtbaren Traum kein zweites Mal traumen wollte (k1). Er wuerde das zweite Mal nicht ueberstehen (g3).

Er warf sich die Pferddecke ueber die Schultern (a1) und kroch hinaus ins Freie (a2). Draussen war gerade Vormittag, ein Vormittag Ende Februar. Die Sonne schien (c1). Das Land roch nach feuchtem Stein, Moos und Wasser (c2). Im Wind lag schon ein wenig Duft von Anemonen (c3). Er hockte sich vor der Hoehle auf den Boden (a3). Das Sonnenlicht waermte ihn (c4). Er atmete die frische Luft ein (a4). Es schauderte ihn immer noch (d1), wenn er an den Nebel zurueckdachte (e1), dem er entronnen war, und es schauderte ihn vor Wohligkeit (d2), als er die Waerme auf dem Ruecken spuerte (e2). Es war doch gut (f1), dass diese aeussere Welt noch bestand (g1), und sei's nur als ein Fluchtpunkt (g2). Nicht auszudenken das Grauen, wenn er am Ausgang des Tunnels keine Welt mehr vorgefunden haette! Kein Licht, keinen Geruch, kein Garnichts – nur noch diesen entsetzlichen Nebel, innen, aussen, ueberall...

Allmaechlich wich der Schock (...).

В анализируемом отрывке наблюдается наличие нескольких изотопий. Отправной точкой порождения данного текста является изотопная цепочка "Katastrophe", которая актуализируется через следующий лексико-семантический ряд: "die Katastrophe, kein Erdbeben, kein Waldbrand, kein Bergrutsch, kein Stolleneinsturz, Katastrophe, Fluchtweg". Реализуя дескриптивную систему денотата и выступая в функции первичной номинации, ключевое в смысловом отношении слово "Katastrophe" обуславливает появление в тексте следующей изотопной цепочки: "im Schlaf, im Traum, im Traum, im Schlaf, im Herz, in seiner Phantasie, sein Schlaf, Traumschlieren, diese Schlieren, Traum, des Tunnels". Через эти лексико-семантические единицы актуализируется изотопия "Traum". Появление изотопной цепочки "Traum" переводит осмысление лексем изотопии "Katastrophe" из класса "события реальной действительности" в класс "внутреннее состояние персонажа". Устойчивые предметно-логические связи экстраполируют семантические отношения обозначенного вначале денотата "Katastrophe" в другую реальность, что актуализируется в ключевом, с точки зрения смысла, высказывании: "Sie war ueberhaupt keine aeussere Katastrophe, sondern eine innere".

Несмотря на относительно высокий процент лексического обозначения, изотопия "Traum" имеет в данном тексте явно подчиненный характер относительно следующих изотопий: "Geruch", "Nebel", "Todesschrecken". Каждая из отмеченных изотопий текста получает определенное лексическое выражение. Так, словесная тема "Geruch" подхватывается в анализируемом отрывке девять раз: *Fetzen eines Geruchs, in Bahnen, Nase, ein Geruch, ein Geruch, Geruch, sein Eigengeruch, dieser Geruch, sein Geruch*. Тема "Nebel" подхватывается пятнадцать раз: *eines Moores, Nebel, der Nebel, von Nebel, von Nebel, den Nebelschwaden, diesen Nebel, der Nebel, der Nebel, der Nebel, Nebel, den Nebel, Nebel, das Grauen, Nebel*. Изотопия "Todesschrecken" актуализируется через следующий лексико-семантический ряд: *Tod, der Schock, der Schrei, Schrei, Todesschrecken, der Schrei*.

Изотопическая прогрессия обеспечивается не только повтором или синонимической вариацией кореферентных единиц, но и также вводом целой серии эпитетов в их качественном отношении. Катастрофа определяется мучительной (*peinlich*), сон – глубоко, как смерть (*von todesaehnlicher Tiefe*), сновидения – призрачными (*geisterhafte Traumschlieren*) и т.п.

В русле изотопии "Todesschrecken" получает развитие другая ритмико-изотопная цепочка, представленная в тексте следующими лексико-семантическими единицами: *die Waende des Purpursalons, die Mauern des Schlosses, aus dem Herzen, ueber die Graeben, Suempfe, Wuesten, Landschaft seiner Seele, ein Feuersturm, der Berg, aus seinem Mund, Stollen*.

Единицы приведенной изотопной цепочки, которую условно можно обозначить как "Landschaft seiner (Grenouille) Seele" коррелируют с отмеченной вначале изотопией "Katastrophe" в той мере, в какой коннотирование ключевого, в смысловом отношении, слова "катастрофа" распространяется на все единицы приведенной изотопной цепочки.

Приведенные шесть изотопий, взаимообуславливая и тесно переплетаясь друг с другом, образуют единый семантический пласт, который можно обозначить как "innere Welt", и по которому путешествуют семы "Katastrophe", "Todesschrecken", "Tod".

Семантическая структура анализируемого текста представлена не только упоминаемым семантическим пластом из шести изотопий. Последний уравновешивается в определенной степени своей противоположностью – изотопией "aeussere Welt", актуализируемой в тексте через следующие лексико-семантические единицы: *die Welt, die Hochebene, sein Leben, ins Freie, Vormittag, ein Vormittag, die Sonne, das Land, Stein, Moos, Wasser, Wind, Duft, Anemonen, Hoehle, den Boden, das Sonnenlicht, Luft, Wohligkeit, die Waerme, auf dem Ruecken, diese aeussere Welt, Fluchtpunkt, Ausgang, Welt, Licht, Geruch*.

Если в предыдущих изотопиях доминирует сема "Tod", то в приведенной цепочке – сема "Leben".

Тесно переплетаясь друг с другом и формируя единую семантическую структуру текста, все изотопии образуют совместно изотопию человеческого бытия по принципу элементарной структуры:

E (existentia) = V (vita) + M (mors).

Распределение изотопий по принципу принадлежности к тому или иному элементу базисной структуры обуславливается всем ходом повествования.

Анализируемый отрывок интересен в том смысле, что дает обширный материал для исследования феномена семантической вариативности.

Наблюдаемая в ряде случаев вариативность осмысления обуславливается изотопным варьированием, подвижностью семантической структуризации текста, разнообразием выбора и комбинирования лексических единиц. Напомним, что воспринимаясь в качестве основного закона семантически корректного сочетания слов, изотопия воплощается в семантической итеративности как "плавающих", так и "регулярных" признаков, образуя последовательно коннотативную и денотативную изотопии. Сосу-

ществование обоих типов изотопий в одном тексте лежит, по нашему мнению, в основе феномена вариативности осмысления.

В этой связи наглядным представляется анализ некоторых фрагментов текста в рамках оппозиции "изотопия – аллотопия" ("семантическая связность" – "нарушение семантической связности").

С точки зрения так называемого "здорового смысла", отдельные строки анализируемого отрывка воспринимаются как аллотопные.

Например:

"Er hatte enorm viel getrunken, zum Abschluss gar zwei Flaschen vom Duft des rothaarigen Maedchens".

Специальным поэтическим кодом, или семантическим ключом, (и в этой связи необходимым условием перехода аллотопного восприятия в изотопное) является код развернутой метафоры. Иными словами, для "расшифровки" приведенного выше высказывания потребуются "привлечь" метафору, лежащую в основе замысла всего произведения Патрика Зюскинда. Эта метафора **Запах**: запах – это символ универсальной подсознательной, всеохватной связи между людьми. Принятие читателем первичной метафоры как необходимой модели построения семантического мира текста обеспечивает корректное (= изотопное) осмысление всех аллотопных высказываний и всего текста в целом. Выступая необходимым условием перехода аллотопии в изотопию, код развернутой метафоры характеризует также развитие образной системы всего текста.

Ниже приведены примеры "аллотопных" высказываний и сочетаний слов, взятые из текста анализируемого отрывка.

"sein Schlaf... war... von geisterhaften Traumschlieren durchgezogen."

"Diese Schlieren waren deutlich erkennbare Fetzen eines Geruchs."

"Zuerst zogen sie nur in duennen Bahnen an Grenouilles Nase vorbei, dann wurden sie dichter, wolkenhaft."

"...war Grenouille vollkommen umhuellet von Nebel, durchtraenkt von Nebel..."

"...er musste... diesen Nebel einatmen".

"...der Nebel war... ein Geruch."

"Der Nebel war sein eigener Geruch. Sein, Grenouilles Eigengeruch war der Nebel."

"...vollstaendig in sich selbst ertrinkend..."

"Der Schrei zerschlug die Waende des Purpursalons, die Mauern des Schlosses, er fuhr aus dem Herzen, ueber die Graeben und Suempfe und Wuesten hinweg, raste ueber die naechtlliche Landschaft seiner Seele wie ein Feuersturm, gellte aus seinem Mund hervor, durch den gewundenen Stollen, hinaus in die Welt, weithin ueber die Hochebene von Saint - Flour - es war, als schrie er der Berg."

"Haette der Schrei nicht den Nebel zerrissen, dann waere er an sich selber ertrunken - ein grauevoller Tod."

"wenn er an den Nebel zurueckdachte, dem er entronnen war..."

"diese aeussere Welt noch bestand, und sei's nur als ein Fluchtpunkt."

"...wenn er am Ausgang des Tunnels keine Welt mehr vorgefunden haette."

"...diesen entsetzlichen Nebel, innen, aussen, ueberall..."

Очень важно заметить, что почти все приведенные ""аллотопии", приходятся на "фрагменты" наивысшего поэтического напряжения анализируемого отрывка – на высказывания и сочетания слов с функционально-образной нагрузкой, где и происходит переключение от "семантической дисгармонии" к семантической связности.

Семантическая связность текста обеспечивается также наличием в нем ключевых лексико-семантических компонентов. Именно они и сообщают необходимую устойчивость и упругость текстовой конструкции, являются условием изотопной прогрессии. Наряду с обеспечением семантической связности, ключевые слова выступают, в конечном счете, и ориентирами широких "внетекстовых обобщений", вехами вхождения в многомерное интертекстуальное пространство. Держась на некоторых опорных точках, смысл текста разворачивается как по горизонтальной, так и по вертикальной оси.

Полиизотопная структура анализируемого отрывка образуется, с одной стороны, в результате "прочтения" дескриптивной системы центральных денотатов, с другой – их

<p>"...die Katastrophe... blockierte Grenouilles bevorzugten Fluchtweg."</p> <p>"die Katastrophe... geschah im Schlaf... im Traum... im Herz in seiner Phantasie."</p> <p>"Er lag auf dem Kanapee im purpuren Salon und schlief."</p> <p>"Die Katastrophe war kein Erdbeben, kein Waldbrand, kein Bergrutsch und kein Stolleneinsturz."</p> <p>"Sie war ueberhaupt keine aeussere Katastrophe, sondern eine innere."</p> <p>"Es war nun, als stuede er inmitten eines Moores, aus dem der Nebel stieg."</p> <p>"Bald war Grenouille vollkommen umhuelt von Nebel, durchtraenkt von Nebel..."</p>	<p>"Es war doch gut, dass diese aeussere Welt noch bestand, und sei's als ein Fluchtpunkt."</p> <p>"...der Schrei... fuehr aus dem Herzen hinweg."</p> <p>"Der Schrei zerschlug die Waende des Purpursalons, die Mauern des Schlosses."</p> <p>"Der Schrei... fuehr... ueber die Graeben und Suempfe und Wuesten hinweg, raste ueber die naechtlliche Landschaft seiner Seele wie ein Feuersturm..."</p> <p>"Der Schrei... gellte aus seinem Mund hervor, durch den gewundenen Stollen, hinaus in die Welt... es war, als schrie der Berg."</p> <p>"...vollstaendig in sich selbst ertrinkend..."</p> <p>"...er konnte sich... um alles in der Welt nicht riechen."</p>
---	--

метафорическим переосмыслением. Показательной иллюстрацией данного положения является материал, представленный в таблице 1.

Выделенные в таблице лексико-семантические единицы левой колонки очень далеко отстоят (в тексте) от тех, которые приведены справа, что наглядно иллюстрирует "механизм" полизотопного варьирования, о котором шла речь выше.

Единство изотопного развития обуславливается таким образом, также и вариативностью осмысления ключевых для семантики образа лексем. Порождение смысла текста анализируемого отрывка предопределяется "экспансией" некоего семантического комплекса изначально данного матричного мотива посредством, с одной стороны – реализации дескриптивной системы ключевого слова / высказывания, с другой – актуализации "плавающих" семантических признаков матричного мотива в словесном ряду текста.

Определяемый операцией "семантического фильтража", аккумуляирования семантических признаков на основании их метонимической и/или метафорической общности [Jacobson 1963], процесс порождения смысла текста представляется в виде последовательного итеративного развития некоего набора семантических категорий от одной лексемы (семемы) к другой, "вписываясь" (без должного на то указания) в рассматриваемое явление коннотативной и/или денотативной изотопии.

Из этого следует, что смысл текста и семантический страт его ритмической структуры предстают как следствие не дискретной ограниченности какой-то одной, а континуальной динамической взаимообусловленности всех выявляемых в ходе анализа изотопий полизотопного образования, сложного динамизма взаимодействия семиотической структуры текста и разнородного читательского сознания.

Представленный выше анализ отрывка из романа Патрика Зюскинда "Парфюмер" наглядно иллюстрирует и подтверждает наши предположения относительно того, что ритмическое впечатление создается квазипериодической повторяемостью смысловых ориентиров текста, или, иными словами, квазипериодической повторяемостью минимальных семантических признаков и основывается на приеме семантического тождества, достигаемого за счет эффекта семантической общности словесного ряда. В своей глубинной сущности семантический ритм манифестируется как неразрывный сплошной **континуум**, расчленение которого на самодостаточные части не представляется возможным по причине размытия денотативного значения и синсемантизации отдельных "коннотирующих" лексико-семантических компонентов.

Исследование семантического страта ритма в тексте выявило тот факт, что непо-

средственным коррелятом семантического ритма является изотопия плана содержания, которая воспринимается в качестве основного закона семантически корректного сочетания слов и актуализируется в читательском сознании всякий раз как необходимая смысловая связность. Первоначально соотносясь с семантической структурой текста, изотопия экстраполируется в дальнейшем и на другие уровни, в частности – на уровень синтаксический, образуя тем самым изотопию плана выражения, непосредственным коррелятом которой являются "внешние проявители" ритма⁴ в тексте.

Внимание исследователей к "внешним проявителям" ритма прозы имеют давнюю традицию. Однако проблема ритма прозы ставилась в основном теоретиками стиха, и это наложило свой отпечаток на подход к проблеме. Для объяснения природы прозаического ритма выдвигались различные теории. Наиболее ранняя из них "стопослагательная теория" ориентировалась на выявление чередования метрических стоп [Шенгели 1921]. Эта теория использовалась для анализа ритма прозы выдающимся поэтом-теоретиком Андреем Белым [Белый 1991]. В свое время В.В. Томашевский подверг статьи А. Белого критике [Томашевский 1920 ; 1929]. В частности, он показал, что наличие тех же произвольных комбинаций "стоп" может быть найдено "где угодно, вплоть до полуграмотных канцелярских уставов", и что появление в прозе "дактило-хореических" и "ямбо-анапестических" размеров объясняется преобладанием в русском языке односложных и двусложных неударных промежутков между ударениями. Но по мнению Жирмунского, принцип А. Белого интересен не как научная теория, а как "руководство к действию" [Жирмунский 1966: 104].

В отличие от традиционных "стопослагательных" теорий А.М. Пешковский пытался объяснить ритмический характер прозы "урегулированием числа тактов в фонетических предложениях" [Пешковский 1925; 1930]. Б.В. Томашевский [Томашевский 1929], отвергая "тактовый" (акцентный) принцип ритмизации, выдвинутый Пешковским, старался показать на примере "Пиковой Дамы" Пушкина выравнивание в художественной прозе слогового объема "речевых колонов" (т.е. синтаксически и интонационно объединенных фразовых групп – "синтагм", по терминологии Л.В. Щербы) [Жирмунский 1928: 254].

Наблюдения Томашевского над регулярностью среднего слогового объема колонов в художественной прозе Пушкина имеют существенное значение для стиля прозы Пушкина, но, по справедливому замечанию В.М. Жирмунского "вряд ли могут быть без дополнительных статистических подсчетов распространены на прозу других русских писателей" [Жирмунский 1966: 106].

В свое время В.М. Жирмунский высказал предположение, что ритмизация прозы основывается "прежде всего на художественном упорядочении синтаксических групп" и на "элементе повторения и синтаксического параллелизма" [Жирмунский 1921: 94]. Данная точка зрения представляет определенный интерес для нашего исследования: "<...> при всем разнообразии возможных в художественной речи форм параллелизма и повторения – фонетических, грамматических, синтаксических, лексических, семантических – основу ритмической организации прозы всегда образуют не звуковые повторы, а различные формы грамматико-синтаксического параллелизма, более свободного или более связанного, поддержанного словесными повторениями (в особенности анафорами). Такие явления, как повторение начальных сочинительных или подчинительных союзов, другие формы анафоры и подхватывания слов, грамматико-синтаксический параллелизм соотносительных конструкций, наконец – наличие нерегулярных звуковых повторов – относятся к признакам ритмической организации словесного материала <...>" [Жирмунский 1966]. И если "перевести" это в нашу "систему координат", то выявленные В.М. Жирмунским элементы, при помощи которых осуществляется ритмизация прозаического текста, являются ничем иным, как "внешними проявителями" глубинного семантического ритма, что правомерно рассматривать

⁴ Это образное выражение заимствовано нами у Антокольского из его переписки с Гиршманом, где обсуждались проблемы ритма художественной прозы [Гиршман 1982: 9].

как явление изотопии плана выражения в тексте. Для анализа ритмической организации текста, точнее для выявления изотопии плана выражения на синтаксическом страте, нами использовалась методика и терминология В.М. Жирмунского [Жирмунский 1966].

Ниже приведено исследование синтаксического страта ритма в тексте на конкретном языковом материале, где выявлены и описаны случаи корреляции изотопий плана выражения и плана содержания. В качестве материала для анализа предлагается текст, семантический страт ритма которого уже был исследован нами выше [Sueskind 1986: 140].

Ритмическое движение в первом абзаце анализируемого фрагмента текста создается благодаря поступательному движению однородных членов синтаксического целого (в большинстве случаев – простых предложений). Наблюдается грамматико-синтаксический параллелизм соотносительных групп, например: "(a1) *Die Katastrophe war kein...* (a2) *Sie war... keine...*"; или: "(b1) *sie blockierte...* (c1) *Sie geschah...*", подкрепленный одинаковым порядком членов предложения (подлежащее – существительное / анафорическое местоимение / + сказуемое–глагол). Связь соотносительных групп нередко маркируется анафорой (*Sie*). Повторения (выделены курсивом) часто имеют характер подхватов, объединяющих последующий член с предыдущим, как части одного целого; например: "*Sie geschah im Schlaf. Besser gesagt im Traum. Vielmehr im Traum im Schlaf im Herz in seiner Phantasie*"; или: "*Die Katastrophe war kein..., kein..., kein... und kein... Sie war ... keine aeussere Katastrophe; sondern eine innere*". Особую выразительность ритмическому движению в этом фрагменте придают группы слов: "*kein Erdbeben, kein Waldbrand, kein Bergrutsch und kein Stolleneinsturz*" (выделены цифровыми показателями) – группа из четырех слов (в начале фрагмента); "*(keine) aeussere... (eine) innere*" – двойная группа (в середине фрагмента); "*im Traum im Schlaf im Herz in (seiner) Phantasie*" – группа из четырех слов (в конце фрагмента). Расположение этих групп во фрагменте имеет симметричный характер.

Эмоциональное напряжение прорывается в соотносительной группе (c3), нагнетаемое двойным повтором-подхватом в группах (c1) и (c2).

В начале второго абзаца анализируемого текста, начинающимся словами "*Er lag auf dem Kanapee...*" и заканчивающимся предложением "*Diese Schlieren waren deutlich erkennbare Fetzen eines Geruchs*", особых ритмических "маркеров" относительно синтаксического членения нами обнаружено не было. Однако следующий фрагмент, который начинается словами "<...> *Zuerst zogen sie nur in duennen Bahnen an Grenouilles Nase vorbei (a1) <...>*", представляет для анализа особый интерес.

Ритмическое движение анализируемого фрагмента начинает сложносочиненное предложение с синтаксически параллельными предложениями (a1) и (a2). Соотносительную группу (a2) завершает двойная группа слов "*dichter, wolkenhaft*". Продолжает ритмическое движение повтор-подхват "*der Nebel stieg*", связывающий два последующих предложения. Поступательное движение ритма подкрепляется далее грамматико-синтаксическим параллелизмом однородных членов (b1) и (b2): "*umhuellt von Nebel, durchtraenkt von Nebel*". И снова следует подхват "*... und zwischen den Nebelschwaden war...*". Ритмизация последующего описания разворачивается благодаря поступательному движению однородных синтаксических групп (c1), (c2), (c3), представляющих собой простые предложения. Грамматико-синтаксический параллелизм групп (c1) и (c2) подкрепляется одинаковым порядком членов предложения (подлежащее – существительное + составное именная сказуемое). Между соотносительными группами (c1) и (c2) вклиниваются группы (d1) и (e1). Группа (d1) и следующая за ней группа (c1) маркируются союзом "*und*": "*(c1) und der Nebel war... (d1) und Grenouille wusste...*". Группа (e1) содержит повтор-подхват "*ein Geruch*", являясь по этой причине "связующим" звеном групп (c1) и (c2), расположенных дистантно и содержащих вышеуказанный повтор-подхват в качестве составного

сказуемого. В свою очередь, группа (c1) соотносится с предыдущим предложением также благодаря повтору-подхвату: "... *diesen Nebel einatmen. Und der Nebel war...*".

Общая эмоциональная окраска, присущая всему фрагменту, прорывается в двух последних соотносительных синтаксических группах (c2) и (c3), представляющих собой простые предложения с различным порядком слов. Ср.: "(c2) *Der Nebel war sein eigener Geruch. (c3) Sein, Grenouilles, Eigengeruch war der Nebel*". Они образуют эмоциональную вершину всего фрагмента, которая "нагнеталась" повторениями и подхватами в пяти предшествующих соотносительных группах: "... *diesen Nebel einatmen. (c1) Und der Nebel war ... ein Geruch. (d1) Und Grenouille wuesste... (e1) was fuer ein Geruch. (c2) Der Nebel war sein eigener Geruch. (c3) Sein, Grenouilles, Eigengeruch war der Nebel*". Весь фрагмент как бы пронизывается повторяющимися словами-образами – "der Nebel" и "ein Geruch", имеющими лейтмотивный, символический характер.

Третий абзац текста, состоящий из двух небольших предложений, практически никак на синтаксическом уровне ритмически не маркирован. Поэтому мы его опускаем. Продолжим анализ следующего за ним четвертого абзаца.

Ритмизация этого фрагмента, развертывающегося во временной последовательности авторского описания, создается благодаря поступательному движению однородных членов интонационно-синтаксического целого, начинающегося словами "*Der Schrei zerschlug...*" и заканчивающегося "... *als schriee der Berg.*" Наблюдается грамматико-синтаксический параллелизм соотносительных групп: например: "(a1) *Der Schrei zerschlug... (a2) er fuhr hinweg*" или "(b1) *raste ueber... (b2) gellte ... hervor*". Повторы в анализируемом фрагменте немногочисленны: "... *fuhr aus dem Herzen ueber die Graeben... hinweg, raste ueber die naechtliche Landschaft..., gellte aus seinem Mund hervor... weithin ueber die Hochebene...*". Имеется только один повтор-подхват, соединяющий первое и второе предложения анализируемого фрагмента: "... *schrie er... Der Schrei zerschlug...*". Ритмическое движение, создаваемое однородными соотносительными группами поддерживается парным перечислением "*die Waende des Purpursalons, die Mauern des Schlosses*" и тройной группой слов "*die Graeben und Suempfe und Wuesten*". В конце фрагмента ритмизация создается за счет следующих друг за другом однородных придаточных предложений (c1), (c2), (c3), соотносимых между собой.

Следующий пятый фрагмент текста продолжает проанализированный абзац. Ритмизация этого фрагмента построена, в основном, на последовательности однородных элементов сложного интонационно-синтаксического целого, со слабо маркированным параллелизмом. Однако мерного поступательного движения, как в случае с предыдущим фрагментом, не наблюдается. Следование коротких самостоятельных предложений нарушается "вклиниванием" разнородных придаточных. Так, соотносительные группы (самостоятельные предложения) (a1) и (a2) отделяют от подобных им (b1) и (b2) два придаточных, не соотносимых ни с другими группами, ни между собой. Грамматико-синтаксический параллелизм наблюдается в соотносительных группах (c1) и (c2); ср.: "(c1) *haette er... zerrissen, (c2) waere er... ertrunken*", а также в группах (g1) и (g3): "(g1) *er wuerde sein Leben aendern... (g3) er wuerde das... ueberstehen*".

Довольно любопытный ритмический рисунок образуют следующие друг за другом группы (d1), (f1), (f2), (f3), (f4), (e1). Синтаксические группы (d1) и (e1) как бы образуют "рамку" внутри которой "нагнетается" движение четырех ((f1) – (f4)) "разношерстных" придаточных, соотносимых между собой благодаря глаголам, находящимся, как должно в немецких придаточных, на последнем месте, и употребленным в простом прошедшем времени (Imperfekt). Кроме того, они связаны между собой повторениями и подхватыванием: "(f1) *wenn er... zurueckdachte (f2) und waehrend er... sass (f3) und versuchte...*" Подобную "рамку" образуют и синтаксически параллельные группы (g1) и (g3), о коих шла уже речь выше. Между ними – не соотносимые ни с одной группой фрагмента группы (g2) и (k1). Однако они органично вписываются в общее ритми-

ческое движение, присоединяясь к группе (g1) при помощи "маркера" "*und sei es...*", соединяясь между собой логически мотивированными – "(g2) *deshalb, (k1) weil...*" и присоединяясь к группе (g3) при помощи повторения-подхвата: "(k1)... *kein zweites Mal ... (g3) das zweite Mal...*". Ритмичность фрагменту придается также двойным эпитетом: "... *konfusen veraengstigten Gedanken*".

Суммируя наблюдения относительно анализа данного фрагмента, можно сказать, что его ритмическая "кривая" очень неоднородна и динамична. Начинаясь мерным, поступательным движением соотносительных параллельных синтаксических групп, периодически нарушаемым "вклиниванием" придаточных, она постепенно динамизируется, вырисовываясь сперва в одну, затем в другую "рамки", куда приходится эмоциональная вершина не только анализируемого фрагмента, но и, согласно содержанию, – всего отрывка в целом, чем, очевидно, и объясняется сложность ритмического оформления данного фрагмента.

Очень резко меняется динамика ритмического движения в последнем абзаце отрывка по сравнению с абзацем предыдущим. Мерное, поступательное, ритмичное движение создается следованием друг за другом однородных членов (соотносительных групп) интонационно-синтаксического целого. Ритмическое движение начинают параллельные синтаксические группы (a1) и (a2). Затем следует повторение с подхватыванием: "...*gerade Vormittag, ein Vormittag ende Februar*". После чего, не нарушая вначале заданного ритма, следуют группы (c1) и (c2), характеризующиеся грамматико-синтаксическим параллелизмом. Ритмизация подкрепляется здесь тройной группой слов: "*Stein, Moos und Wasser*". Соотносимая с группами (c1) и (c2), группа (c3) отличается от первых двух порядком следования своих членов (обстоятельство – существительное + сказуемое – глагол + подлежащее – существительное). За группой (c3) следуют соотносительные синтаксически параллельные группы с одинаковым порядком слов: (a3), (c4), (a4). Интересный ритмический "узор" образуют группы (d1), (e1), (d2), (e2). Группы (d1) и (d2) маркируются двукратным анафорическим повторением: "(d1) *es schauderte ihn...* (d2) *und es schauderte ihn...*". Группы (e1) и (e2) маркируются, соответственно, – "(e1) *wenn er...* (e2) *als er*". Симметрию этой композиции нарушает придаточное, следующее за группой (e1), однако ритмическая линия не прерывается. Ее подхватывает группа (f1) и следующие за ней соотносительные группы (g1) и (g2). Эмоциональное напряжение, характерное всему абзацу прорывается в восклицании: "*Nicht auszudenken das Grauen, wenn er am Ausgang des Tunnels keine Welt mehr vorgefunden haette!*" Последнее предложение фрагмента характеризуется пульсирующей ритмичностью, которая создается за счет двух тройных групп слов: "*kein Licht, keinen Geruch, kein Garnichts*" и "*innen, aussen, ueberall*". (Подобная картина наблюдалась в самом первом абзаце текста.) Немногочисленные повторы в этом абзаце, "*Sonne... Sonnenlicht*" и "*Nebel... Nebel*", но повторяются не просто слова, а слова, имеющие лейтмотивный, образный, и к тому же контрастный характер в соответствии с содержанием всего текста.

В заключение исследования синтаксического страта ритма текста можно подчеркнуть, что ритмизация строится, в основном, на определенном упорядочении синтаксических групп, на элементы повторения и синтаксического параллелизма. Ритмикосинтаксический параллелизм соотносительных групп иногда подкрепляется параллелизмом грамматических форм, выступающих в одинаковой синтаксической функции. Ритмическими "маркерами" служат также всякого рода повторения, иногда имеющие характер подхватывания, особенно если они маркируют ритмико-синтаксическое членение в начале или в конце групп. Различные формы грамматико-синтаксического параллелизма более свободного или более связанного, поддержанного или не поддержанного словесными повторами, образуют основные контуры ритмического движения. К элементам ритма можно также отнести перечисления и группы слов (двойные, тройные и т.д.).

Ритмическое движение проанализированного текста имеет сложный рисунок. В этом смысле, думается, прав был А. Белый, когда говорил: "внимательное изучение ритмических жестов ... дает потрясающий факт: такая кривая красноречиво нам аккомпанирует содержанию; она не бессмысленна, а находится в отношении с идеями, образами, переживаниями, раскрываемыми в строках... Ритм... есть отношение динамической линии, нарисованной строками, к внутреннему содержанию строк..." [Белый 1981: 143].

Композиционное строение всего отрывка задается его смысловым содержанием. Отрывок состоит из пяти абзацев. Первый абзац, где "являет" себя денотативная "ипостась" изотопии "*Katastrophe*" характеризуется поступательным движением однородных членов интонационно-синтаксического целого (в большинстве случаев – простых предложений). Но ритмическое движение имеет сложный рисунок. В начале, середине и конце фрагмента оно характеризуется "завихрениями", образуемыми: в начале и конце – группами из четырех слов, в середине – двойной группой.

В следующем абзаце, "вытягиваясь" из абзаца предыдущего, разворачивается изотопия "сон", переплетается с изотопиями "туман" и "запах". Начало абзаца, на которое приходится денотативный аспект изотопии "сон", в смысле "*Schlaf*", – практически никаких ритмических маркеров не содержит. Постепенно "переливаясь" в свой коннотативный аспект, в смысле "*Traum*", обуславливает появление изотопий "туман" и "запах". Это место приходится на середину абзаца, где ритмическое движение имеет следующий рисунок: начинаясь поступательным следованием параллельных соотносительных синтаксических групп, волнообразная ритмическая кривая как-бы обрывается, и на протяжении двух предложений "держится" на двойной группе слов и многочисленных повторениях с подхватыванием. Снова появляется поступательное движение соотносительных групп, которое сменяется тем же рисунком – "рябью" повторений с подхватыванием. В последней трети абзаца, куда приходится смысловая развязка, и где "кипят" изотопии "тумана" и "запаха" ритмическая линия имеет подчеркнуто выразительный характер. Ритмизация разворачивается здесь благодаря поступательному движению соотносительных синтаксических групп, представляющих собой простые предложения. Частый грамматико-синтаксический параллелизм маркируется начальным употреблением союзов и других анафор. Именно на этот фрагмент в тексте приходится наибольшее число повторений с подхватыванием. Такой ритмический рисунок, думается, очень аккомпанирует содержанию. Это как раз тот случай, когда корреляция изотопии плана содержания и плана выражения особенно наглядна.

Третий абзац довольно мал. В содержательном плане он как бы является "звеном", подготавливающим кульминационный момент, приходящийся на следующий абзац. Особых ритмических маркеров не содержит. На четвертый абзац приходится изотопия "*Todesschrecken*" и коннотативная "ипостась" изотопии "*Katastrophe*". Ритмический рисунок сложный, содержит "завихрения", образуемые, как и в первом абзаце, перечислениями и многосложными группами слов, здесь же "продлевают" свое действие изотопии "запаха" и "тумана". Ритмическая линия строится на поступательном движении соотносительных групп со слабо маркированным параллелизмом, нарушаемое вклиниванием разнородных, несоотносимых групп. Повторения немногочисленны.

В конце абзаца ритмическая линия имеет особенно сложный рисунок, выкладываясь сначала в одну, затем – другую параллельные друг другу "рамки" и характеризуется особым напряжением и динамизмом. Сложность ритмического оформления данного фрагмента объясняется, по-видимому, тем фактом, что именно сюда приходится "развязка" сюжетной линии всего отрывка.

Очень резко меняется динамика ритмического движения в последнем абзаце отрывка. Напомним, что последний абзац – "сфера влияния" изотопии "*aeussere Welt*", контрастивной по своей эмоциональной окраске предыдущим изотопиям, образующим как-бы общий семантический пласт "*innere Welt*" со "странствующей" семьей "*Katastrophe*". Мерное, поступательное, ритмичное движение создается здесь следованием друг

за другом однородных членов интонационно-синтаксического целого. Соотносительные группы характеризуются грамматико-синтаксическим параллелизмом. Ритмизация подкрепляется многосложными группами слов. В конце ритмическая линия выкладывается в "узор" с симметричным рисунком. Эмоциональное напряжение, характерное всему абзацу прорывается восклицанием в предпоследнем предложении, выпадающим из общего ритмического рисунка. Последнее предложение абзаца характеризуется пульсирующей ритмичностью, создаваемой тройной группой слов. Повторы в абзаце немногочисленны, но повторяются слова с функционально-образной нагрузкой, имеющие лейтмотивный характер.

Из всего сказанного следует: в основе ритмической организации текста лежит **внутренний глубинный – семантический страт ритма**. В терминах современной семантики этот страт ритма может быть определен как квазипериодическая повторяемость минимальных семантических признаков и аргументирован с позиции изотопии. В своей глубинной сущности семантический ритм манифестируется как неразрывный сплошной континуум, расчленение которого на самодостаточные части не представляется возможным по причине размытия денотативного значения и синсемантизации отдельных "коннотирующих" лексико-семантических компонентов.

Непосредственным коррелятом семантического ритма является изотопия плана содержания, которая воспринимается в качестве основного закона семантически корректного сочетания слов и актуализируется в читательском сознании всякий раз как необходимая смысловая связность. Первоначально соотносясь с семантической структурой текста, изотопия плана содержания экстраполируется в дальнейшем и на другие уровни, в частности, на уровень синтаксический, образуя тем самым изотопию плана выражения, непосредственным коррелятом которой являются "внешние проявители" ритма в тексте.

Корреляция вышеозначенных типов изотопий, являя себя на уровне лексико-семантическом, обнаруживается и на уровне синтаксическом. Исследование ритмической организации синтаксического страта дает основания констатировать, что она задается смысловой линией развертывания текста и строится, в основном, на определенном упорядочении синтаксических групп, элементе повторения и синтаксического параллелизма. Исследование многоуровневой ритмической стратификации текста позволяет заключить, что **ритм, формируясь всеми языковыми средствами, обеспечивает связность и цельность текста, где нарративная семантическая связность, при взаимодействии с носителем сознания в процессе декодирования текста воплощается в когнитивное содержание, единый, континуальный смысл, в чем, по-видимому, и состоит смысловая функция ритма в тексте.**

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Антипова А.М. 1980 – Ритмическая организация английской речи (экспериментально-теоретическое исследование ритмообразующей функции просодии): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1980.
- Антипова А.М. 1990 – Основные проблемы в изучении речевого ритма // ВЯ, 1990. –5.
- Бельй А. 1919 – О художественной прозе. "Горн", кн. II–III., М., 1919.
- Бельй А. 1981 – Ритм и смысл // Труды по знаковым системам. Тарту, 1981. – 12. (Уч. зап. / Тартус. гос. ун-т; вып. 546).
- Блохина Л.П. 1983 – Специфика фонетической организации спонтанных текстов // Звучащий текст: Сб. научных статей. М., 1983.
- Гак В.Г. 1971 – Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания // Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования / Отв. ред. А.А. Леонтьев. М., 1971.
- Гак В.Г. 1972 – К проблеме семантической синтагматики // Проблемы структурной лингвистики 1971 / Отв. ред. С.К. Шаумян. М., 1972.
- Гак В.Г. 1973 – Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики. М., 1973.
- Гаспаров М.Л. 1979 – Семантический ореол метра. К семантике русского трехстопного ямба // Лингвистика и поэтика / Отв. ред. В.П. Григорьев. М., 1979.
- Гаспаров М.Л. 1981 – Ритм и синтаксис: происхождение "лесенки" Маяковского // Проблемы структурной лингвистики 1979 / Отв. ред. В.П. Григорьев. М., 1981.

- Гаспаров М.Л. 1982 – Семантический ореол трехстопного амфибрахия // Проблемы структурной лингвистики 1980 / Отв. ред. В.П. Григорьев. М., 1982.
- Гаспаров М.Л. 1984 – Ритмический словарь и ритмика – синтаксические клише // Проблемы структурной лингвистики 1982 / Отв. ред. В.П. Григорьев. М., 1984.
- Гиндин С.И. 1969 – Внутренняя семантика ритма и ее математическое моделирование // Тезисы межвузовской конференции (6–19 декабря 1969 г.) ч. 1. М., 1969.
- Грицман М.М. 1982 – Ритм художественной прозы. М., 1982.
- Greimas A.-J. 1966 – Sémantique structurale. – Paris: Larousse, 1966. (Coll.: Langue et langage).
- Жирмунский В. 1921 – Композиция лирических стихотворений. Пб., 1921.
- Жирмунский В. 1928 – Вопросы теории литературы. "Academia", Л., 1928.
- Жирмунский В.М. 1966 – О ритмической прозе // Русская литература. – 1966.
- Жирмунский В.М. 1975 – О ритмической прозе // Жирмунский В. Теория стиха. Л., 1975.
- Златоустова Л.В. 1983 – Интонация и просодия в организации текста // Звучащий текст: Сб. научных статей. М., 1983.
- Златоустова Л.В., Потапова Р.К., Трунин – Донской В.Н. 1986 – Общая и прикладная фонетика. М., 1986.
- Зюскинд П. 1992 – Парфюмер. История одного убийцы. Роман. / Пер. с нем. Э. Венгеровой. М.: Радуга, 1992.
- Jakobson R. 1963 – Essais de linguistique générale / Trad. de l'anglais et préf. par N. Ruwet. – Paris: Ed. de Minuit, 1963.
- Лотман Ю.М. 1970 – Структура художественного текста. М., 1970.
- Моль А. 1966 – Теория информации и эстетическое восприятие: Пер. с французского Б.А.Власюка, Ю.Ф. Кичатова и А.И. Теймана. Под ред. с посл. и прим. Р.Х. Заринова и В.В. Иванова. Вступ. ст. Б.В. Бирюкова и С.Н. Плотникова. М., 1966.
- Налимов В.В. 1979 – Вероятностная модель языка (О соотношении естественных и искусственных языков). М., 1979.
- Пеиковский А.М. 1925 – Стихи и проза с лингвистической точки зрения // Сборник статей. Методика родного языка, лингвистика, поэтика. ГИЗ. Л., 1925.
- Пеиковский А.М. 1930 – Ритмика "Стихотворений в прозе" Тургенева // Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики. ГИЗ. М., Л., 1930.
- Потапов В.В. 1996 – Речевой ритм в диахронии и синхронии. М., 1996.
- Потапова Р.К. 1986 – Слоговая фонетика германских языков. М., 1986.
- Потапова Р.К. 1997 – Коннотативная паралингвистика. М., 1997.
- Потебня А.А. 1905 – Из записок по теории словесности. Поэзия и проза. Тропы и фигуры. Мышление поэтическое и мифическое. Харьков, 1905.
- Потебня А.А. 1914 – Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1914.
- Проккопенко С.В. 1995 – Смысловая функция ритма в тексте (исследование художественных прозаических текстов на материале немецкого и русского языков): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1995.
- Реформатский А.А. 1973 – Лексические мерисмы и семантическая редукция // Проблемы структурной лингвистики 1972 / Отв. ред. С. К. Шаумян М., 1973.
- Sueskind P. 1987 – Das Parfum: Die Geschichte eines Moerders. Berlin: Volk u. Welt, 1987.
- Телия В.Н. 1981 – Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке / Отв. ред. А.А. Уфимцева. М., 1981.
- Томашевский Б. 1920 – Андрей Белый и художественная проза. "Жизнь искусства", 1920.
- Томашевский Б. 1929 – О стихе.: "Прибой", 1929.
- Тынянов Ю. 1965 – Проблемы стихотворного языка. М., 1965.
- Фортунатов Н.М. 1974 – Ритм художественной прозы // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
- Чичерин А.В. 1973 – Ритм образа. М., 1973.
- Шенгели Г. 1921 – Трактат о русском стихе. Ч. I. Органическая метрика. Одесса, 1921. Приложение I. О ритмике тургеневской прозы.

© 1997 г. С.Г. ВОРКАЧЕВ

**БЕЗРАЗЛИЧИЕ
КАК ЭТНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ:
ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ**

Прежде всего, безразличие является оператором неклассических модальных логик, в которых оно выступает в качестве межи, разделяющей области запретного и разрешенного, желательного и нежелательного, хорошего и плохого и пр. В семантике естественного языка показатели безразличия, помимо передачи логических отношений равенства и/или равноценности альтернатив модального выбора, участвуют в формировании психологических отношений, передавая такие моральные чувства и качества, как презрение, равнодушие, бесстрашие, бесстыдство.

Личность как совокупность социально значимых духовных и физических качеств индивида [Психология 1990: 193; Drever 1981: 208] в лингвистическом аспекте рассматривается как речевая, идиолектная личность и личность языковая, этносемантическая. И если под речевой личностью понимается человек как носитель речи, обладающий способностью к использованию языковой системы в целом в своей деятельности [Богин 1986: 3; Богин 1975: 3], то под личностью собственно языковой, "словарной" [Карасик 1994], следует понимать, очевидно, закрепленный преимущественно в лексической системе языка базовый национально-культурный прототип носителя определенного естественного языка, составляющий вневременную и инвариантную часть структуры речевой личности [Караулов 1987: 39; Сентенберг 1994: 14].

Безразличие – оператор субъективно-модальной оценки, а оценка наряду с мотивами, интересами, установками, убеждениями и идеалами составляет основу "духовной личности" [Джемс 1982: 61] человека. В процессе же социального взаимодействия безразличию человека к выбору той или иной этической альтернативы ("добра" или "зла") в той или иной социально значимой ситуации может даваться оценка, и тогда оно уже выступает в форме моральной характеристики (качества) личности.

Общепризнано, что понятийная система, которой мы пользуемся в повседневной жизни, содержится в лексическом составе языка [Кабакова: 100]. Эта же понятийная система, по мнению этнолингвистов, неразрывно связана с культурой носителей естественного языка [Сепир: 193–194] и, тем самым, этносемантически маркирована. И, естественно, наиболее отмеченной национально-культурной спецификой является такая сфера лексической системы естественного языка, как фразеология, составной частью которой являются паремии: пословицы, поговорки, афоризмы, присловия, загадки и пр. Особый интерес для изучения черт этносемантической личности представляют паремии, в число отличительных признаков которых включена метафоричность общего смысла – пословицы и поговорки [Пермяков: 47], обладающие помимо прямого, буквального значения еще и переносным, отправляющим к людским характерам, житейским ситуациям и обстоятельствам. Тем самым, семиологически паремии этого типа представляют собой элементы коннотативной системы, по определению Р. Барта, т.е. системы, план выражения которой сам является знаковой системой [Барт 1975: 157] и составлен из значимых двуплановых единиц, обладающих своими собственными планом выражения и планом содержания. Соответственно, лексические единицы этого вида могут содержать межъязыковые отличия не только

на уровне "первого семантического этажа" – уровне отражаемых ими реалий, но и на уровне своего второго, "коннотативного этажа", отсылающего к "морали" – представлениям говорящих об этических, деонтических и прочих нормах, иллюстрируемых определенными житейскими ситуациями.

В качестве материала для этносемантического сопоставления в работе берутся метафоризированные паремиологические единицы – поговорки и пословицы – русского и испанского языков (использовались следующие фразеологические и паремиологические словари: [РПП 1988; ИРФС 1985; ФСРЯ 1986], передающие в том или ином виде значение безразличия. Эталоном для межъязыкового этносемантического сопоставления является понятие безразличия, принадлежащее к числу неопределимых единиц "языка мысли" – индефинибилий – и принимающее значение лишь в системе операторов какой-либо конкретной модально-оценочной логики. Сопоставлять же единицы, передающие безразличие в этих языках, непосредственно по количественному и качественному семантическому составу, как это делается, например, с понятием любви [Воркачев 1995], оказывается невозможным, и при анализе приходится оперировать такими косвенными семантическими признаками этого концепта, как характер объекта оценки, уровень коммуникативной реализации (предикация-пресуппозиция), план денотации – план коннотации и наличие-отсутствие этической оценки.

Определяющим классификационным признаком, на основании которого выделяются функционально-семантические типы показателей безразличия, является характер оцениваемого объекта. Прежде всего, здесь выделяется эпистемическое безразличие, объектом которого является множество единиц, задаваемых каким-либо категориальным признаком: всякий, любой, какой угодно из предметов, принадлежащих к классу X. Объектом же собственно, аксиологического безразличия является преимущественно бинарное множество альтернатив предикативного или атрибутивного выбора: все равно, безразлично Р или не-Р (ни хороший, ни плохой). В семантическом составе единиц, его передающих, безразличие может занимать также и периферийное место, включаясь в число имплицитных смыслов: оно входит в семантический состав уступки, компенсации, смирения и пр.

Наименее представленной в количественном отношении в обоих языках является группа метафоризованных паремий, отправляющих к эпистемическому безразличию – безразличию к выбору представителя из класса объектов, заданного каким-либо категориальным признаком. Прежде всего, здесь выделяется группа показателей, отсылающих к идентичности двух или более предметов. В русском языке сюда входят фразеологизмы *одного/того же поля ягода, (гусы/кулик да загара) два сапога пара, из одного/того же теста, из одной плахи вытесаны, одной масти, (все) черти одной шерсти, одна бражка/шайка-лейка, на один покрой, одним мирром мазаны, того же пошиба/сорта/склада, оба хороши, один другого стоит, муж и жена – одна сатана/из одного кремня искра*. В испанском языке эту подгруппу представляют фразеологизмы *del mismo pelo/palo/jaez; de la misma rama/madera/escuela/cosecha/cepal/camada/calaña; ser cartas del mismo palo; estar hecho del mismo barro; ser todos unos; cortados por la misma tejera/por el mismo (por un) patrón; tal para cual; ser remiendo del mismo paño; ser dos peines; ser uno de la hoja (Экв.); darse la(s) mono(s); darse (en) las gamarras; ser coyotes de la misma loma; encontrar/topar Sancho con su rocín; de bruto no va nada*. Как можно заметить основная масса подобных показателей в русском и в испанском языках по своей "внутренней форме" совпадают: категориальный признак множества, на основании которого отождествляются объекты, задается чаще всего материалом, из которого они сделаны (русск. *тесто, плаха*, исп. *madera* "дерево", *barro* "глина", *paño* "ткань"), способом, которым они изготовлены (русск. *покрой, пошиб*, исп. *tejera* "лезвие", *patrón* "шаблон"), общим происхождением (русск. *норода*, исп. *camada* "помет", *cepa* "лоза", *chata* "ветка", *cosecha* "урожай", *escuela* "школа") или "анонимным" указанием на общность качественного разряда (русск. *сорт, склад*, исп. *jaez*

"характер, пошиб"; *calaña* "образчик, нрав, склад". Наиболее употребительными в русском языке являются, однако, вполне "самобытные" фразеологизмы *одного поля ягода* и *два сапога пара*. Русскому языку более свойственны такие образования, отправляющие к идентичности объектов, отличающихся тем не менее не существенным признаком, как *та же щука, да под хреном; тот же блин, да на (другом) блюде (да подмазан); тот же Савка, да на иных санках; тот же шиворот, да навыворот; те же порты, да назад узлом; те же шаньги, да только пожиже; те же щи, да в другую тарелку; тех же господ, да самый испод; тех же Сысоев, да пожиже; тех же щей, да пожиже/погуце влей; старая песня на новый лад*. В испанском языке здесь фигурируют лишь единицы *la misma jeringa con diferente palo* и *los mismos perros con diferentes collares*. Русские фразеологизмы этого типа в речевом употреблении чаще всего отмечены полемичностью как направленностью на опровержение чьего-либо мнения. Идентифицирующие метафоризованные показатели безразличия к выбору представителя из класса, заданного каким-либо признаком, в соответствии с общей языковой асимметрией аксиологической оценки [Вольф 1985: 19–21], они в большинстве своем являются носителями отрицательных коннотаций, их употребление свидетельствует об отрицательной оценке говорящим отождествляемых объектов.

Другую, относительно немногочисленную подгруппу показателей этого функционально-семантического разряда составляют метафоризованные единицы, отправляющие к безразличию в выборе способа действия. В русском языке сюда входят лишь фразеологизмы *не мытьем, так катаньем; не скоком, так боком; всеми правдами и неправдами; как ни крути, как ни верти*. В испанском языке эта подгруппа несколько представительнее и включает единицы *por la(s) buena(s) o por la(s) mala(s); de haldas o de mangas; que lo mire como quiera/mirese como se quiera; por más vueltas que le des/que se le dé; lo que no pasa por testamento pasa por el codicillo; por cel/hache o por be; unas veces por haches y otras por evres; unas veces por pitos y otras por flautas; unas veces por trancas y otras por barrancas; unas veces por una cosa y otras por otra; hay muchas maneras de matar pulgas*. В обоих языках здесь выделяются два семантических типа показателей: передающие безразличие собственно к выбору способа действия (русск. *не мытьем, так катаньем*; исп. *por las buenas o por las malas*) и уступительного характера (русск. *как ни крути, как ни верти*; исп. *por más vueltas que le des*). Все они не имеют каких-либо четких оценочных коннотаций.

Относительно обширная группа метафоризованных паремий представлена единицами, передающими в языке посредственность – "серую полосу" нормативной оценки: речь идет не о равноценности альтернатив оценочного выбора, а скорее о неопределенности, невозможности подобного выбора [Воркачев 1992: 1–3]. Специфическими чертами этого функционально-семантического разряда показателей безразличия являются их атрибутивность, личностная направленность и присутствие оценочных коннотаций.

И в русском, и в испанском языках отрицательно оценивается заурядность личности, ее невыделенность из ряда, отсутствие четких индивидуальных черт, составляющие в представлении носителей этих языков своего рода "антинорму". В русском языке в подразряд "заурядности" входят метафоризованные фразеологизмы типа *пороху не выдумает, звезд с неба не хватает, (на) рубль пучок/кучка, средней паршивости*; в испанском языке входящий в эту группу ряд единиц значительно длиннее: *de poca altura, ni chico ni grande, de la cesta (del montón), media cuchara, no dar (uno) de sí/para más, no ser muy allá, no ser (uno) gran (muy) diablo, de pocas/cortas luces, no hará muchos milagros, no haber inventado la pólvora, ser uno de tantos, no ser ningún sabio/ningún Salomón (no tener nada de Salomón)*. Как можно видеть, в этой семантической подгруппе калькируется лишь фразеологизм *не выдумать пороха = no inventar la pólvora*.

В культурно-лингвистическом социуме носителей и русского и испанского языков оценивается также отрицательно качественная неопределенность личности – "половинчатость". Здесь, однако, представительнее русская семантическая подгруппа, включающая единицы типа русск. *ни рыба, ни мясо (ни кафтан, ни ряса); (упрямый что лукавый): ни богу свечка, ни черту кочерга; ни в баню ожег, ни в избу клюка; ни в городе Богдан, ни в селе Селифан; ни в дышло, ни в оглоблю; ни в дудочку, ни в сопелочку; ни везет, ни едет; ни два, ни полтора; и похулить грешно, и похвалить не за что; ни себе не гожд, ни людям не пригожд; ни мертвеца рассмешишь, ни дурака научить; (и стала наша Олена) ни пава, ни ворона; ни шатко, ни валко (ни на сторону); и нашим и вашим; не мычит и не телится; от ворон отстала, а к павам не пристала; в умницы не попал и из дураков не вышел.* В испанском языке эта семантическая подгруппа значительно беднее: *ni blanco ni negro, ni moro ni cristiano, ni carne ni pescado, ni chicha ni limonada, ni sal ni agua, ni rey ni roque, ni huele ni hiede, no decir nada, pato soso.* Семантически калькируется здесь на уровне денотатов лишь фразеологизм *ни рыба, ни мясо = ni carne ni pescado.*

Третья семантическая подгруппа показателей "посредственности", тем не менее, и в русском, и в испанском языках не имеет отрицательных оценочных коннотаций своего объекта и отправляет к его "сносности" – пригодности для каких-либо целей. Эта подгруппа также представительнее в русском языке и включает метафоризованные паремии *сойдет (в темноте) за третий сорт, с поганой овцы хоть шерсти клок, на безрыбье и рак рыба, на бесптичье и ворона соловей, на безлюдье и сидни в чести/и Фома дворянин, промеж слепых и кривой – первый царь, доброму вору (бедному да вору) всякая одежда впору.* В испанском языке сюда входят единицы *a falta de pan buenas son tortas, cuando no hay pan se some cazabe; Bueno tendrá Juana el trapo.*

Наиболее представительным по числу входящих в него единиц в обоих языках является функционально-семантический разряд метафоризованных показателей безразличия к выбору из нескольких (преимущественно двух – Р и не-Р) предикативных альтернатив. Как уже отмечалось, безразличие отправляет к *равноценности* альтернатив модального выбора, однако равноценность сама по себе предполагает как равное отсутствие ценности, так и положительную либо отрицательную оценку этих альтернатив – обе они могут быть хороши или плохи.

К *равноценности* отрицательных альтернатив отправляют в русском языке метафоризованные паремии типа *из огня да в полымя; хрен редьки не слаще/не смейся хрен, не слаще редьки; от беды бежал да на другую попал/от горя бежал да в беду попал; бежал от волка, попал на медведя; попасть от дождя да под капель; только и ходу, что из огня да в воду; не умер Данила, так болячка задавила; все одно, что хлеб, что рябина: оба кислы; все едино, что в лоб, что в голову; что выпить, что вылить – все равно; что голому, что нагому – не легче; горшок котлу завидует, а оба черны.* В испанском языке к *равноценности* выбора отрицательных альтернатив отправляют идиомы *de Anas a Caifas; huir del fuego y caer (dar) en las llamas; salir de Guatemala y caer en Guatapeor; salir de lagunas y entrar en mojadas; salir del lodo y caer en el arroyo; salir de Málaga y entrar en Malagón; saltar de la sartén y dar en las brasas; escapar del trueno y dar en el relámpago; andar de zocos en colodros; lo mismo le da zurras que azotes en el culo.* Семантически калькированы в этой подгруппе лишь выражения *из огня да в полымя = Huir del fuego y caer/dar en las llamas.* Значительно реже в обоих языках метафоризованными паремиями передается *равноценность* выбора положительных альтернатив: в русском языке это единицы *пар костей не ломит, кашу маслом не испортишь, береженого бог бережет, от добра добра не ищут, запас мешку не порча/карман не тянет/соли не просит,* в испанском – *a nadie le amarga un*

dulce, miel sobre hojuelas, por mucho pan no (nunca) es mal año, el miedo guarda la viña, el miedo no es zonzo ni junta rabia.

Основная же масса метафоризованных паремий, передающих безразличие к выбору предикативных альтернатив, аксиологически немаркирована, оценочно нейтральна относительно своего объекта. Семантически их структура построена главным образом на сопоставлении синонимов либо близких или смежных понятий: русск. *что в лоб, что по лбу; баран овцы стоит, что съел, что скушал; что дерево, что бревно; нам все равно – что поп, что батька/кто ни поп, тот батька/что ни поп, то батька*; исп. *que arriba que abajo; que antes que después; que chico que grande; morlés de Morlés etc.* В испанском языке широко представлены аксиологически и семантически (по объекту) немаркированные паремии, образованные фразеологическим распространением лексем – типичных показателей безразличия: *dales lo mismo/igual: lo mismo le da atrás que adelante; lo mismo es ñangá que ñanqué; las mismas yucas arranca; darle a uno igual cesta que ballesta; lo mismo/igual le da a cuestras que al hombro; por lo que va que por lo que viene, macho que mula, a tuertas que a derechas.* В русском языке, как правило, компаративная часть не фразеологизируется: *(ему) все равно/едино/одно, что X, что Y.*

Аффектированное, эмфатическое безразличие общего типа в русском и в испанском языках передается паремиями, содержащими глагол в форме опатива: *гори оно все синим огнем/пламенем; пропади оно (все) пропадом; y que se hunda el mundo/el cielo; ándese la gaita por el lugar; ¡jea!, ¡jea! si soy fea que lo sea.*

Однако большая часть метафоризованных паремий этого типа специфицированы своим объектом.

Безразличие, включенное в межличностные отношения, становится моральной характеристикой (качеством) личности и его субъект в этом случае аксиологически маркирован: относясь с безразличием к партнерам по социальному взаимодействию либо к себе самому, он поступает хорошо или плохо [Воркачев 1993: 20].

Чаще всего оценка моральных качеств языковой личности присутствует в семантическом составе метафоризованных паремий, объединяемых безразличием субъекта к последствиям его поступков, проявляющимся как готовность рисковать, т.е. действовать в ситуации неопределенности успеха. Если этот риск оправдан, то безразличие к опасности получает положительную аксиологическую оценку и трактуется как смелость, храбрость, если же он неоправдан, то его субъект считается человеком бесшабашным и несомнительным.

Метафоризованные паремии, отправляющие к смелости субъекта безразличия, особенно многочисленны в русском языке. Они могут говорить о его максимализме: *либо/или грудь в крестах, либо/или голова в кустах; либо/или полон двор, либо/или с корнем вон; или/либо пан, или/либо пропал; или/либо сена клоч, или/либо вилы в бок; или/либо полковник, или/либо покойник; либо мед пить, либо битую быть; либо кашу горшок, либо рогуча (ухватом) в бок; либо добыть, либо домой не быть; помирать так с музыкой.* В испанском языке максимализм передается от силы тремя паремиями: *ayunar o comer trucha; a morir o a matarla matar o a morir; si alguna vez voy al infierno que sea en cochelya que me lleve el diablo, que sea en coche.* Эти паремии могут говорить о готовности субъекта рисковать: русск. *распутья бояться, так и в путь не ходить; треску бояться – и в лесу не ходить; лягушек бояться – в реке не купаться; медведя бояться, так ягод не видеть; не ходи в лес, коли зайца боишься; в баню идти – пару не бояться; волков бояться – в лес не ходить; несчастья бояться – счастья не видеть; голый разбоя не боится; огонь кочерги не боится; не страшна мертвому могила.* Смелость как безразличие субъекта к возможным печальным для него последствиям собственных действий в испанском языке передают паремии *aquí morirá Sansón con todos los filisteos/aquí morirá Sansón y*

cuantos con él; a la quiebra; a la primera va la vencida; no hay más que cerrar los ojos; el no ya lo tengo, voy a buscar el sí; ¡que arda Troya!; ¡arda Bayona!; ¡ancha Castilla!; salga el sol por Antequera (y póngase por donde queira)/salga el sol por donde quiera; valga lo que valiere; echar por en mediol/partir (en) medio; arrojarse uno a la mar; adelante con los faroles; dure como durase, como cuchara de pan; no es tan fiero el león como lo pintan; в русском – попытка не пытка; не так страшен черт, как его малюют; бог не выдст – свинья не съест; валяй, не гляди, что будет впереди; живы будем – не помрем; кому суждено быть повешенным, тот не утонет; о двух головах; где наша не пропадала. В обоих языках есть поговорки, основанные на равенстве наказания за одно или несколько преступлений (русск. семь бед – один ответ; исп. preso por mil, preso por mil y quinientos), но лишь в русском языке обильно представлена группа единиц, связанных с безразличием к опасности и гибели, основанным на том, что человек все равно умрет: двум смертям не бывать, а одной не миновать; мрут не дважды, а однажды – не миновать/но дважды не умирают, однажды не миновать; раньше смерти не умирают; один конец.

Бесшабашность передается поговорками (пьяному) море по колено, а лужа – по уши; пустой голове все трын-трава; безразличие к последствиям собственных действий для окружающих передается идиомами а там хоть трава не расти; после нас хоть потоп.

Оценка моральных качеств личности в целом связана с соблюдением либо нарушением субъектом определенных этических норм: в случае безразличия к последствиям своих действий это нормы риска – его оправданность и целесообразность, в случае же равнодушия, упрямства и бесстыдства, передаваемых метафоризованными поговорками, это уже иные, но по-прежнему этические нормы.

Равнодушие как жизненная позиция стороннего наблюдателя расходится с "нормой эмпатии" – сочувственного отношения человека к человеку, и передается в русском языке поговорками моя хата с краю – ничего не знаю; наше дело – сторона; в испанском – поговорками ni tiro ni aflojo; no entrar ni salir uno en una cosa; no es cuenta mía; meterse en su casa; no tener ni arte ni parte en algo; (estar) al otro lado del arroyo. Сюда же примыкают поговорки, отправляющие в определенных ситуациях речевого общения к "толстокожести", непробиваемости своего субъекта: русск. как к стене (об стену) горох(ом); как/что с гуся вода (небылые слова); como llamarle santo; ni que hablara uno a la pared; como quien (el que) oye llover; machacar (majar, martillar) en hierro frío; dar música a un sordo; como darle voces a un muerto.

Моральным сознанием осуждается упрямство как безразличие к нормам целесообразности и социального взаимодействия. И если в русском языке к упрямству отправляют поговорки типа у него хоть кол на голове теши и его в ступе не утолчишь, то в испанском здесь фигурирует целый ряд единиц: у dale que le des, a los zapatos; tejeretas han de ser; cerrado como pie de muleto; maldecido (maldito) de cocer; ¡dale, machaca!; aunque le mandaran (ni que le manden) frailes franciscos; con las fieras no sirven razones; no se le mete eso ni con cuchara; clavara un clavo con su cabeza; cara de pelar; como se empeñe en meter la cabeza por una parte la mete; es peor que las bestias; terco (tozudo) como (el) aragonés; más terco (tozudolobstinado) que un aragonés.

Лишь в русском языке представлены поговорки, осуждающие бесстыдство как безразличие к стыду и бесчестию: бесстыжему хоть плюй в глаза – все божья роса; купцу плюй в глаза, ему все божья роса; ему плюнь в глаза – скажет – божья роса.

Специфическим объектом метафоризованных поговорок в русском и в испанском языках могут быть неприятности, выпадающие заслуженно или незаслуженно на долю другого. В русском языке это единицы за чужой щечкой зуб не болит; поделом вору мука; туда ему и дорога; собаке – собачья смерть. В испанском языке эта группа несколько многочисленнее и включает единицы ahí me las den todas; al que le

pique que se rasgue; ¡y yo con la pena!; al prójimo contra una esquina; pápenle duelos; que se fastidie; que lo monden; ¡y vuelve por otra!

Однако другая группа метафоризованных паремий, передающих безразличие субъекта к волеизъявлению или желанию другого, многочисленнее в русском языке: *дело хозяйское; охота пуще неволи; хозяин – барин; вольному воля (спасенному рай), ходячему путь, лежачему кнут; твой дом – твоя и воля; твой колокол – хоть звони, хоть об угол/дан попу колокол: хоть звони, хоть об угол колоти; твой мосол – хоть гложи, хоть под стол; своя рука – владыка; кочерга в печи хозяйка; вольно было Фомушке жениться на вдовушке; вольно всякому на своей земле яму копать; вольно собаке на владыку лаять/вольно собаке на небо лаять; вольно черту в своем болоте бродить; дуракам закон не писан. Как правило, желание "протагониста" подобного высказывания субъектом безразличия осуждается как неразумное, неправомерное, капризное. В испанском языке эта группа паремий представлена значительно беднее и не столь пейоративно окрашена: *su alma en su palma; con su pan se lo coma; allá te las gobiernes/se la gobiernen; allá él; allá se las (lo) avenga; allá se las entiendalhaya; allá te las campanees.**

И в русской, и в испанской паремиологии безразличие может быть представлено через свое внешнее проявление, вернее, отсутствие у субъекта должной реакции, причем в русском языке здесь по большей части фигурируют вербализованные соматизмы в чистом виде: русск. *как ни в чем не бывало; ему хоть глаз коли – он другой подставит/ему ворон глаз клюет, а он и носом не ведет; а он и глазом не моргнул; и (даже) бровью (глазом, ухом, усом, носом) не весть/новесту; (и) в ус (себе) не дуть; ни в одном глазу; исп. quedarse uno muy sí señor/como si tal cosa; me quedé como estaba; ¡y él tan campante/orondo!; se quedó como el que se bebe un vaso de agua; como si callaras/cantaras.*

И в русской, и в испанской паремиологии выделяется группа единиц, передающих безразличие к чужой речи: русск. *собака лает, караван идет; собака лает, ветер носит; брань на воротах не висит; мели, Емеля, твоя неделя; исп. dejar que corra el aire; las palabras se toman como de quien vienen; más dijeron de Nuestro Señor Jesucristo; como si cantara un grillo; déjales que digan misa; (hasta) que digan misa; son misas de salud.*

И в русском, и в испанском языках однотипно передается безразличие к уходу или исчезновению объекта, в сохранении или удержании которого говорящий, как можно было предполагать, был заинтересован: русск. *Скатертью дорога!; Баба с возу – кобыле легче; исп. ¡Buen viaje!; ¡A Dios Madrid, que te quedas sin gente!*

Однако лишь в русском языке существует паремия, передающая безразличие к физической красоте женщины: *с лица воды не пить, умела б пироги печь.*

На периферии лексико-семантического поля безразличия, передаваемого метафоризованными паремиями, в обоих языках находятся единицы, в семантику которых безразличие включено в качестве компонента, входящего в состав более сложных семантико-синтаксических или коммуникативных смыслов: уступительно-компенсационных отношений, значений утешения, призыва к смирению. Так, безразличие входит в семантический состав уступительно-компенсационных отношений как указание на незначимость отрицательно оцениваемой пропозиции А на фоне положительно оцениваемой пропозиции В: неприятные моменты X компенсируются в глазах говорящего достоинствами Y. В русском языке сюда попадают паремии *не было бы счастья, да несчастье помогло; нет худа без добра; хоть горшком назови, только в печку не ставь; чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало; нам хоть бы пес, лишь бы яйца нес; нам хоть бы песок, только б солил. В испанском языке это единицы *no hay mal quepor bien no venga; a estocada por cornada/por mochada; dame pan y dime tonto; caballo que no ande que sea grande.**

Коммуникативно ориентированными на второе лицо являются метафоризованные

паремии, передающие речевой смысл "утешение": русск. *ничего, не обращай внимания, это с каждым бывает; могло быть и хуже, еще все переменится к лучшему* и пр. В русском языке сюда попадают единицы *и на старуху бывает проруха; и на большие умы живет промашка; и на доброго коня бывает спотычка; за одного битого двух небитых дают, да и то не берут; перемелется – мука будет; грех да беда на кого не живет; терпи, казак – атаманом будешь; дождь не дубина, не убьет, беда не смерть, в гроб не уберет; три к носу – все пройдет; будет и на нашей улице праздник; стыд не дым, глаза не ест; (на нем) свет клином не сошелся*. В испанском языке в эту группу попадают речения *al mejor cazador se le va la liebre; en todas partes cuecen habas (y en mi casa a calderadas); el que mas mira...; al mejor mono se le cae el zapote; eso le puede pasar al más pintado; ¡ni que fuera uno un santo!; más se perdió en la batalla de Ocaña; si una puerta se cierra ciento se abren; cosas que van y vienen; el mundo da gusto a todos; el mundo da muchas vueltas*. Как можно заметить, наиболее специфически русской в этой семантической группе является паремия *стыд – не дым, глаза не ест*.

Самой многочисленной среди периферийных метафоризованных паремий является группа единиц, в семантическом составе которых безразличие выступает в форме призыва к смирению (*делай не делай, пытайся не пытайся, сопротивляйся не сопротивляйся, в с е р а в н о ничего не изменишь*). Бесплезность усилий может быть обусловлена общей ситуацией: русск. *своей тени не обгонишь; своего локтя не укусишь; где беде быть, там ее не миновать; выше головы не прыгнешь/поперек себя не перепрыгнешь; и большой бадьей реки не вычерпать; шилом моря не нагреешь; вчерашнего дня не воротишь; пролитую воду не соберешь; моря веслом не расплецешь; моря не разгородишь; море песком не засыплешь; против лома нет приема; плетью обуха не перешибешь; лбом стену не прошибешь; сила ломит и соломушку; мешком солнышко не поймаешь; ветра в рукавицу не поймаешь; за ветром в поле не угонишься; против рожна не попрешь; шила в мешке не утаишь; голод не тетка; (как) мертвому припарки; было, да быльем поросло; было стрижено, а теперь брито; было добро, да давно, а будет опять, да долго ждать; исп. *a la fuerza ahorcan; la necesidad tiene cara de hereje; no hay (más) remedio; meter la mar en un pozo; vaciar el mar; cocear contra el aguijón; como dar una riñalada en el cielo; la cosa no tiene apelación; no tener quite una cosa; lo hecho hecho está; lo pasado, pasado (está); ser agua pasada; chilló el cochino*. Для русского языка здесь характерно присутствие единиц с квантором общности – *всех нищих не перецеголяешь; всех покойников не оплакать; всех речей не переслушаешь; всех сластей не переешь, всех нарядов не переносишь; всех угодий к одной полосе не подберешь*. Ряд метафоризованных паремий этой периферийной группы и в русском, и в испанском языках передает бесплезность усилий, направленных на исправление личностных характеристик кого-либо: русск. *горбатого могила исправит; черного кобеля не отмоешь добела; сколько волка не корми, он в лес смотрит; дурака учить – в решете воду носить; ученого учить – только портить; старого пса к цепи не приучишь; старого учить, что мертвого лечить; исп. *es como el zorro que muda los años y no las mañas; sobre negro no hay tintura; genio y figura (hasta la sepultura); mudar de condición es a par de muerte; al que nace harrigón, es al ñado que lo fajen/el que nace harrigon, aunque lo fajen*. И в русском, и в испанском языках есть выражение бессмысленности переживания по поводу утраты части, в то время как утрачено целое: русск. *снявши голову по волосам не плачут; исп. *echar la soga tras el caldero**. И в русском, и в испанском языках есть выражения, отправляющие к бессмысленности активности после того, как дело сделано: русск. *после драки кулаками не машут; исп. *ya está hecho el gasto y la gente junta**. Специфически русскими являются выражения *перед смертью не надышишься* (бессмысленно тянуть время), *лес рубят – щепки летят* (невозможно избежать**

нежелательных побочных явлений), *назвался груздем – полезай в кузов* (хочешь не хочешь, а надо выполнять должное/обещанное), *с возу упало – пиши пропало* (что потеряно, то потеряно).

Вне семантической классификации остаются паремии, как правило не имеющие межязыковых соответствий: русск. *своя ноша не тяжела/не тянет; свое бремя легко*; исп. *como yo no soy río, tras me vuelvo* "мало ли что я раньше говорил"; *penas a un lado, cuidados a otro y el cuerpo en medio* "не тужи"; *cuando se muere un fraile* "ну и пусть, наплевать"; *más ganancia* "тем лучше, мне больше останется".

Если пословичные изречения представляют собой знаки и модели различных типовых жизненных ситуаций [Пермяков 1988: 84], то, очевидно, отсутствие в языке паремий на определенную тематику свидетельствует о том, что эта тема (ситуация) типичной для речевого общения носителей данного языка не является и их отношение к ней в число базовых характеристик языковой личности не входит. В свою очередь, отличия национально-культурных прототипов личностей-носителей определенных естественных языков могут быть и, чаще всего, являются не лакунарными, а градуальными – по степени представленности в них каких-либо признаков, что отражается на диверсификации этих признаков в языке: числе однотемных паремий, отличных друг от друга по своему образному строю (фразеологическому образу" [Солодуб 1990: 58–61]) и денотатному наполнению.

Сопоставление корпуса метафоризованных паремиологических единиц, передающих безразличие в русском и испанском языках, свидетельствует, прежде всего, об отсутствии радикальных культурно-психологических отличий в складах русской и испанской языковой личности, что и не удивительно, поскольку испанский язык (его культурный компонент) отстоит от русского совсем не так далеко, как, скажем, язык папуасов Новой Гвинеи, в котором отсутствуют различия эмоций страха и удивления [Wierzbicka 1986: 593]. Кроме того, безразличие составляет лишь небольшой фрагмент общей психологической "карты" языковой личности, и трудно ожидать от него отражения всей полноты ее облика.

Тем не менее, подобное сопоставление показывает, что русская языковая личность с большей нетерпимостью, чем испанская, относится к "половинчатости", качественной неопределенности человека, ей более свойственен максимализм ("все или ничего") в ситуации риска, она терпимее к волеизъявлениям и желаниям другого. В свою очередь, испанская языковая личность большее внимание уделяет такой моральной характеристике своего речевого партнера, как упрямство.

С другой стороны, на фоне нейтральности испанской языковой личности русская озабочена проблемами стыда и совести, брэнности существования. Лишь для русской языковой личности значимыми оказываются ситуации затягивания времени, невозможности избежания отрицательных последствий, окончательности утраты, отсутствия физической красоты у женщины и груза собственных проблем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Барт Р. 1975 – Основы семиологии // Структурализм "за" и "против". М., 1975.
Богин Г.И. 1975 – Уровни и компоненты речевой способности. Калинин. 1975.
Богин Г.И. 1986 – Типология понимания текста. Калинин. 1986.
Вольф Е.М. 1985 – Функциональная семантика оценки. М., 1985.
Воркачев С.Г. 1992 – Значение серединной области аксиологической оценки в языке // НТИ. Сер. 2. Информационные процессы и системы. 1992, № 7.
Воркачев С.Г. 1993 – Речевые поступки и оценка моральных качеств личности: показатели безразличия в психологических отношениях // ФН. 1993. № 3.
Воркачев С.Г. 1995 – Национально-культурная специфика концепта любви в русской и испанской паремиологии // ФН. 1995. № 3.
Джемс У. 1982 – Личность // Психология личности. Тексты. М., 1982. ИРФС 1985 – Испанско-русский фразеологический словарь. М., 1985.
Кабакова Г.И. 1993 – Французская этнолингвистика: проблематика и методология // ВЯ. 1993. № 6.

- Карасик В.И.* 1994 – Оценочная мотивировка, статус лица и словарная личность // *Филология*. 1994. № 3.
- Караулов Ю.Н.* 1987 – Русский язык и языковая личность. М., 1987.
- Пермяков Г.Л.* 1988 – Основы структурной паремиологии. М., 1988.
- Психология 1990 – Психология. Словарь.* М., 1990.
- РПП 1988 – Русские пословицы и поговорки.* М., 1988.
- Сентенберг И.В.* 1994 – Языковая личность в коммуникативно-деятельностном аспекте // *Языковая личность: Проблемы значения и смысла.* Волгоград, 1994.
- Солодуб Ю.П.* 1990 – Национальная специфика и универсальные свойства фразеологии как объект лингвистического исследования // *ФН*. 1990. № 6.
- Сепир Э.* 1993 – Язык. Введение в изучение речи // *Э. Сепир. Избранные труды по языкознанию и культурологии.* М., 1993.
- ФСРЯ.* 1986 – Фразеологический словарь русского языка. М., 1986.
- Drever J.* 1981 – *The Pinguin dictionary of psychology.* Aylesbury, 1981.
- Wierzbicka A.* 1986 – Human emotions: universal or culture-specific? // *American anthropologist*. 1986. V. 88. № 3.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 1997 г. Е.В. ШЕЛЕСТЮК

О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ СИМВОЛА

(обзор литературы)

Центральное понятие нашего исследования, символ, недостаточно четко очерчено в лингвистической литературе. Вместе с тем, есть многочисленные работы, посвященные ему, в других областях знания, прежде всего, в философии, семиотике, психологии, филологии, мифопоэтике и фольклористике. Мы видим свою задачу в систематизации основной части точек зрения относительно символа с тем, чтобы отразить все свойства этого многомерного явления и выявить возможности изучения его средствами лингвистики, в частности, структурной семантики. В ходе работы будет предложена концептуальная разработка этого явления, определено понятие и проанализированы его основные свойства.

Из всех многочисленных определений символа наиболее релевантным нам представляется семиотическое определение (ибо семиотика как общенаучная дисциплина дает определения любых знаковых концептов), поэтому мы возьмем его за основу. С этой точки зрения термином "символ" обозначаются два основных понятия: 1) в формально-семиотическом и формально-логическом смысле это а) знак, порождаемый установлением связи означающего и означаемого по условному соглашению и, таким образом, представляющий собой единство материально выраженного означающего и абстрактного означаемого на основе конвенциональной, условной; б) графический знак формально-языкового описания (напр., NP и VP, обозначающие грамматические категории); 2) в широком семиотическом смысле символ есть такой знак, который предполагает использование своего первичного содержания в качестве формы другого, более абстрактного и общего содержания, причем вторичное значение, которое может выражать понятие, не имеющее особого языкового выражения, объединяется с первичным под общим означающим [EDS 1986].

С этим определением согласуется определение Ю. Лотмана, согласно которому символ связан "с идеей некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения для другого, как правило, культурно более ценного, содержания" [Лотман 1987: 11]. Термин "символ" в этом втором значении и является объектом нашего внимания.

Чтобы представить символ во всей полноте его свойств, необходимо расширить его "семиотическое" определение за счет определений, даваемых ему в других областях знания. Помимо знаковости, в гуманитарной традиции акцентировались такие свойства символа, как образность (иконичность), мотивированность, комплексность содержания символа и равноправие значений в нем, "имманентная" многозначность и расплывчатость границ значений в символе, архетипичность символа, его универсальность в отдельно взятой культуре и перекрест символов в культурах разных времен и наро-

дов, встроенность символа в структуру мифологии, литературы, искусства и других семиотических систем; кроме того, изучалось отношение символического к языковой реальности и место символа в языке и речи. Проясним каждый из этих аспектов символа.

ОБРАЗНОСТЬ СИМВОЛА

Многие исследователи отмечают образную природу символа, утверждают, что символ "вырастает" из образа, однако "образность" символа понимается по-разному (вероятно, в связи с неоднозначностью самого термина "символ").

Источником символа в первом, узком смысле слова является – чувственный образ – отражение предметов и явлений реального мира. Он предполагает тождество самому себе, означающее и означаемое в нем не обособляются, неразделимы как явление и сущность. Чувственное восприятие сменяется представлениям, "воспоминанием" о чувственном образе [ср. термины "гештальт", "прототип" и "образ-схема", обозначающие аналогичное понятие в западной гештальт-психологии (Х. Вернер), когнитивной психологии (Э. Рош) и когнитивной семантике (М. Джонсон, Дж. Лакофф, Р. Лангакер)]. Осознание внутренней формы образа, его "дифференцированной, выдвинутой стороны", выводит образ в разряд знаков. Образ начинает мыслиться отвлеченно от материи, использоваться как схема.

Образ становится знаком-символом (в узком смысле слова), когда разделяются референт и его условное обозначение. По мнению Х. Вернера, "протосимволы" – образы, визуальные и вербальные схемы, жесты и др. – трансформируются в символы благодаря "прогрессивной дифференциации передатчика (vehicle) и референциального значения"; обратный процесс связан с их "дедифференциацией". В современной психологии и нейролингвистике этот процесс описывается как сложная система "двойного кодирования", когда бессознательное (аналоговая система, образное континуальное мышление) синергетически взаимодействует с сознанием (дискретной системой, символическим, вербальным, цифровым мышлением), взаимопреобразуя коды друг друга посредством внутренней речи [Цапкин 1994]. Например, во сне внутренняя речь преобразует вербальную информацию, скрытые мысли, в аналоговые поверхностные структуры (перцептивные образы), в бодрствующем же состоянии перцептивные образы (внешние и квазиперцептивные внутренние) переводятся на язык дискретной системы.

Образ, лежащий в основе символа в широком смысле слова (т.е., как многозначного знака), отличается от гештальта прежде всего по своей функции. Он служит формой художественного или мифологического представления, единицей языка ритуала, мифа, художественного творчества. "Художественный" образ сам по себе является знаком (ибо он имеет материальное означающее – продукт творческой деятельности), правда, не символическим, а иконическим – для него свойственно сходство между означаемым и означающим. Взаимодействие плана содержания и выражения в нем не условное, а "органическое" [Арутюнова 1990: 22]. По мнению Р. Якобсона, в естественных языках "образная" иконичность встречается в звукоподражаниях, редупликациях. Такое сходство характерно также для изображения действительности в живописи, скульптуре, кино, театре и т.д. [Якобсон 1983].

Основные свойства такого образа – расширение и обобщение первичного "чувственного" содержания. В этом, по существу, он сходен с "содержательным" понятием, которое "идет дальше формального (т.е., минимума общих характерных признаков, необходимых для распознавания предмета) и охватывает все новые стороны предмета его свойства и связи с другими предметами" [Кацнельсон 1965: 18]. О.М. Фрейденберг, исследовавшая особенности античного художественного образа и понятия, подчеркивала, что античные понятия получали становление как образы с отвлеченной функцией: "...конкретность получает отвлеченные черты, единичность – черты многократности, бескачественность окрашивается в резко очерченные, сперва монолит-

ные качества, пространство раздвигается, вводится момент движения от причины к ее результату... В любой античной метафоре переносный смысл привязан к конкретной семантике мифологического образа и представляет собой ее понятийный дубликат" [Фрейденберг 1978: 189].

Аналогичную мысль встречаем у Винокура, раскрывавшего специфику поэтического образа: образ "есть сразу и то, что он есть с точки зрения его буквального обозначения, и то, что он представляет собой в более широком его содержании, скрытом в его буквальном значении..." [Винокур 1991: 28].

По утверждению Н.Д. Арутюновой, такого рода образ выходит за рамки своего буквального смысла, но не идет дальше расширения и обобщения, качественно нового содержания (в отличие от символа) он не выражает [Арутюнова 1988: 149]. Образ-икон становится символом, когда он начинает выражать смысл, весьма отличный от его непосредственного содержания, как правило, более абстрактный.

Образы в словесном выражении есть сложные иконические знаки, образующиеся при обобщении и расширении значения простого языкового знака и выражаемого им понятия и наделении его указательной функцией. Символы же представляются сложными знаками (именами) с комплексом значений в языковом отношении и сложением концептов в содержательно-логическом отношении. Всякий символ есть образ, однако образ можно считать символом при определенных условиях. Н. Фрай выделяет следующие критерии "символичности" образа в поэзии: 1) наличие абстрактного символического содержания эксплицируется контекстом (например, "Sea of Faith" в "Dover Beach" Арнольда), 2) образ представлен так, что его буквальное толкование невозможно или недостаточно ("Byzantium" в "Sailing to Byzantium" Йитса или "garden" в одноименном стихотворении Марвелла), 3) образ имплицитно ассоциирует с мифом, легендой, фольклором (Ulysses в поэме Теннисона) [Frye 1965].

Многие ученые апеллируют к понятию символ через образ: "Символ есть образ, взятый в аспекте своей знаковости, он есть знак, наделенный всей органичностью мифа и неисчерпаемой многозначностью образа... Предметный образ и глубинный смысл выступают в его структуре как два полюса, немислимые один без другого (ибо смысл теряет вне образа свою явленность, а образ рассыпается на свои компоненты), но и разведенные между собой и порождающие между собой напряжение, в котором и состоит сущность символа... Переходя в символ, образ становится "прозрачным", смысл "просвечивает" сквозь него, будучи дан именно как смысловая глубина, смысловая перспектива, требующая нелегкого "вхождения" в себя" [Аверинцев 1968].

В нейро-психологическом ракурсе символ в широком понимании можно представить как сложную образно-вербальную сущность с дополнительным ассоциативным комплексом в означаемом, который возникает в результате таких процессов в бессознательном, как "смещение" и "конденсация" образов.

МОТИВИРОВАННОСТЬ СИМВОЛА

Мотивированность символа касается отношения между конкретным и абстрактным элементами символического содержания. Мотивированность является отличительной особенностью символа по сравнению с языковым знаком, в котором связь между означающим и означаемым произвольна и конвенциональна, она же сближает символ с другими мотивированными семиотическими явлениями – тропами метафорой и метономией. По определению Гегеля, в знаке "связь между значением и его выражением представляет собою связь, установленную только совершенно произвольным их соединением. ...Выражение, знак вызывают в представлении некоторое чуждое ему содержание, с которым он отнюдь не должен находиться в какой-то необходимой специфической связи..." В символах же нет "безразличия друг к другу значения и его обозначения, так же как искусство состоит... в связи, родственности и конкретной сплетенности значения и облика" [Гегель 1938: 313].

Большинство мыслителей прошлого выделяли аналогию как основу связи между конкретным и абстрактным понятиями в содержании символа. Например, по мнению И. Канта, символ возникает как представление по одной только аналогии. В отношении символа аналогия следует представить как уподобление понятий (значений) на основе общности их семантических признаков, благодаря чему возможен перенос (транспозиция) имени конкретного, частного понятия (значения) на абстрактное, общее. Это сближает символ с другими мотивированными семиотическими явлениями – тропами, прежде всего, с метафорой.

Э. Кассирер одним из первых отметил роль метафоры в символическом конструировании реальности [Cassirer 1946]. Он утверждал, что изоморфизм символических форм, представительство символа в разных модальностях возможно благодаря "радикальной метафоре", переносу "энергии духа" с одной конкретной формы на другую. Такое "метафорическое" понимание символических форм состояло в оппозиции интуитивистскому и эмпирическому подходам в духе М. Мюллера, А. Куна, а также Э. Тейлора, Дж.Г. Фрзера, Л. Леви-Брюля, которые утверждали мистичность, непостижимость связей в мифологической и ритуальной символике логическим мышлением и опирались на интуитивный анализ этимона слова и эмпирического материала.

"Статический" принцип описания символа через метафору характерен для Ф. Уилрайта, который предположил, что символ есть "стабилизированная метафора". Он выделил два типа символов – стено-символ или блок-символ, в котором изначальное "диафорическое различие" нейтрализуется, но утрачивается и момент общности между означающим и означаемым (это символы математики, формальной логики), и "напряженный, экспрессивный символ", в котором "изначальное диафорическое различие и качество сохраняется и обогащается" [Wheelwright 1960: 7].

"Революционный переворот" в понимании роли тропов, в частности, метафоры, начавшийся в конце пятидесятых годов, оказал заметное влияние на развитие представления о символе. Напомним вкратце суть этого переворота. Еще З. Фрейд отметил такие отклонения в однозначном понимании знаковых единиц, как конденсация и смещение, которые Ж. Лакан впоследствии назвал "важнейшими правилами бессознательного". Р. Якобсон, исследовавший два типа афазии, заметил, что основные нарушения ассоциирования (по сходству и по смежности/включению) отражаются в речи в виде метонимии и метафоры. То же наблюдается при творческой трансформации сходств/смежностей. Якобсон сделал вывод об универсальности метафоры и метонимии как важнейших семиотических механизмов, действующих на разных осях языка (парадигматической и синтагматической). Работа Якобсона "Два аспекта языка и два типа афазии", а также раздел "Метафорический и метонимический полюсы" вскоре стали классическими источниками для европейского структурализма [Jakobson 1956]. Как следствие открытия Якобсона появилось множество работ по "основным тропам", разрабатывалась теория семантических транспозиций, были исследованы синекдоха и ирония, появились теории "первотропов" (например, [MPP 1982, TM 1983, MT 1993, Henry 1971, Schofer, Rice 1977, Meyer 1993]).

Выделение двух основных механизмов ассоциирования – метафоры и метонимии – имело большое значение для исследования символа, обозначило "динамический" подход к его описанию. В числе постякобсоновских работ, затрагивающих мотивацию символических значений, следует выделить исследования П. Рикера [Ricoeur 1969], К. Леви-Строса [Леви-Строс 1994] и Ц. Тодорова [Todorov 1982b].

По мысли П. Рикера, символ есть феноменологическое (речевое) проявление языковой полисемии. Символическая амбивалентность возникает в комбинации двух фактов – лексического (полисемии) и контекстуального, когда контекст допускает реализацию "нескольких различных и даже противоположных значимостей с одним и тем же именем" [Ricoeur 1969: 72]. Полисемия и символизм характеризуют стресс и функционирование языка. Сходство и смежность реальных составляющих связи между значениями многозначного слова, следовательно, эти же связи наиболее выражены в символах.

Структурная антропология К. Леви-Строса имплицитно выводит о метафорической связи значений в символе. Как известно, изучая мифологическое мышление, Леви-Строс называл в качестве его закономерности медиацию – метафорическую подмену одних противоположностей другими, как правило, фундаментальных оппозиций – более узкими оппозициями. Так, на основании метафорического подобия "сексуальное" может быть представлено в терминах "пищевое" (их "общим деноминатором" является "соединение посредством дополнительности"), в результате чего появляются такие переносы, как брачные запреты – пищевые запреты, инцест – каннибализм. Преобразование метафоры в мифах завершается метонимией, находящей выражение в ритуалах [Леви-Строс 1994]. Медиация (метафора) объясняет аналогии в мифах, относящихся к разным семиотическим кодам. В свете этого подхода символ каждого конкретного кода представляется звеном в парадигматической цепочке значений, связанных метафорическими отношениями на основе общих деноминаторов: например, отец – небо – дневное сияющее небо (**deiuo*) – бог (общий деноминатор "оплодотворяющий"), мать – земля – "темная", "черная" богиня (общий деноминатор "рождающая") (примеры из [МНМ 1988]).

Ц. Тодоров признает роль такого типа переноса, как метафора, для формирования символа, но акцентирует также важность таких тропов, как метонимия и синекдоха (понимаемая им широко, включающая, кроме отношения *pars pro toto* и обратного, отношения "предмет–признак" и "признак–предмет"). Опровергая непостижимость символических связей, он отмечает, что кажущееся отсутствие тропов (как механизмов транспозиции) в символе лишь свидетельствует о присутствии тропов, отличных от метафоры, а именно, метонимии и синекдохи [Todorov 1982b: 242]. У него мы находим выразительные примеры семантического описания "примитивных" символов, например, символа "красная луна – царь" (отраженного в представлении о том, что рожденный под красной луной должен стать царем): кровь символизирует власть (метонимия), красный цвет символизирует кровь (синекдоха), определенная фаза луны символизирует красный цвет (синекдоха), люди, рожденные в эту фазу, символизируют ее (временная метонимия). Символическая "конверсия" разворачивает цепочку символов, причем каждый "символизуемый термин" символизируется другим и захватывает термины предыдущих процессов [Todorov 1982b: 245].

Вероятно, такие формы аналогии, как метонимия и синекдоха, присущи уже первобытному домифологическому мышлению, которое Леви-Брюль назвал "пралогическим" [Леви-Брюль 1994], основными свойствами которого являются синкретичность, отождествление разнородных предметов, подмена отношения каузальности отношением смежности, отождествление части и целого, вещи и ее свойства, вещи (лица) и ее знака или имени. Они лежат в основе той примитивной символики, которая носит, помимо репрезентативного или замещающего, еще и тотемический характер, когда воображение следует за тотемом [Тайлор 1989]. Метафора как аналогия между "передатчиком" и "референтом" символа появляется при переходе к мифологическому мышлению, когда сопричастность ("партиципации" Леви-Брюля) окружающим предметам и существам перестает быть непосредственной, происходит попытка с помощью мифа объяснить то, что раньше непосредственно переживалось (об особенностях мифологического мышления см. в [Фрейдсберг 1979; Маковский 1996]). В этот период появляются метафорические символы, своеобразные мифологические концепты, возникающие как элементы "мифологического текста". При переходе мифа в категорию "жанра" они становятся категорией метаязыка. В этом случае символы принадлежат уже не мифологическому, а дескриптивному сознанию [Успенский 1994: 306].

Приведем пример сочетания раннего метонимического и более позднего метафорического символизма. Змея, пресмыкающееся, ползающее по земле – символ земли, плодородия, вселенной, также одно из символических воплощений подземного божества. Это метонимический символизм на основе корреляционной точки "земля". Более поздний метафорический символизм – "змея–сатана". Он основан на переносах

"быстрый – хитрый", "изогнутый – лукавый" по аналогии физических и психических процессов: хитрый – быстро соображающий, изогнутый – говорящий не напрямую, изменяющий смысл (ср. серб. хитар – "быстрый", лукавый – "изогнутый", лук – "дуга, излучина реки"). Так образовался символ, приписывающий божеству земли новые, негативные качества.

В связи с метафоричностью символа нельзя не упомянуть еще одно направление, практически не зависимое от европейского подхода к исследованию метафоры – когнитивную семантику (Лакофф, Джонсон, Лангакер, Тернер и др.). Обращаясь к "концептуальной метафоре", когнитивная семантика фактически исследует онтологию современных символов и осуществляет таксономию основных типов символических переносов. Напомним, что концептуальная метафора определяется как проекция (mapping) знаний из сферы-источника в новую осваиваемую сферу благодаря набору онтологических соответствий [Lakoff 1993]. Как отмечается, основные абстрактные понятия в современных концептуальных системах, такие как время, количество, состояние, изменение, действие, причина, цель, намерения эмоций (любовь, гнев) и т.д. артикулируются с помощью концептуальных метафор, напр.: БОЛЬШЕ ЕСТЬ ВЕРХ, МЕНЬШЕ – НИЗ, ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ ЕСТЬ ПУТИ, ВРЕМЯ ЕСТЬ ВЕЩЬ, ХОД ВРЕМЕНИ ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ, БУДУЩЕЕ ВПЕРЕДИ, ПРОШЛОЕ ПОЗАДИ, СОСТОЯНИЯ ЕСТЬ МЕСТА В ПРОСТРАНСТВЕ, ИЗМЕНЕНИЯ ЕСТЬ ДВИЖЕНИЯ, ПРИЧИНЫ ЕСТЬ СИЛЫ, ЦЕЛИ ЕСТЬ ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ, ВНЕШНИЕ СОБЫТИЯ ЕСТЬ БОЛЬШИЕ ДВИЖУЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ, ТРУДНОСТИ ЕСТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ и т.д. С нашей точки зрения, эти переносы являются той основой, которую предоставляет современная культура для порождения как метафор, так и символики.

Есть значительные отличия в использовании метафорического проектирования в наши дни и раньше. Например, для алхимических символов характерно не строгое наложение одной сферы на другую в соответствии один к одному, но множественное (pluralistic) использование всех видов метафорических сходств [Gentner, Jeziorski 1993: 448], перекрещивание нескольких сфер.

Позволим себе сделать несколько собственных выводов относительно мотивированности значений в символе. Мотивированность символа объясняется аналогией, которая проводится между его конкретным и абстрактным понятиями, и смежностью (сопредельностью, вовлеченностью в одну ситуацию) этих понятий, а также включенностью интенционала одного понятия в другое. Аналогия в символе составляет основу такой семиотической транспозиции, как метафора (включая синестезию), смежность и включение лежат в основе метонимии и синекдохи.

Эти транспозиции, в свою очередь, возможны благодаря универсальным концептуальным связям, которые базируются на определенных коррелятах в объективном мире и являются их мыслительным отражением [Никитин 1983: 37]. Эти связи включают:

а) импликацию – связи уподобляемых объектов, соответствующие связям сущностей объективного мира: вместилище–содержимое, материал–изделие, причина–следствие, исходное–производное, действие–результат, часть–целое, форма–содержание, признак–вещь, смежность в пространстве, следование во времени, место в пространстве–событие во времени и т.д.;

б) "предметную симиляцию" – ассоциации сходства (общности) предметов и явлений объективного мира по наличным существенным признакам: сходства функций, формы, строения, местоположения, размера; и "перцептивную симиляцию" (синестезию) – ассоциации сходства восприятия предметов и их свойств в разных модальностях, выявляемые механизмом вторичных ощущений, а также сходства восприятия предметов и их свойств с абстрактными психическими сущностями.

Есть другие основания аналогии, менее существенные в отношении символа, но достойные упоминания: это весьма важная для поэтической речи субъективная симиляция – ассоциации сходства по несущественным или субъективно устанавливаемым

признакам между предметами и явлениями действительности, порождающие уникальную авторскую метафору – диафору, в которой, по определению Ф. Уилрайта, "новое значение возникает в результате простого соположения" [Уилрайт 1990: 82]. Значительно менее важны случаи уподобления концептов на основе паронимии и случайных ассоциаций.

По нашим наблюдениям, в современной поэзии наличествуют как метафорические, так и метонимические символы. Примеры первых: символ "катание на берегах – гармония материальной и духовной жизни" в стихотворении Р. Фроста "Birches", "странствие – жизнь" в стихотворении Э. Робинсона "The Wilderness", "длинноногая муха – рефлексия, медитация" в стихотворении "Long-Legged Fly" У.Б. Йетса. Примеры вторых: символ "рука – безжалостный правитель" в стихотворении Д. Томаса "The hand that signed the paper felled a city...", "крепость, часовня, молитва – Испания" в поэме У.Х. Одена "Spain 1937".

КОМПЛЕКСНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ СИМВОЛА И РАВНОПРАВИЕ ЕГО ЗНАЧЕНИЙ

Важнейшими свойствами символа являются комплексность его содержания и равноправие реализующихся значений. Как известно, само слово символ происходит от греческого глагола "symballein" (складывать) и существительного "symbolon" (половинка монеты, которую стороны делили в знак заключения союза и для распознавания "своих" и "чужих"). Символ предстает как конгломерат равноценных значений. Эти свойства символа составляют его принципиальное отличие от аллегории и схемы, а также от тропов. Комплексность и равноправие значений символа рассматривались в немецкой классической философии, главным образом, Ф.В. Шеллингом.

Вслед за ним А.Ф. Лосев подчеркивает, что в символе есть "полное равновесие между "внутренним" и "внешним", идеей и образом, "идеальным" и "реальным"... Если в схеме "идея" отождествляется с "явлением" так, что последнее механически следует за ней, ничего не принося нового..., а в аллегории "явление" и "образ" так отождествляются с "идеей", что последняя механически следует за явлением, ничего не принося нового..., то в символе и "идея" приносит новое в "образ", и "образ" приносит новое, небывалое в "идею"..." [Лосев 1994: 40].

Комплексность символа диалектически соотносится с его единством – составляющие содержания символа не тождественны самим себе, но дают новую сущность, амальгаму двух значений (понятий). А.Ф. Лосев отмечает: "Хотя это (т.е. символ) и есть встреча двух планов бытия, но они даны в полной, абсолютной неразличимости..." и выше: ""идея" отождествляется не с простой "образностью", но с тождеством "образа" и "идеи", как и "образ" отождествляется не с простой отвлеченной "идеей", но с тождеством "идеи" и образа"" [Лосев 1994: 40].

Итак, с точки зрения структуры смыслового содержания, символы представляются сложными знаками (именами) с единым комплексом в плане содержания, который создается сложением и совмещением значений (в языковом отношении) или концептов (в содержательно-логическом отношении). В символах действует принцип сложения – совмещения понятий (значений), соответствующий операции сложения множеств в логике.

Прямое значение в символе сохраняет свою самостоятельность, его положение по отношению к абстрактным символическим значениям равноправно. Равноправный статус прямого и переносного значений в символе объясняется онтологически.

Образ (представление или конкретное, частное понятие) и идея (общее, абстрактное понятие) поставлены в символическую связь, чтобы взаимно выражать друг друга. Абстрактная идея закодирована в конкретном содержании для того, чтобы выразить абстрактное через конкретное, но и конкретное кодируется абстрактным, чтобы показать его идеальный, отвлеченный смысл. Символизация, связывающая понятия с "представлениями воображения", то есть с конкретностью, обогащает оба противоположения [Мантатов 1980]. Абстрактное (общее) и конкретное (частное) являются

одинаково важными объектами восприятия и познания: мышление движется и от конкретного к абстрактному, и от абстрактного к конкретному. "...солнце" есть символ "золота", но и "золото" есть символ "солнца". Символическое отношение есть отношение взаимообратимости... [Косиков 1993: 7]". В символе оба соотносимых объекта, и референт, и денотат, являются равноправными.

Несмотря на то, что символ разделяет с тропами метонимией, синекдой, метафорой и синестезией основные типы транспозиций, вторичное значение в символе не поглощает архисему первичного (как в метонимии и синекдохе) и не "приглушает" ее (как в метафоре или синестезии), значения в нем равноценны. Вместе с тем, тип транспозиции влияет на степень близости смысловых ядер – интенционалов – прямого и переносного значений.

В метонимических символах точки порождения переносного символического значения, которые становятся его гипосемой, соответствуют интенционалу прямого значения или его жестковероятностным импликациям (т.е. его обязательным или существенным признакам). Например, в символе "сухие и зеленые листья виноградной лозы – смерть и жизнь" из стихотворения К. Мидлтона "The Thousand Things" интенционалы прямых значений включаются в переносное на правах гипосемы: (засохшие листья – погибшая ветвь, зеленые листья – живая ветвь). В символе "вороны – гроза, непогода" из стихотворения Х. Немерова "Brainstorm" интенционал прямого значения связан с переносным отношением жестковероятностной импликации (карканье ворон предвещает грозу).

В метафорических символах "порождающие" семы могут составлять как сильновероятностные, так и слабовероятностные импликации исходного значения. Таким образом, интенционал производного значения в большей степени удален от интенционала исходного значения. Сходство, лежащее в основе переноса, имеет основоважность общность прямого и переносного значения по наличным существенным и несущественным признакам или стереотипные ассоциации сходства между ними. Значительная удаленность интенционалов прямого и переносного символического значений друг от друга наблюдается в таких метафорических символах, как "море – цикличность, круговорот времени" из стихотворения М. Хэмберджера "Tides" (движение волн повторяется так же, как время совершает круговое движение), сад роз – любовь и духовное просветление" из "Burnt Norton" (цикл "Четыре квартета") Т.С. Элиота (сад роз и любовь связаны ассоциациями красоты, гармонии, блаженства).

Комплексность свойственна и тропам – знакам вторичной окказиональной номинации, в содержании которых также имеется комплекс, в котором, фактически, сохраняются интенционалы обоих значений. Вместе с тем, в тропах налицо подчиненный статус прямого значения по отношению к переносному. Цель тропа – раскрытие специфических свойств одного понятия через уподобление его другому. В тропе переносное значение – объект познания – является основным, в то время как прямое значение играет второстепенную роль.

С ономаσιологической точки зрения речь идет о переносе признаков денотата прямого значения на референт переносного, причем первый, отдав свои признаки последнему "как бы умирает в нем..." [Косиков 1993: 6]. Метафору можно представить как перенос общих квалификативных признаков с узуального денотата на референт; синестезию – как перенос общих коннотативных сем эмоций, оценки и интенсивности с узуального денотата на референт; метонимию – как перенос признаков, отражающих предметно-логические связи между денотатом и референтом (смежность, сопредельность и т.д.); синекдоху – как перенос признаков части (денотат) на целое (референт).

В аспекте смыслового содержания основные принципы, действующие в тропах – включение и пересечение значений, но не сложение–совмещение значений, как в символе: 1) включение интенционала прямого значения в интенционал переносного на правах гипосемы – метонимия, 2) включение всего сигнификата прямого значения в интенционал переносного на правах гипосемы – синекдоха, 3) пересечение интен-

сионала прямого значения с импликационалом переносного и объединение области пересечения прямого значения с переносным значением – метафора, 4) пересечение значений на основе сходных коннотаций – синестезия (о структуре смыслового содержания переносных значений см. [Никитин 1983]).

ИММАНЕНТНАЯ МНОГОЗНАЧНОСТЬ СИМВОЛА

Имманентная многозначность символа означает наличие у него смысловой перспективы, цепочек значений, все более абстрактных по мере удаления от исходного значения, а также невозможность постичь его последний, главный смысл. Идея имманентной многозначности символа берет начало в идеалистической религиозной традиции, где она выразилась в идее трансцендентальности религиозного символа. В продолжении этой традиции И. Кант, Ф.В. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, И.В. Гете высказывались о символе вообще как способе познания истинного, божественного смысла. По выражению Гете, все сущее имеет некий смысл, который, "совпадая с божественным, никогда не допускает непосредственного познания. Мы созерцаем его только в отблеске, в примере, в символе, в отдельных и родственных явлениях" [Гете 1964: 354]. Явления предметной действительности суть символы, воплощение божественных идей, "образное воплощение абсолютного". Дальнейшее развитие этой идеи принадлежит П. Флоренскому, на западе – М. Хайдеггеру и Э. Гуссерлю.

Имманентная многозначность символа волновала не только религиозные умы. У теоретиков символизма она воплотилась в суждениях о мистичности, эзотеричности символа. А. Белый писал: "Символ многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине... То, что художник объемлет своим символом, остается для ума необъятным и несказанным для человеческого слова" (цит. по [Мантатов 1980: 128]).

Более формальный подход к имманентной многозначности отражает в своем определении символа А.Ф. Лосев. По его мнению, символ подобен математической функции "с возможным разложением этой исходной функции в бесконечный ряд членов, из которых каждый, ввиду своей закономерной связи с другими членами ряда и с исходной функцией, является как эквивалентным всякому другому члену ряда и самой функции, так и амбивалентным по самой своей природе" [Лосев 1976: 325].

Идея функциональной природы символа находит отражение и в зарубежной науке. В. Хиндерер говорит об аккумуляции значений символа на основании корреляционных точек [Hinderer 1968]. Для К. Леви-Строса символы представляют собой некие узловые точки в структуре мифологической картины мира, заполняемые разными классификаторами в соответствии с иерархией кодов (например, растение для вегетативного кода, животное для зооморфного и т.д.). Главный вывод, который можно сделать на основании этих "формализованных" подходов к символу – не следует искать "конечный, предельный" смысл символа, надо сосредоточить внимание на доступных для восприятия и понимания производных значениях и на узловых точках, точках корреляции значений в символе.

Свойство имманентной многозначности включает в себя комплементарность символа, которую Ф. Уилрайт обозначил термином "плюрисигнация" – семантическая множественность, которая допускает пересечение совершенно противоположных значений. Закон комплементарности особенно характерен для "примитивных" символов, поскольку коллективное мышление не нуждается ни в использовании, ни в формулировке закона непротиворечивости или закона исключенного третьего [Wheelwright 1968] (такую же мысль встречаем в [Маковский 1996]). Так, курение трубки мира символизирует для индейцев как мир, так и войну, поскольку, в трактовке Уилрайта, дым сходен с облаками: как штормовыми, сулящими беды, так и с дождевыми, сулящими урожай – здоровье племени – мир [Wheelwright 1968: 219].

Хрестоматийный пример имманентной многозначности символа в поэзии находим в "Little Gidding" из цикла "Четыре квартета" Т.С. Элиота. Образ голубя символизирует

как бомбардировщик, так и Святой Дух (однако, контекст не допускает реализации значения "голубь мира"). Образ огня символизирует как ад, так и чистилище, страдание и смерть одновременно с духовным очищением.

Наряду с имманентной многозначностью отмечается расплывчатость границ значений в символе. Причиной этого, как отмечает П. Рикер, является то, что в символе встречаются две реальности – лингвистическая и нелингвистическая [Ricoeur 1976]. Сходное мнение встречаем у Ф. Уилрайта, обозначившего это явление термином "мягкий фокус" или амбивалентность, которая существует наряду с ярко сфокусированным центром значения в виде комплекса неясных оттенков ("a penumbra of vagueness") [Wheelwright 1968: 220].

АРХЕТИПИЧНОСТЬ СИМВОЛА

Архетипичность символа носит двойкий характер. С одной стороны, в символе отражаются "образы бессознательных содержаний", значительную часть которых составляют архетипы, понимаемые как генетически фиксированные древние образы и социо-культурные идеи, которые являются достоянием "коллективного бессознательного" и лежат в основе творчества [Юнг 1991]. Эти первичные образы и идеи воплощаются в виде символов в мифах и верованиях, в произведениях литературы и искусства или в виде симптомов в снах и бредовых фантазиях.

С другой стороны, вербально выраженное означающее древних символов обнаруживает архетипичность этимона – древнюю, первичную языковую форму (по этимологическому определению архетип – "исходная для последующих образований языковая форма, реконструируемая на основе закономерных соответствий в родственных языках" [ЛЭС 1988]).

В соответствии с двумя пониманиями архетипа выделяются два подхода к исследованию архетипичности символа: 1) психоаналитическая/мифологическая/филологическая классификация архетипических символов в духе К.Г. Юнга, продолженная М. Элиаде, Н. Фраем, Ф. Уилрайтом, Дж. Стрелкой, В. Хиндерером и др. и 2) классификация символов-архетипов на основе выявления зависимостей между внутренней формой слова и мифологемой и анализа древних номинаций в духе М. Мюллера.

Психоаналитическая классификация архетипов была начата К.Г. Юнгом. Для Юнга архетипы в первом значении – гипотетическая модель, бессознательное устремление, по проявлениям которой можно судить о ее существовании, также "мифологическая фигура", при более тщательном анализе – "обобщенная равнодействующая бесчисленных типовых опытов ряда поколений". Архетип во втором значении – изначальные образы бессознательного, совпадающие повсеместно и на протяжении всей истории повторяющимися мотивами.

По Юнгу архетипы знаменуют важнейшие фазы индивидуации (выделения индивидуального сознания из коллективно-бессознательного): мать – бессознательное, дитя – пробуждение сознания, тень – оставшуюся за порогом сознания бессознательную часть личности, мудрый старик и мудрая старуха – гармонию сознания и бессознательного, высший духовный синтез. Основные черты архетипов – нуминозность (непроизвольность), бессознательность, автономность, а также генетическая обусловленность [Юнг 1991]. Выделив ограниченное число архетипов (тень, Анима и Анимус, герой, дурак, мудрый старик (старуха), Прометей и т.д.), Юнг, однако, не разработал полной теории архетипических моделей.

Постюнговская инвентаризация архетипов и символов, в которых они воплощаются, осуществлялась, наряду с прочими представителями литературной критики 60–80-х гг., например, Н. Фраем, Дж. Стрелкой, Ф. Уилрайтом, В. Хиндерером, М. Якоби. Теоретической базой для них была аналитическая психология К. Юнга, экстраполированная на литературные и мифологические символы (по выражению М. Якоби, психические архетипы воплощаются в "тысячах возможных символов" [Jacoby 1969]). Кроме того, они изыскивали новые архетипические образы и идеи, разрабатывали теорию архетипического символа.

Н. Фрай строит свою теорию на дедуктивной основе, исходя из "общей связности" литературы как единого организма [Frye 1973]. Составные части этого организма – "образы выражения" (modes), мифы, жанры и символы, в том числе и символы "архетипической фазы". Мифология, по Фраю, выступает как структура, как замкнутый и цельный мир. Вместе с тем, "структурализм" Фрая во многом умозрителен, поэтому мы не относим его к научному структурализму, хотя, несомненно, он его предтеча.

Свои изыскания об архетипах Фрай предваряет утверждением о "конвенциональности любой поэзии". Пронизывающие литературу на протяжении всей ее истории стержни, архетипы, есть первичные образы прежде всего физической природы: море, лес, луг; времена года, восход, закат, посев, сбор урожая; рождение, инициация, брак, смерть. Поэзия "подражает" физической природе как циклическому процессу, вернее, цивилизации (эта позиция продолжает натуралистскую линию мифологии). Чистейшие архетипы, по Фраю, встречаются в наивной поэзии – пасторалях, песнях, наивных драмах и деревенских романах.

Конвенциональность поэзии Фрая – не интертекстуальность, всепронизывающие аллюзии и ссылки на ранние тексты, а неизменное возвращение оригинальной поэзии к единым, "природным" истокам: "Originality returns to the origins of literature, as radicalism returns to its roots" [Frye 1973: 97–98].

М. Якоби исходит в анализе символов из архетипов "ценности" и "оценки". Так, архетип "наивысшего блага", связанный с целью, для достижения которой необходима мобилизация психической и физической энергии, проецируется в символике сказочных сокровищ, охраняемых драконом, золотого руна; философского камня, таинственного гермафродита Ребиса в алхимии; царства Божия, Нирваны, гностического оживотворяющего *Nous'a* в религии [Jacoby 1969]. Ф. Уилрайт изучает три группы архетипических символов: символы, связанные с урановым божеством, его хтонической противоположностью, а также с "вечной идеей странствования" [Wheelwright 1968].

Этимолого-мифологические классификации древней символики имеют в своей основе концепцию М. Мюллера, согласно которой язык и миф взаимосвязаны: миф возникает в результате "болезни языка", язык же представляет собой "поблекшую мифологию". М. Мюллер утверждает архетипическую связь мифологических символов, исходя из соответствия внутренней формы соответствующих означающих. Основываясь на этимологических соответствиях, он доказывает, например, что перед ранним разделением индоевропейских языков идеи отцовства и небесного света (ясного дня) объединились в фигуре Бога: лат. *Ju-piter* – греч. *Zeus-peter* – санскр. *Dyau-pitar* (ясный отец) (цит. по [Wheelwright 1968]).

Подобный же характер носят работы русских лингвистов прошлого века по фольклору и мифологии, например, А.Н. Афанасьева, который интуитивно выводил мифологические (архетипические) связи на основании сопоставления внутренней формы слов. Например, он приводит соответствия *мозг – мзга*, дождливая, облачная погода: мозг человека сопоставляется с мифом о происхождении неба из головы божества (Брамы, Имира, Атласа), а также *заря – зреть, взор* (связь глаз со стихией света), *гореть – жар – жрать* (солнце – карающее божество) [Афанасьев 1982; 1994–1995].

В настоящее время этимологические исследования в области индоевропейской мифологической символики проводятся М.М. Маковским [Маковский 1996а, 1996б]. Согласно его наблюдениям, символическая связь "волосы–огонь" (ср. древнее представление о соответствии волос стихии огня, пробуждению и росту примитивных сил) подкрепляется сходством этимонов соответствующих означающих: англ. *hair* "волос", но и.-е. **ker-* "гореть", гот. *tagl* "волосы", но и.-е. **teg-* "гореть" и др. Из древних мифов – о звездах-обиталищах душ умерших, о людях, переместившихся на небо и ставших звездой или созвездием (напр., Каллисто) – вышел символ "звезда – душа", который также подтверждается сходством этимонов соответствующих означающих: хет. *wallas* "звезда", но лит. *velės* "души умерших", англ. *moon*, но лит. *mānės* "души умерших", др.-англ. *tungol* "звезда", но русск. *дух, душа*.

С нашей точки зрения, архетипичность является важным свойством всех древних символов. Представления древних весьма отличались от современных понятий, и ядро этих представлений составляли те образы и первичные идеи, которые называются "архетипами". Мы предполагаем, что историческая судьба интенционала понятия (или ядра дополняющего представления) такова, что с эволюцией мышления происходит движение многих ядерных сем к периферии. Благодаря этому движению, вокруг ядра сосредотачиваются "символические" семы, определяющие представления пралогического и мифологического мышления, которые образуют своеобразные наслоения смыслов. Они создают вокруг соответствующих понятий "символическую ауру", которая во многих случаях осознается и современными людьми. Так или иначе, ее наличие подтверждается мифологической и этимологической реконструкцией.

Приведем пример: представления о солнце и луне как божествах (напр., этимологические соответствия – др.-инд. *suar* "солнце", но др.-инд. *sura* "бог"), глазах на небе, божественном челе (гот. *sauil* "солнце", но ирл. *suil* "глаз", лат. *luna* (**lux-na*) "луна", но валл. *llygad* "глаз"), человеке, мужчине или женщине (хинди *gham* "солнечное сияние", но лат. *homo* "человек"; др.-инд. *arka-*, арм. *arek* "солнце", но и.-е. **lar-* "мужчина"; хет. *arma* "луна", но **far* "мужчина") не исчезли из структуры современных понятий солнца и луны, но отошли из ядра на семантическую периферию (примеры из [Маковский 1996а]). Поэтому они вполне осознаются современными людьми, отражаются в их символах как продуктах творчества и в других проявлениях бессознательного.

ВСТРОЕННОСТЬ СИМВОЛА В СТРУКТУРУ МИФА

Идея встроенности символики в структуру мифа, а также других семиотических систем является важным достижением структурализма. Эта идея намечена уже в трудах Э. Кассирера. В философии символических форм он поставил целью изучение "грамматики" символической функции культуры и выводил смысл из "актуальности форм" [Cassirer 1957]. Символические формы – это структуры, наполняемые "функцией духа" – интеллектуальными символами. Такие формы обнаруживаются в разных "модусах": в языке, мифе, искусстве, религии, научном познании. Символы же, в которых отдельные дисциплины рассматривают и описывают действительность, представляют различные выражения одной и той же "фундаментальной духовной функции", это каждая отдельная "энергия духа", посредством которой наличному бытию придается определенное "значение", своеобразное идеальное содержание, и благодаря которой оно связывается с чувственным знаком и становится внутренне его частью. Однако, взгляды Кассирера – еще не структурализм, а скорее, формализм. Форма, по его мнению, автономна, и постигается имманентно, в процессе экспликации законов ее структурирования. При этом автономность становится "идолом" системы Кассирера, гласящей, что форма может быть понята только через самое себя.

Собственно структурный подход к символике – через миф – основал К. Леви-Строс. Он рассматривал символ уже не в плане замкнутой формы, а как "пучок" парадигматических отношений с символично-логическими значениями. Общеизвестно его описание мифологического мышления в терминах "бриколажа" – использования для означивания ограниченного набора "подручных средств", которые могут быть то означивающими, то означаемыми [Леви-Строс 1994]. Элементы мифологической рефлексии расположены на полпути между перцептами и концептами. Бриколаж подразумевает опосредование между образом и понятием знаком, точнее, замещение понятия знаком, что составляет особенность мифологического познания и логику первичного мышления. На основании этнографических данных Леви-Строс заметил, что весь предметный материал вписывается в бинарные оппозиции, расположенные на разных уровнях.

Теория поуровневых оппозиций стала основой изучения мифологической символики с

точки зрения структуры мифа. Мифология предстала одним из семиотических кодов для обозначения универсальных образов и идей. В этом отношении миф рассматривается как структура, каркас, арматура, наполняемая понятийными содержаниями. При этом вертикальные (парадигматические) оси с узловыми предметно-понятийными точками, репрезентирующими иерархию кодов (напр., вегетативный, зооморфный, антропоморфный, астральный, цветовой, числовой и т.д.), восходят к более общим и абстрактным идеям (либо в обратной иерархии, нисходят к бессознательным архетипическим образам), а горизонтальная (синтагматическая) ось представляет собой "морфологическую" структуру мифологического сюжета – общемифологическая цепь рождение–развитие–деградация–смерть или частномифологические цепи потерь космических или социальных ценностей и их приобретений, связанные между собой действиями героев [Пропп 1986].

Вся сложная структура представлений и понятий о мире в какой-либо культурной традиции может быть представлена с помощью "модели мира" ("образа мира", "картины мира") [Иванов, Топоров 1988, Цивьян 1990, Яковлева 1994]. Модель мира включает ряд классификаций, элементы которых одновременно коррелируют между собой как по-разному закодированные одни и те же понятия. Таким образом, одно и то же содержание может быть передано средствами растительного, животного, минерального, астрономического, кулинарного, абстрактного и т.п. кодов или же воплотиться в разные сферы деятельности – религиозно-юридическую, военную, хозяйственную и т.д. В мифологических структурах господствует "глобальный и интегральный детерминизм", возможно создание "концептуальных матриц" с "классификаторами" (животные, растения, первоэлементы и т.д.), организованных с помощью набора "операторов".

В этом свете символы можно рассматривать как классификаторы на определенной оси мифологической наррации: например, в общих трехчленных мифологических схемах вселенной рыбы служат основным зооморфным классификатором нижней космической зоны, крупные животные – средней, птицы – верхней космической зоны [МНМ 1988]. Отдельные классификаторы условно-символически описывают ситуацию и объединяются в целые комплексы, обнимают разные сферы бытия [Иванов, Топоров 1988].

Модели мира описывают основные космологические параметры, прежде всего, пространственно-временные. Отечественными культурологами были раскрыты особенности концептуализации пространства и времени мифологическим и научным (историческим) мышлением [Успенский 1994, Толстая 1991, Яковлева 1994, Лотман 1988, Топоров 1995а, б]. Отмечается повышенная иконичность и символичность пространственной лексики: например, оппозиции "верх–низ", "широта–узость", "даль–близость" способны к пространственной реализации абстрактных представлений, духовных, психофизических и подобных сущностей. Это пространство названо Е.С. Яковлевой "пространством инобытия" [Яковлева 1994]. Культурологов привлекают как индивидуальные образы пространства/времени как литературные, культурно-исторические и "психо-ментальные" феномены, так и пространство/время в качестве универсальных "архаичных" схем мифологического мышления [Топоров 1995а, б].

Практически всеми учеными отмечается пространственно-временной синкретизм, заимствования "пространственной" лексики временной сферой (ср. многочисленные метафорические проекции типа пространство–время Дж. Лакоффа). А.Я. Гуревич отмечает, что "временные отношения начинают доминировать в сознании [человека] не ранее XIII в. В предшествующий же период самое время воспринималось в значительной мере пространственно. Именно пространство, а не время было организующей силой художественного произведения" (цит. по [Яковлева 1994: 95]).

Мы полагаем, что универсальность переноса пространственной лексики на временную сферу имеет психологическое объяснение. Время является объектом аудиального восприятия, пространство же – объектом зрительного восприятия. Замечено, что аудиальное восприятие артикулирует свои образы с большим трудом, чем зрительное.

Вероятно, поэтому и отмечается такое количество пространственно-временных переносов. Эти переносы отражаются и в символах. Вот несколько примеров пространственно-временных и предметно-процессуальных переносов в поэтической символической: "море – вечность", "река – движение, жизнь" в "The Dry Salvages" Т.С. Элиота, "комната – неподвижность", "коридор – движение" в стихотворении "The Nature of an Action" Тома Ганна.

Культурологическое направление в изучении мифологии и символики не отрицает существование архетипов, хотя психоаналитическая основа их выделения пересматривается. По мнению Е.М. Мелетинского, внутреннее становление личности неотделимо от внешнего мира, жизненный путь человека отражается в мифах и сказках в плане соотношения личности и социума, личности и космоса не в меньшей мере, чем в плане конфронтации-гармонизации сознательного и бессознательного [Мелетинский 1994]. Культурология внесла свой вклад в исследование архетипических символов, таких как Мировое древо, Мировое яйцо, Мировая река, Мировая гора, человек-великан (Пуруша), из частей тела которого возникла вселенная, первопродок демиург – культурный герой, архетипическая оппозиция Космоса/Хаоса и их борьбы (смерть–Хаос–новое Творение–Воскресение), и др.

Наиболее плодотворным представляется комплексный подход к анализу символики, когда структурная мифология и этнография, с одной стороны, и лингвистический анализ внутренней формы слова (этимона), с другой стороны, взаимно корректируют и дополняют реконструкции друг друга. Например, О.Н. Трубачев, опровергая гипотезу о заимствовании языческого слова **raj* (ср. христианский рай) из иранского (ср. **ray* "богатство"), предположил его родство с **rojъ* и **reka*, т.е. связанность с течением, основываясь, в частности, на реконструированном мифе: "через водный поток, за которым находится "заречный" **rajъ*, перевозили мертвых". Трубачев достраивает мифо-лингвистические соответствия: **navъ* или **navъjъ*, которые объясняют преимущественно в связи с чешским, восходящие к **navъ* (убить), *unaviti* (убить, уморить), связаны с названием корабля: слав. *навъ*, лат. *navis*, ср. образ лодки перевозчика Харона. Также, возможно, это одновременное обозначение храма. Если храм – "дом мертвых", то **naus*, возможно, "корабль мертвых" [Трубачев 1991: 173–175].

Ученые-этнографы также делают точные лингвистические наблюдения, например, Ю.А. Шилов, говоря о человеческих жертвоприношениях, отмечает расчлененность, измельченность останков и фиксирует сходжение семантики и.е. **teg* "умирание" > др. инд. *tmati* "размалывание", и.е. **ter-* "тереть" > лит. *trupėti* "дробиться", слав. три, тризна, труп, возводя этот факт к обрядовому уподоблению жертвы зерну и разбрасыванию ее частиц по полю и мифологическому культу Думузи, Адониса, Пуруши, Диониса и т.п. [Шилов 1995: 138]: архетипический смысл – смерть: возрождение.

В аналогичном русле проводит свои исследования А. Голан, который верифицирует мифологическую цепочку "крест–птица Феникс–солнце" сходством этимонов: др.-рус. *крес* "оживание", *кресиво* "огниво", словенск. *кресити* "сверкать" и "оживлять", сербохорв. *крийес* "огонь, разводимый накануне Иванова дня" [Голан 1994: 102].

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СИМВОЛА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ КУЛЬТУРЕ И ПЕРЕКРЕСТ СИМВОЛОВ В КУЛЬТУРАХ РАЗНЫХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ

Ю.М. Лотман, занимавшийся исследованием символа в системе культуры, выделял, наряду с гносеологической функцией символа по чувственно-наглядному воплощению абстрактно-логических понятий и операций, функции сохранения в свернутом виде целых текстов (символ – "важный механизм памяти культуры") и интеграции разных пластов культуры в синхронном разрезе, создания "художественного языка" определенной эпохи [Лотман 1987].

Представленность символа в различных семиотических системах, таких как миф,

искусство, религия, литература, фольклор и др. каждой отдельной культуры и перекрест символов в культурах разных времен и народов отражается в большинстве таксономий символа. Нами были рассмотрены классификации символов в ряде специальных словарей символов: [Bauer et al. 1987, Biedermann 1989, Chevalier 1982, Cirlot 1971, Cooper 1986, Garai 1973, HDA 1915, Lurker 1983, Vries 1983, Perez-Rioja 1971]. Часть словарей классифицирует символы по одному или нескольким основаниям: "The Book of Symbols" Гараи дает таксономию англосаксонских символов, "Lexikon alter Symbole" Купера рассматривает древние символы, "Lexikon der Symbole" Бауэра делит символы на древние, индийские, символы американских индейцев, древнегреческие, христианские, сказочные, магические, астрологические, алхимические, символы таро и повседневные символы.

Другие словари, в частности, "Dictionnaire des Symboles" Шевалье, десяти томник "Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens", "Knaurs Lexikon der Symbole" Бидермана, "A dictionary of symbols and imagery" Эда де Вриса рассматривают языковые единицы во всем комплексе их символических значений. Рассматриваются цветовые, числовые, геральдические, вегетативные, минеральные, терiomорфные, и т.д. аспекты символики отдельных слов (понятий) в различных культурах и цивилизациях. Эти словари — результат совместной междисциплинарной работы историков, археологов, искусствоведов, музыковедов, филологов, психологов, религиоведов, фольклористов и т.д.

Широкая представленность символов в культуре обуславливает участие в их исследовании самых различных научных дисциплин. Существуют многочисленные научно-исследовательские институты, которые, каждый со своей стороны, изучают это многоплановое явление: это Варбургско-Кортолдский институт в Лондоне, занимающийся иконологией; Институт К.Г. Юнга в Цюрихе; Центр исследования воображаемого в Шамбери; Университет Мюнстера, исследующий средневековую символику; Институт Людвига Каймера (Базель), исследующий символику в ракурсе археологии и этнографии; Американская Академия средних веков в Кэмбридже (Массачусетс) и т.д.

Есть много символических обществ со своими печатными органами: это женевское "Общество символизма", выпускающее сборник "Cahiers internationaux de Symbolisme"; "Международное общество изучения символа" в США с журналом "International Journal of Symbolology"; "Общество научного исследования символа" с ежегодником "Symbolon. Jahrbuch für wissenschaftliche Symbolforschung"; бернское "Общество изучения символа", публикующее свои тезисы в сборнике "Symbolforschung", и др.

ОТНОШЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО К ЯЗЫКОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ И МЕСТО СИМВОЛА В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ

Вопрос об отношении символического к языковой реальности трактовался западной гуманитарной наукой в различных ипостасях: начиная от лингвистически ориентированного психоанализа Фрейда—Юнга с торжеством идеи языковой структуры бессознательного (т.е. символического) у Ж. Лакана [Лакан 1995]; структурной антропологии К. Леви-Строса, проводящего мысль о взаимовлиянии языка и символической функции (человек сначала превращает свое действие в объект, называя его, затем восстанавливает его в качестве символа для последующей номинации, поступательно чередуя действие и познание); логико-прагматического подхода в духе Л. Витгенштейна ("для распознавания символа в знаке нужно обращать внимание на его осмысленное употребление" [Витгенштейн 1994]); через попытки преодолеть "нелингвистическую природу символического" герменевтикой; вплоть до возвышения означаемого до уровня смыслопорождения в постмодернистской деконструкции. Все эти взгляды, многие из которых можно охарактеризовать как лингвоцентрические, достаточно убедительно показывают причастность символа к языковой реальности.

Признавая принадлежность символа к языковой реальности, западная наука разделяется во мнениях по поводу того, относить ли символ к уровню языка (т.е., кода)

или к уровню речи (т.е., реализации этого кода). С одной стороны, символы относятся к уровню языка как структурные составляющие бессознательного, налагающиеся на структурные составляющие сознания (означающие, языковые знаки) [Лакан 1995] или в качестве некоего универсального набора правил, организующих индивидуальный лексикон и позволяющих превращать его в сознательную речь (то, что К. Леви-Строс называл "символической функцией" [Леви-Строс 1994]). С другой стороны, символы принадлежат к уровню речи, дискурса как феноменологическое выражение языковой полисемии при условии, что контекст "не редуцирует потенциал значения до однозначного употребления", а реализует двусмысленность, "создавая взаимодействие между несколькими точками сигнификации" [Ricoeur 1969: 72]. Существует также еще одна, радикальная точка зрения относительно символа. Согласно этой точке зрения, символ предстает как совокупность всех контекстов, в которых встречается означаемое. Тем самым утверждается полная подчиненность означаемого означающему, которое обладает способностью "строить смысл" (Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Деррида, Ж. Делез, другие представители постмодернизма).

Наша позиция по поводу принадлежности символа к языку/речи такова: в структуре исходного значения слова (основного имени) имеются семы, составляющие его "символическую ауру". Эта аура носит древний, архетипический характер или обусловлена стереотипными для данной культуры ассоциациями. При актуализации имени в соответствующем контексте аура воплощается в переносном символическом значении. Возможно воплощение различных семантических слоев ауры, в этом случае в слове реализуются сразу несколько символических значений. Таким образом, с нашей точки зрения, символ принадлежит и языку, и речи.

В качестве резюме приведем выявленные нами возможности для лингвистического исследования символа: 1) Анализ семантических связей и точек корреляции прямого и переносного значения в символе. 2) Семный анализ символа в совокупности его значений. 3) Анализ этимона древних символов в комбинации с изучением его места в структуре мифа и реализуемых в нем архетипов. При этом, в виду представленности символа в различных культурных текстах, семантический, структурно-семиотический и этимолого-мифологический методы должны дополняться методом "филологической экзегезы", предлагаемым герменевтикой [Ricoeur 1976, Todorov 1982a], который предполагает направленную рефлексию в понимании текста с целью распрямления его смысла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аверинцев С.С.* 1968 – Символ художественный // Краткая литературная энциклопедия. М., 1968.
- Арутюнова Н.Д.* 1988 – От образа к знаку // Мышление, когнитивные науки, искусственный интеллект. М., 1988.
- Арутюнова Н.Д.* 1990 – Метафора и дискурс // Теория метафоры. М., 1990.
- Афанасьев А.Н.* 1982 – Древо жизни. М., 1982.
- Афанасьев А.Н.* 1994–1995 – Поэтические воззрения славян на природу. 1–3. М., 1994–1995.
- Винокур Г.О.* 1991 – О языке художественной литературы. М., 1991.
- Витгенштейн Л.* 1994 – Логико-философский трактат. М., 1994.
- Гегель Г.В.Ф.* 1938 – Сочинения. Лекции по эстетике. Том 12, кн. I. М., 1938.
- Гете И.В.* 1964 – Избранные философские произведения. М., 1964.
- Голан А.* 1994 – Миф и символ. М., 1994.
- Иванов В.В., Топоров В.Н.* 1988 – Индоевропейская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах. М., 1988. Т. 1.
- Кацнельсон С.Д.* 1965 – Содержание слова, значение и обозначение. М./Л., 1965.
- Косиков Г.К.* 1993 – Два пути французского постромантизма: Символисты и Лотреамон // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М., 1993.
- Лакан Ж.* 1995 – Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.
- Леви-Брюль Л.* 1994 – Сверхестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
- Леви-Строс К.* 1994 – Первобытное мышление. М., 1994.
- Лосев А.Ф.* 1976 – Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.

- Лосев А.Ф. 1994 – Дialeктика мифа // Миф. Число. Сущность. М., 1994.
- Лотман Ю.М. 1987 – Символ в системе культуры // Тартуский ун-т. Ученые записки. Вып. 754. – Тарту, 1987.
- Лотман Ю.М. 1988 – Художественное пространство в прозе Гоголя // В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
- ЛЭС 1988 – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1988.
- Маковский М.М. 1996а – Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. М., 1996.
- Маковский М.М. 1996б – Язык–миф–культура. М., 1996.
- Мантатов В.В. 1980 – Образ, знак, условность. М., 1980.
- Мелетинский Е.М. 1994 – Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов // Бессознательное. Многообразие видения. Новочеркасск, 1994.
- МНМ 1988 – Мифы народов мира. В 2-х тт. М., 1988.
- Никитин М.В. 1983 – Лексическое значение слова. М., 1983.
- Пропп В.Я. 1986 – Исторические корни волшебной сказки. М., 1986.
- Тайлор Э.Б. 1989 – Первобытная культура. М., 1989.
- Толстая С.М. 1991 – Аксиология времени в славянской народной культуре // История и культура. Тезисы. М., 1991.
- Топоров В.Н. 1995а – О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления // Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995.
- Топоров В.Н. 1995б – Вещь в антропологической перспективе (апология Плюшкина) // Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995.
- Трубачев О.Н. 1991 – Этногенез и культура древнейших славян: лингвистические исследования. М., 1991.
- Уилрайт Ф. 1990 – Метафора и реальность // Теория метафоры. М., 1990.
- Успенский Б.А. 1994 – История и семиотика // Семиотика истории. Семиотика культуры. Избранные труды. Т. 1. М., 1994.
- Фрейдберг О.М. 1978 – Образ и понятие // Миф и литература древности. М., 1978.
- Цапкин В.Н. 1994 – Семиотический подход к проблеме бессознательного // Бессознательное. Многообразие видения. Новочеркасск, 1994.
- Цивьян Т.В. 1990 – Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.
- Шилов Ю.А. 1995 – Прародина ариев: История, обряды и мифы. Киев, 1995.
- Юнг К.Г. 1991 – Архетип и символ. М., 1991.
- Якобсон Р. 1983. – В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983.
- Яковлева Е.С. 1994 – Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994.
- Bauer W. et al. 1987 – Lexikon der Symbole: Mythen, Symbole und Zeichen in Kultur, Religion, Kunst und Alltag. 2. Aufl. Munchen, 1987.
- Biedermann H. 1989 – Knaurs Lexikon der Symbole. Munchen, 1989.
- Cassirer E. 1946 – Language and myth. New York, 1946.
- Cassirer E. 1957. – The philosophy of symbolic forms. T. 2. New Haven, 1957.
- Chevalier J. 1982 – Dictionnaire des symboles: mythes, rêves, contumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. Paris, 1982.
- Cirlot J.E. 1971 – A dictionary of symbols. 2 ed. N.Y., 1971.
- Cooper J.C. 1986 – Lexikon alter Symbole. Leipzig, 1986.
- EDS 1986 – Encyclopedic dictionary of semiotics / Ed. by T.A. Sebeok. 1–3. Berlin, 1986.
- Frye N. 1965 – Symbol // Encyclopedia of poetry and poetics. Princeton (New Jersey), 1965.
- Frye N. 1973 – Anatomy of criticism. Four essays. Princeton (New Jersey), 1973.
- Garai J. 1973 – The Book of Symbols. London, 1973.
- Gentner D., Jeziorski M. 1993 – The shift from metaphor to analogy in Western science // Metaphor and thought, 2nd ed., Cambridge (Mass.), 1993.
- HDA 1915 – Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. 1–10. Berlin–Leipzig, 1915.
- Henry A. 1971 – Métonymie et métaphore. P., 1971.
- Hinderer W. 1968 – Theory, conception and interpretation of the symbol // Perspectives in literary symbolism. V. 1. The Pennsylvania State University Press. University Park; London, 1968.
- Jacoby M. 1969 – The analytical psychology of C.G. Jung and the problem of literary evaluation // Problems of literary evaluation. Yearbook of comparative criticism. V. 2. The Pennsylvania state university press. University Park; London, 1969.

- Jakobson R.* 1956 – Two aspects of language and two poles of aphatic disturbances // *Fundamentals of language*. The Hague, 1956.
- Lakoff G.* 1993. – The contemporary theory of metaphor // *Metaphor and thought*. Cambridge (Mass.), 1993.
- Lurker M.* 1983 – Wörterbuch der Symbolik. Stuttgart, 1983.
- Meyer B.* 1993. – Synécdoques. Étude d'une figure de rhétoriques. P., 1993.
- MPP* 1982 – Metaphor: problems and perspectives. Brighton–Atlantic Highlands, 1982.
- MT* 1993 – Metaphor and thought. 2nd ed., Cambridge (Mass), 1993.
- Perez-Rioja J.A.* 1971 – Diccionario de symbols y mitos. Madrid, 1971.
- Ricoeur P.* 1969 – The problem of double-sense as hermeneutic problem and as semantic problem // *Myths and symbols*. Chicago, 1969.
- Ricoeur P.* 1976 – Interpretation theory: discourse and the surplus of meaning. Fort Worth, 1976.
- Schofer R.* 1977 – Metaphor, metonymy and synecdoche // *Semiotika*, 1977. V. 21.
- Strelka J.* 1968 – Comparative criticism and literary symbolism // *Perspectives in literary symbolism*. V. I. The Pennsylvania State University Press. University Park; London, 1968.
- TM* 1983 – Theorie der Metaphor. Darmstadt, 1983.
- Todorov Tz.* 1982a – Symbolism and interpretation. Ithaca (N.Y.), 1982.
- Todorov Tz.* 1982b – Theories of the symbol. Ithaca (N.Y.), 1982.
- Vries Ad de.* 1983 – A dictionary of symbols and imagery. Amsterdam; London, 1983.
- Werner H., Kaplan B.* 1964 – Symbol formation. N.Y., London, 1964.
- Wheelwright P.* 1968 – The archetypal symbol. // *Perspectives in literary symbolism*. V.I. The Pennsylvania State University Press. University Park; London, 1968.

РЕЦЕНЗИИ

Т.А. Репина. Сравнительная типология романских языков (французский, итальянский, испанский, португальский, румынский). С.-Петербург. Изд-во С.-Петербургского университета. 1996. 279 с.

Один из классиков романистики прошлого века сказал, что перед этой наукой стоит двоякая задача: показать отличия романских языков от языков других групп и различия между романскими языками. Сравнительная типология должна, следовательно, выявить специфическую общность романских языков и различия между ними, т.е. соотношение общего и особенного в мире романских языков. В отечественной романистике были исследования подобного рода. Так, в книге [Катагощина, Вольф, Лухт, Гурычева 1972] убедительно показывается, что несмотря на значительные расхождения и специфические черты, романские языки проявляют структурную общность, особенно в свете морфологии и синтаксиса. Рецензируемая книга Т.А. Репиной, задуманная как университетский учебник, обращаясь к этой общей проблеме, ставит несколько иные задачи. В этой работе подчеркивается ономаσιологический аспект в сопоставительном исследовании, при котором выявляются сходства и расхождения в способах передачи семантических языковых универсалий в разных языках. Такой подход при изучении родственных языков особенно интересен. Обычно в сопоставительных, сравнительно-типологических исследованиях разносистемных языков вопрос о структурной общности отходит на второй план. При сопоставительном анализе родственных языков нередко выявляется, что различие между ними состоит в том, что одна и та же тенденция в разных языках достигает различного этапа в своем развитии. Именно общность тенденции лежит в основе структурной общности данной языковой группы, тогда как различия в ее реализации обуславливают разнообразие входящих в эту группу языков. При этом оказывается возможным наглядно показать то специфически новое, что вносит данный язык в решение соответствующей коммуникатив-

ной или структурной задачи, а также степень удаленности родственных языков друг от друга.

Автор преследует, таким образом, двоякую цель: определить структурный тип и структурную общность романских языков и вместе с тем выявить особенности вербального мышления носителей этих языков, их языковую реакцию на явления и отношения объективного мира. Книга разделяется на две части. В первом разделе исследуются различия в системах романских языков и проблема общности их структурного типа. Здесь сопоставляются именные и глагольные системы пяти крупнейших романских языков: французского, испанского, итальянского, португальского, румынского. Попутно затрагиваются существенные вопросы других звеньев грамматической системы этих языков: местоимений, проблем синтаксиса. Основным методом анализа является сопоставление переводов с одного романского языка на другой, используются также сравнения с латинским и русским языками. После анализа грамматических категорий имени и глагола дается обзор соответственно именных и глагольных систем в их отношениях к структурному типу языка.

Второй раздел менее традиционен. В нем рассматриваются некоторые особенности отражения положения вещей в реальном мире, прежде всего различия "человек/вещь", а также количественные, пространственные, временные и посессивные отношения. Здесь большее внимание уделяется лексическим явлениям.

В плане категории рода существительных автора интересует прежде всего проблема идентификации рода у существительных неодушевленных. Он приходит к выводу, что в потоке речи в именной группе род маркирован в итальянском языке в 90–92% всех случаев, в испанском и португальском – в 70–75%, в румынском – в 50–55%, во фран-

цузском – в 30–35%. В этом отношении французский и румынский языки оказываются на периферии романской общности. Основными идентификаторами в первых трех языках являются окончания слова, во французском – некоторые суффиксы, в румынском – окончание женского рода, связанное с категорией числа. Французский язык рассматривается только в его устной форме. Во всех языках мира грамматические формы в письменной и устной речи могут не совпадать (например, у слова *книга* на письме различаются пять падежных форм, а в устной речи – четыре), но во французском языке расхождение между устным и письменным кодами дошло до такой степени, что в этом языке следует различать две морфологии: морфологию устной и морфологию письменной речи. В сфере выражения категории рода и числа первая характеризуется аналитизмом (неизменяемостью слова), второй свойственны приемы агглютинации. Автор ограничивался устным кодом французского языка. Однако письменный код, орфография языка являются также фактами вербального мышления носителей языка, в языковом сознании которых присутствует и графическая форма слов и форм. Если учитывать и графическую форму французских слов (что особенно важно в учебных целях, поскольку, в отличие от носителя языка, иностранный учащийся нередко знакомится в первую очередь с графической формой слова), то число идентифицируемых в отношении рода имен резко повысится, тем более, если наряду с суффиксами обращаться к словообразовательным связям. Возьмем небольшой фрагмент: существительные с исходом на [i]. Они могут иметь три графических оформления: "чистое" *-i*, *-i* с немим гласным (только *-ie*), *-i* с непронизосимым согласным (*-it*, *-is*, *-id* и др.) В первом случае все имена – мужского рода (в частности, отглагольные имена типа *oublie* <*oublier*, *ennui* <*ennuyer*), кроме двух исключений: *fourni*, *merci*. Во втором – все имена женского рода, в том числе с суффиксами *-ie*, *-erie* (кроме *incendie* и некоторых слов естественного рода, обозначающих лиц мужского пола: *un imple*, *génie*, *messie*, *sosie*). В третьем случае все слова – мужского рода, в том числе с собирательным суффиксом *-is* (*ramassis*); исключения составляют *souris*, *nuit*, *perdrix*, *brebis* (последнее слово – "овца" – имеет естественный род). Итак, на несколько сот слов приходится только шесть реальных исключений, если учитывать и письменный код, который является психологической

реальностью для носителя языка. Следует отметить, что при анализе родовых показателей португальского языка автор считает целесообразным ориентироваться и на графический облик слов.

Было бы, однако, интересно, в плане сопоставления вербального мышления носителей разных языков, сравнить и способы выражения реального, естественного рода. Форма выражения рода влияет и на способ образования номинаций лиц по полу. Так, выражение рода окончаниями облегчает в испанском языке формирование таких номинаций, и суффиксальным или супплетивным формам французского языка в нем соответствуют наименования, различающиеся лишь родовым окончанием. Это проявляется и в терминах родства. Ср. франц. *oncle/tante* и исп. *tío/tía*; *frère/sœur* и *hermano/hermana*. В испанских диалектах вместо *yerno/nuera* "зять/невестка" отмечены формы *yerno/yerna* или *nuero/nuera*, т.е. обобщается указанный выше прием. Ср. также: *pintor/pintora*, *pastor/pastora*, *ingenier/ingeniera*, – аналогичные формы женского рода отсутствуют во французском языке.

В сфере категории числа сопоставляется, напротив, реальное число (учисляемых существительных), тогда как формальное число (например *plurality tantum*) остается в стороне. Во французском языке принимается во внимание только устный код, хотя различия между двумя морфологиями здесь еще более значительны, чем в категории рода: в устном французском тексте множественное число выражается в 2% всех случаев, в письменном – в 90%. По способам выражения числа романские языки дают больший разброс, чем в области грамматического рода: французский устный проявляет аналитизм, испанский и португальский (к ним можно было бы добавить и французский письменный) – агглютинацию, итальянский и румынский – флексию (в последнем она сопровождается часто и внутренней флексией).

Имя существительное по-разному оформляется в различных языках в синтаксических функциях подлежащего, прямого и косвенного дополнений. Французский, итальянский, португальский языки оформляют подлежащее и дополнение без предлога, тогда как косвенное дополнение оформляется с помощью предлога. Им противопоставит испанский язык, в котором косвенный одушевленный объект оформляется предлогом *a*, и румынский язык, где такой же объект сопровождается предлогом

ре и дублируется приглагольным местоимением. Местоименная реприза объекта при его препозиции глаголу характерна для всех романских языков, но в румынском она более грамматизирована. В области местоименной репризы, которая является общей характерной чертой романских языков, каждый из них имеет свою специфику, что отмечается в книге.

Рассматривая категорию детерминации, автор останавливается на различиях в объеме группы артиклей в романских языках и возможности их элизии и слияния с предлогами. Наиболее многочисленны слитные формы в португальском языке, наименее – в испанском и румынском. Частичный артикль и неопределенный множественного числа имеются только во французском и итальянском языках: формы типа исп. *unos* и рум. *niste* в число артиклей автор не включает. Подробно изучается интересный вопрос о совместимости артиклей с детерминативами и детерминативов между собой. Автор касается известного дискуссионного вопроса о статусе артикля среди частей речи. Он склонен разделять точку зрения тех зарубежных и отечественных ученых, которые считают, что артикль не представляет собой части речи и не должен включаться в часть речи детерминативов, но рассматриваться как выразитель категорий имени. Но вопрос заключается в том, что части речи – это классы слов, как знаменательных, так и служебных. Классификация должна быть всеобъемлющей, т.е. любой элемент языка, признаваемый как слово (знаменательное или служебное), должен найти в ней свое место. Таким образом вопрос сводится к тому, является ли артикль отдельным от имени словом (пусть даже служебной частицей) или он представляет собой часть словоформы существительного. Это, в свою очередь, ставит вопрос о границах существительного. Если признать артикль частью существительного, то образования типа *au bois, du bois, par le bois* придется интерпретировать как формы склонения имени. Романские словари считают артикли особыми словами. Следовательно, они должны найти свое место в инвентаре частей речи. Они могут рассматриваться как особая часть речи или включаться в разряд детерминативов, с которыми их объединяют семантические, морфологические и дистрибутивно-синтаксические свойства. Особым образом обстоит дело в румынском языке, где определенный артикль является морфемой в корпусе слова, а неопределенный представляет собой отдельное служебное

слово. Но это – специфический случай, встречающийся и в других языках, когда парадигматические отношения устанавливаются между служебным словом и морфемой.

Несмотря на тщательно рассмотренные различия, автор устанавливает структурную общность именных систем разных романских языков. Основной чертой, объединяющей романские именные системы, автор считает выражение грамматических значений в синтаксической группе имени и централизацию грамматических характеристик в начале этой группы, преимущественно в форме артикля, причем постпозитивный румынский определенный артикль перемещается от существительного к препозитивному прилагательному (не является ли это свидетельством того, что артикль в конечном счете принадлежит не слову, а именной группе, выражая прежде всего синтаксические, а не морфологические значения?).

В главе о глаголе последовательно рассматриваются глагольные категории. В параграфе о наклонении интересно наблюдение о презумптиве. В западороманских языках предположительность выражается транспозицией форм будущего времени в план настоящего или прошедшего, либо особым употреблением кондиционалиса. В румынском языке, наряду с этими средствами, существует особая предположительная аналитическая форма, созданная на основе герундия. Это дает основание для выделения презумптива в этом языке в особое наклонение. Может быть, развитие специальных форм выражения неочевидности в румынском языке можно сопоставить с развитием аналогичных по значению (но не по форме) структур в болгарском языке.

Если румынский проявляет специфику в отношении косвенных наклонений, то итальянский – в сфере залога, употребляя пассивные формы с глаголами движения (*andare, venire*) для подчеркивания процесса достижения результата. Это своего рода пассивный коррелят к устаревшей французской конструкции *aller + герундий*.

Видо-временная система романских языков рассматривается одновременно на уровне форм и значений. В первом аспекте обращает на себя внимание асимметрия простых и сложных форм в румынском языке, где нет сложного плюсквамперфекта: он восходит к простому плюсквамперфекту латинского конъюнктива. Кроме того оба будущих времени в этом языке – сложные (глагол "хотеть" + инфинитив). Отмечается

малая коммуникативная значимость сложного претерита (типа франц. *il eut fait*), который совсем исчез из французской разговорной речи и из парадигмы португальского языка. Но в семантическом отношении сложные временные формы всех языков характеризуются синкретичным совмещением относительного временного значения и видового значения совершенности. Все же значительная роль сложных временных форм в романских языках позволяет видеть в них проявление единства структурного аналитического типа, отличающего эти языки от синтетического латинского прототипа.

Во втором разделе книги, как отмечалось, сравниваются лексико-грамматические микросистемы, отображающие в исследуемых языках реакцию на объекты и отношения внеязыкового мира. Прежде всего рассматриваются языковые формы, различающие человека и предмет (вещь). В русском языке эта оппозиция проявляется в употреблении падежных форм мужского рода, тогда как в системе местоимений различие это не находит выражения. В романских языках, напротив, существительное лишено грамматической категории одушевленности/неодушевленности, которая зато находит многообразное отображение в системе и функционировании местоименных форм. Причем, если неударные (приглагольные) местоимения безразличны к этой оппозиции, то самостоятельные местоимения в каждом языке по-своему фиксируют ее. Прослеживается релевантность этой смысловой категории в группе вопросительных и неопределенных местоимений. Во всех языках, кроме французского, выработаны специфические местоименные формы вежливости.

Романским языкам свойственна асимметрия в обозначении человеческого существа по полу и по его социальной функции. Так, во французском языке слово *homme* обозначает и человека вообще, и мужчину в противоположность женщине (*femme*). В свою очередь *femme* обозначает и женщину вообще и жену, в отличие от незамужней женщины. Это далеко не единственные случаи во французском языке, когда один и тот же термин обозначает и множество в целом, и часть этого множества. Различия людей по полу и по возрасту по-разному отражаются лексически в романских языках, и автор делает здесь интересные наблюдения. Далее изучается обозначение возрастов в сравниваемых языках. Как известно, это одна из труднейших лексикологических проблем,

так как жестких границ между обозначением возраста нет, каждый язык устанавливает здесь свои грани. Тем не менее в книге приводятся интересные таблицы возрастных обозначений, составленные на основе словарей и анализа текстов. Любопытно, что общее обозначение ребенка (например, в значении "у нее двое детей") существует только во французском и румынском языках, тогда как в испанском и итальянском языках используются в качестве гиперонима слова, которые в первичном значении означают "сыновья". Автор делает интересное наблюдение, что в вербальном мышлении носителей французского и других романских языков сорок лет рассматривается как переломный "канонический возраст", вхождение в старость. К приводимым примерам можно было бы добавить, что в романских языках имеются особые обозначения возрастов от 40 до 100 лет: франц. *quadragénaire*, *octogénaire*, *centenaire*, которые особенно употребительны, когда нужно указать на пожилой возраст (возможно, в старину и сорокалетний возраст считался уже довольно глубоким). Также оригинальны наблюдения автора над обозначением нечленимой и членимой совокупности людей в романских языках. Во французском и итальянском языках одна и та же лексема (*gens*, *gente*) может выполнять обе функции, в испанском и португальском языках эти функции различаются морфологией слова (*gente*, *gentes*), в румынском — двумя лексемами (*lume* — *oameni*). Автор касается и практически важного вопроса о распределении лексем со значением "несколько" в их отношении к количественной оценке (франц. *quelques/plusieurs*), здесь романские языки дают различные типологические решения.

Заслуживают внимания наблюдения, касающиеся различного отражения локализации события во времени и в пространстве. Рассматриваются такие вопросы, как направленность перемещения в пространстве (здесь отмечается меньшая тавтологичность средств обозначения во французском языке, в котором обороты типа "вышел наружу" менее частотны, чем, например, в испанском), локализация взаимного расположения движущихся объектов, где романские языки проявляют тенденцию к употреблению переходных глаголов типа франц. *suivre*, *précéder*, а также способы локализации во времени в зависимости от тонкального или некального плана. Специально сопоставляются способы членения суток, которые весьма своеобразны в романских язы-

ках. Здесь, как и в сфере обозначения возрастов, невозможно провести четкие разграничения даже внутри одного языка.

Последний параграф книги посвящен выражению притяжательных отношений, которые отличаются большой спецификой в романских языках, особенно в сфере обозначения отделимой или неотделимой принадлежности. Французский язык в большей степени вербально различает эти ситуации, нежели другие романские языки. По-разному используется форма числа существительного для выражения дистрибутивно-притяжательных отношений.

Проведенный сопоставительный анализ убедительно подтвердил целесообразность сопоставления родственных языков не только в общих звеньях их систем, но и в микросистемах, в способах выражения частных понятийных категорий, в специфике языковой реакции на объекты и отношения внесязыкового мира. Это особенно важно в свете практического изучения языков: благодаря таким сопоставлениям получает материальное воплощение то, что называют "чувством языка". Педагогическая направленность книги подчеркивается наличием иностранно-русских словарей, включающих лексику многочисленных приводимых цитат.

Исследование Т.А. Репиной показывает, что по общности приемов, используемых в решении определенной коммуникативной

задачи, романские языки образуют различные конфигурации. В отношении выражения рода французский язык противопоставит всем остальным, в средствах выражения множественного числа испанский и португальский противопоставят итальянскому и румынскому языкам. В области форм артикля французский и итальянский отличаются от трех других. Предложное оформление прямого объекта отделяет испанский и румынский от остальных. Соотношение синтетических и аналитических форм глагольного времени выделяет румынский язык из общей группы. В других случаях французский и румынский противопоставлены средиземноморским языкам и т.п. Но это разнообразие есть разнообразие внутри единства, не нарушающее структурно-семантическую типологическую общность романских языков. Книга Т.А. Репиной подтверждает большой теоретический и практический интерес подобного сопоставления родственных языков и побуждает к продолжению подобных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Катагощина Н.А., Вольф Е.М., Лухт Л.И., Гурычева М.С.* 1972 – Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков. Проблема структурной общности. М., 1972.

В.Г. Гак

Контактологический энциклопедический словарь-справочник. Выпуск I: Северный регион. Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в контактах с русским языком / Отв. ред.: сост. В.М. Паськин. М.: Изд-во «АЗЪ». 1994. 320 с.

"Контактологический энциклопедический словарь-справочник" – первый в нашем языкознании труд такого жанра, подготовленный большим и весьма квалифицированным научным коллективом. Это ученые академических институтов РАН – Института русского языка, Института лингвистических исследований, Института языкознания, Института славяноведения и балканистики, а также языковедческих кафедр факультета народов Крайнего Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, институтов и научных центров Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Основным объектом лингвистической контактологии является, как пишут авторы: "Описание взаимоотношений между языками в пространстве, результатов контактирования двух или нескольких языков на ши-

роком культурно-историческом фоне жизни сопредельных народов" (с. 5). Лингвистическую контактологию современные ученые выделяют в особую отрасль языкознания.

Рецензируемый Выпуск I (Словарь) посвящен исследованию контактных связей языков народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с русским языком и состоит из трех разделов: I. Вводная часть; II. Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в контактах с русским языком; III. Контактные языки на русской основе. В нем содержатся материалы взаимодействия русского языка с более 30 самобытными языками: палеоазиатскими, тунгусо-маньчжурскими, тюркскими языками, языками самодийской и финно-угорской народностей и др. В выпуске представлены также материалы бурятско-русских, якутско-русских, корело-русских языковых контактов. Вклю-

чение таких новых государственных языков, как бурятский и якутский, авторы мотивируют тем, что они функционируют в изучаемых полиэтнических регионах Севера и Сибири и тесно взаимодействуют с другими языками на своих территориях, что влияет также на взаимоотношения всех языков с русским.

В Словаре разработаны в виде самостоятельных статей следующие языковые связи: алеутско-русские (Е.В. Головки), бурятско-русские (Д.Д. Санжина), вепско-русские (Н.Г. Зайцева), долганско-русские (Н.М. Артемьев, А.А. Петров), ительменско-русские (А.П. Володин), карело-русские (Н.Н. Мамонтова), керекско-русские (А.П. Володин), кетско-русские (Г.К. Вернер), корякско-русские (А.Н. Жукова, А.Н. Бадаев), мансийско-русские (Д.В. Герасимова), нанайско-русские (Л.А. Сем, Ю.А. Сем), нганасанско-русские (Е.А. Хелимский), негидальско-русские (И.В. Недялков), ненецко-русские (М.Я. Бармин), нивхско-русские (Ч.М. Таксами), орокско-русские (Л.И. Сем), оро-русские (А.Х. Гирфанова), саамско-русские (Г.М. Керт), селькупско-русские (А.И. Гашилов), тафаларско-русские (В.И. Рассадин), удэгейско-русские (А.Х. Гирфанова), ульчско-русские (Л.И. Сем), хантыйско-русские (Н.А. Лыскова), чукотско-русские (А.Н. Жукова), эвенкийско-русские (Н.Я. Булатова, Ю.Д. Сверчкова), эвенко-русские (А.Л. Мельчуков, А.А. Петров), энецко-русские (И.П. Серокина), эскимосско-русские (Н.Б. Бахтин), ютско-русские (Г.К. Вернер), юкагирско-русские (И.А. Николаева), якутско-русские (Н.Г. Самсонов).

Многие из этих языков до сих пор не подвергались научному описанию или не были предметом научного анализа с различных точек зрения. В работе над Словарем использована собственная картотека авторов, собранная ими в различных экспедициях. Авторы являются носителями языков, которые они в течение длительного времени описывают, исследуют. Кроме того, некоторые из них работают преподавателями-практиками. Все это имеет большое значение для сбора материалов и квалификации его обработки.

Значительная часть материалов по ряду языков впервые вводится в научный обиход. Ценным является разработка материалов по бесписьменным языкам. Эти материалы во многих случаях специально собирались для данного Словаря. Они вносят новые факты в науку по каждому языку, а также по своей интерпретации. В Словаре эти данные – первое истолкование, первое научное осмысление. Это, разумеется, во всех случаях тре-

бовало определения места каждого явления в системе известных элементов языка.

Взаимодействие всех языков с русским описывается по единой (типовой) схеме, разработанной составителями. Это облегчает пользование словарем, помогает быстро обнаружить необходимую читателю информацию.

Схема описания языков состоит из шести блоков:

I. А. Язык. Название. Краткая генеалогическая и типологическая характеристика. Дialectы. Говоры.

Б. Народ. Численность носителей. Расселение. Первые памятники письменности.

В. Современный алфавит. Графическая основа. Состав букв. Краткие сведения из истории создания алфавита. Специфика фонетики национального языка (языка народности, этнической группы) в сравнении с русским (состав гласных и согласных фонем, основные фонетические закономерности). Характеристика грамматического строя языка в сравнении с русским языком (наиболее существенные отличительные черты). Специфика словообразования.

II. Национально-русские (славянские) лингво-культурные связи (в историческом аспекте). Периодизация с краткой характеристикой результатов контактов в области лексики, грамматики, словообразования.

III. Характеристика советского периода контактов. Распределение функций родного и русского языков (области применения). Другие особенности функционирования национального языка (языка народности, этнической группы) в социолингвистическом и собственно лингвистическом плане. Проблемы и перспективы. Отражение результатов контактирования с русским языком (лексика, грамматика, словообразование, терминология, стилистика). Отражение результатов контактов в процессах калькирования и клиширования. Явление интерференции при контактах с русским языком. Речевые особенности контактной зоны. Наиболее типичные отклонения от норм в русской речи носителей родного национального языка. Национальный "акцент" русской речи нерусских. Взаимосвязи в области топонимики и ономастики.

IV. Культурологический аспект. Описание сфер культурных контактов: художественная литература, наука, искусство, театр, кино, телевидение, периодика и т.д. – в языковедческом плане. Переводная литература. Специфика отражения в ней контактных культурноязыковых явлений. Контакты в области распространения произведе-

дений устного народного творчества. Возможные контактные явления в области символики, обрядности и т.п. и их отражение в языке.

V. Роль русской лингвистической мысли в разработке теории национального языка и грамматики. Основные труды: а) по национальному языку (языку народности, этнической группы); б) по национально-русским культурно-языковым связям.

Единая схема способствует компактно и экономно охарактеризовать взаимодействие каждого языка с русским. При этом она нисколько не мешает свободно обогащать ее новыми данными, не предусмотренными в структуре схемы.

Предложенная составителями схема достаточно последовательно реализована при описании всех языковых контактов. Так, статья "Алеутско-русские языковые связи", написанная Е.В. Головки, содержит следующую информацию:

1) Численность алеутов, расселение, демографическая ситуация, диалекты, число говорящих на языке. Алеутский язык входит в эскимосско-алеутскую семью языков. В настоящее время алеуты живут на территории двух государств: США и России. Подробно описано расселение алеутов на территории этих государств.

2) В работе даются исторические сведения об алеутах. Рассматриваются контакты с русскими; определяется время заселения территорий. В 19 веке появилось постоянное алеутское население на Командорских о-вах. В 20 веке имели место два насильственных переселения больших групп алеутов. Последнее по времени насильственное переселение было предпринято в конце 60-х гг.

3) Создание письменности. Школьное преподавание...

Алеутский язык на Командорских о-вах до сих пор остается бесписьменным.

В настоящее время разработан и готовится к выпуску в издательстве "Просвещение" "Алеутско-русский и русско-алеутский учебный словарь".

4) Влияние русского языка на алеутский. Рассматриваются лексические заимствования, их фонетическое освоение, частеречная принадлежность заимствованных слов, влияние в области морфологии и синтаксиса. Отмечено несколько случаев влияния русского языка на беринговский диалект в области морфологии. Языковая игра, базирующаяся на тотальном двуязычии и свободном переключении кодов, выступает как характерная черта алеутского фольклора. Степень влияния русского языка на алеут-

ский. Особенности русской речи алеутов.

В области грамматики самое заметное интерференционное явление в русской речи алеутов – употребление алеутского *pluralia tantum* вместо русского ед. числа.

Из интерференционных явлений в области синтаксиса следует отметить прежде всего случаи алеутского глагольного управления в русских предложениях.

В библиографии содержится богатая литература по алеутскому языку и по алеутско-русским контактам. Она включает 16 наименований на русском языке, а также на иностранных языках. При этом учтена и новейшая литература.

На шести страницах дается огромная и разнообразная информация, строго упорядоченная в словарных статьях.

Таким образом, читатель получает хорошо проверенные сведения, разбросанные в различных изданиях, мало доступных для многих.

Однако информативность статей в Словаре неодинакова. Это зависит и от научной разработанности того или иного лексикографуемого языка и от объема статьи. Так, статья о бурятско-русских языковых связях весьма содержательна, но из-за большого объема (13 с.) выглядит рыхло: много лишних подробностей, явно нарушающих общую картину. То же самое следует сказать о статье, посвященной якутско-русским языковым контактам.

В целом же различные типы информации в статьях, на наш взгляд, правильно и корректно дозированы и даются в приемлемой пропорции. В необходимой степени унифицирована подача информации в статьях, способы описания языков, использование терминологии по контактологии и другим научным дисциплинам, имеющим отношение к описываемым в Словаре объектам.

В особом разделе (III часть) рассматриваются контактные языки на русской основе. Здесь авторы отмечают, что "в конце 1950-х годов в лингвистике возникла новая дисциплина **креолистика**, занимающаяся изучением **контактных языков**". "При этом среди лингвистов других специальностей подчас бытует мнение, что **пиджины** и **креольские языки** возникли исключительно на базе западноевропейских языков: английского, французского, испанского, португальского" (с. 279). Далее справедливо утверждается, что "**ряд пиджинов** возник и на русской лексической основе..." (с. 279).

Уместно излагаются основные положения креолистики. Важными являются

соображения авторов о путях возникновения креольских языков. В частности, они пишут: «Обязательное условие полной креолизации – использование вторым поколением носителей развивающегося контактного языка как родного. После превращения пиджина в креольский язык словарь и грамматическая структура окончательно стабилизируются. Возникший креольский язык по своим характеристикам в принципе не отличается от языков, возникших "обычным путем"» (с. 281).

Раздел "Контактные языки на русской основе. Общие сведения" (авторы В.И. Беликов, Е.В. Головки) содержит исключительно ценный и новый материал по креолистике.

Убедительно звучит итоговое утверждение авторов: "...в настоящее время можно с уверенностью говорить о нескольких контактных языках, в процессах формирования которых участвовал русский:

1. Русско-норвежский...; 2. Русско-китайский (несколько этнолектов); 3. Таймырский пиджин; 4. Язык алеутов острова Медный..." (с. 285). В Словаре эти креольские языки охарактеризованы достаточно четко и подробно, но и компактно. В описании пиджинов использована та же схема, которая применялась при характеристике типов национально-русского двуязычия народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Таким образом, подводя итоги, следует

подчеркнуть, что первый опыт создания контактологического словаря-справочника является удачно завершенным лексикографическим трудом, который содержит ценные сведения в области взаимодействия, тесных контактов между языками народов Севера, Сибири, Дальнего Востока и русским языком.

В Словаре собран, удачно систематизирован огромный научный материал, касающийся возникновения и развития языковых контактов, функционирования языков в двуязычной среде, истории народов, формирования креольских языков на базе русского языка.

В значительной своей части Словарь является новым, так как материал собран авторами словарных статей на местах проживания носителей исследуемых языков. Научная компетентность составителей словаря не вызывает сомнения. Авторы его – известные ученые и практики. Многие из них – носители конкретных языков.

Рецензируемый Словарь может служить надежным справочником, способен удовлетворять потребности филологов, фольклористов, этнографов, демографов, историков и других специалистов.

А.Н. Тихонов

Национальные лексико-фразеологические фонды / Отв. ред. Ф.П. Сороколетов. СПб.: Наука. 1995. 221 с.

Рецензируемый сборник статей подготовлен на основе докладов, сделанных участниками Всесоюзной конференции, посвященной 100-летию Словарной картотеки Института русского языка РАН. О работе конференции было рассказано в "Вопросах языкознания" [Сергеев 1987].

Известно, что картотеки источников имеют огромное значение при подготовке самых разнообразных лингвистических работ. При составлении словарей роль картотеки первостепенна [Рогожникова 1971]. Самая большая картотека слов русского языка находится в Институте лингвистических исследований РАН Санкт-Петербурга. Ее материалами пользуются ученые России, ближнего и дальнего зарубежья.

Сданный в издательство "Наука" еще в 1988 г. сборник статей "Национальные

лексико-фразеологические фонды" и в настоящее время представляет безусловный интерес для читателя. Статьи сборника отражают состояние самых разнообразных картотек и многоаспектной лексикографической работы как в России, так и в бывших республиках Советского Союза. Все без исключения статьи содержательны, ценны в теоретическом и практическом отношении. Авторы показывают всю сложность создания картотек, трудоемкость создания словарей разных типов. К сожалению, из-за продолжительного издательского цикла сборника статей многие авторы не увидели своих работ, не увидели содержательного коллективного труда. Ушли из жизни такие известные ученые, как Н.З. Котелова, Ю.С. Сорокин, Л.Л. Кутина, Г.Г. Мельниченко, В.А. Гречко, Л.П. Калакуцкая, Э.В. Кузнецова. Своими теоретическими статьями и

подготовленными словарями они внесли существенный вклад в лексикографию.

Пока рецензируемый труд находился в издательстве "Наука" 100-летний юбилей картотеки был отмечен сборником статей "Практическая лексикография" [Рогожникова 1989] и словарями, о которых шла речь на Всесоюзной конференции [Рогожникова 1990-1991].

В сборнике представлено 44 статьи. Их условно можно объединить в несколько групп. Одну из них представляют работы, посвященные словарным картотекам Института русского языка РАН. В этой группе прежде всего выделяется обстоятельная статья Р.П. Рогожниковой "Большая картотека Словарного отдела за 100 лет", которой открывается рецензируемый сборник. Автор рассказывает об истории создания картотеки, дает характеристику ее современному состоянию и ближайшей перспективе. Справедливо отмечается важность работы с источниками при создании любой словарной картотеки. Этот вопрос волновал еще Я.К. Грота, широта и разнообразие материалов уже на первых порах использовались при работе над "Словарем русского языка" под редакцией Я.К. Грота и, особенно, в последующей редакции А.А. Шахматова

Как отмечает Р.П. Рогожникова, важным моментом в работе картотеки явилось создание Инструкции для выборщиков картотечных материалов, автором которой была Е.С. Истрина. В статье отмечается важность Большой словарной картотеки при создании академических словарей русского языка: "Словарь современного русского литературного языка" в 17-ти томах, "Словарь русского языка" в 4-х томах, "Словарь синонимов русского языка" в 2-х томах, словарь-справочник "Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка" и др. Большую словарную картотеку использовали при создании "Словаря русских народных говоров", "Словарей новых слов", "Словаря русской фразеологии". В статье поднимается вопрос об автоматизации работ картотеки, отмечается, что уже проводится большая работа по полной обработке текстов источников на ЭВМ.

Статья Г.Н. Лукиной посвящена картотеке "Словаря древнерусского языка XI-XIV вв.", служащей базой для лексикологических исследований. В ней не только раскрываются принципы подготовки этой картотеки и ее использование при написании Словаря, но и намечаются дальнейшие пути научной разработки богатейшего фонда древнерусской лексики и фразеологии.

Уникальной картотеке древнерусского словаря, ее истории посвящена статья Л.Ю. Астахиной, в которой, кроме того, дается характеристика теоретических исследований, выполненных на базе этой картотеки, показаны причины обращения ученых к хранящимся в ней лексико-фразеологическим материалам.

Большой интерес представляет и статья З.М. Петровой о картотеке "Словаря русского языка XVIII века", превратившейся, по словам автора статьи, "в результате собирательской работы в уникальное собрание лексических материалов по русскому языку одного из важнейших периодов его формирования на национальной почве" (с. 147). Важным моментом статьи является утверждение, что эта картотека может в дальнейшем обеспечить развитие русской исторической лексикографии и лексикологии в самых разнообразных аспектах.

Картотеке "Словаря русских народных говоров" посвящена статья И.А. Попова "Хранилище русского народного слова". Автор отмечает сложный путь формирования и накопления материалов, который прошла картотека. По своему содержанию эта картотека "может быть названа энциклопедией жизни русского народа, его материальной и духовной культуры, отраженной в языке" (с. 150). И.А. Попов обращает внимание на пополнение картотеки на основе не только традиционных, но и новых методов с применением ЭВМ.

В этой группе особо выделяются теоретически и практически значимые для дальнейшей судьбы Большой словарной картотеки русского языка статья А.Н. Тихонова "Какой должна быть центральная словарная картотека?" и П.Н. Денисова "Принципы создания картотек для лингвистических исследований". Заслуживает внимания высказанная этими авторами мысль о создании "лексикографического общества", целью которого стала бы координация лексикографических работ, экономия усилий, направленных на создание картотек, привлечение общественности к сбору лексико-фразеологического материала.

Заинтересует читателей статья Н.З. Котеловой "Текстовые лексико-фразеологические материалы как лингвистический источник". Автором высказывается плодотворная мысль о необходимости отграничения Главной словарной картотеки языка "от лексикографии вообще", т.е. мысль о создании картотеки, основной целью которой будет не накопление и обработка материала для того или иного конкретного

словаря, а накопление материалов языка, каков он есть, каким "осуществляется" в речи.

Л.В. Калакуцкая в статье «Картотеке – "Российскому слову отличную пользу принесшей"» на конкретных примерах показывает связи большой лексической картотеки русского языка с живым языком и сообщает о недостатках в отражении этой живой речи в словарях.

На необходимость пополнения картотечного фонда русского языка сведениями о сочетаемости слов и именном управлении указывают в своих статьях Е.Н. Тихонова "Сочетаемость слова в словарной картотеке" и О.М. Чупашева "Именное управление в словарной картотеке". Авторы вполне обоснованно отмечают недостаточность и неполноту представления данных аспектов в существующих толковых словарях, подготовленных на базе картотеки.

Можно выделить в отдельную группу статьи, посвященные специфике словарных картотек, которые уже подготовлены, создаются или должны быть созданы для работы над новыми словарями русского языка. В статье Ф.П. Сороколетова «"Словарь современного русского языка" и его эмпирическая база» сообщается о подготовке нового лексикографического труда – "Словаря русского языка второй половины XX века", который должен будет отразить современные лексико-фразеологические, грамматические, акцентологические, орфоэпические и иные нормы. В статье ставится вопрос о расширении круга источников этого словаря в связи с тем, что русский язык наших дней в значительной мере формируется под влиянием языка научно-популярных, научных, публицистических произведений, языка телевидения, прессы. Следует здесь отметить, что в Словарном отделе Института лингвистических исследований РАН под руководством Г.Н. Складневской ведется работа над "Новым академическим словарем" [Складневская 1994].

Большой интерес вызывает статья Л.Л. Кутиной и Ю.С. Сорокина «"Словарь русского языка XIX в." и его источники», в которой авторы размышляют о понятии "современный русский язык", о лексико-фразеологическом фонде современного русского языка, его реализации в лексикографии, а также излагают теоретические основы дифференциального исторического словаря XIX века.

Безусловно важна для лексикографов статья А.Н. Тихонова и Е.Н. Шмелевой "Картотека комплексного учебного словаря русского языка для национальных респуб-

лик". О задачах подготовки "Этимологического словаря русской фразеологии", его источниках идет речь в статье А.К. Бириха, В.М. Мокиенко, Ф.П. Сороколетова, Л.И. Степановой. Авторы убедительно доказывают необходимость создания такого словаря, показывают на примерах словарных статей основные принципы и приемы анализа фразеологизмов. Привлечет внимание читателей статья Е.А. Левашова "Словарь имен собственных. Картотека собственных имен", которую по праву можно считать Проектом "Словаря русских собственных имен". Автор четко и кратко формулирует основные параметры этого словаря.

Целый ряд статей этой группы информирует читателя о более частных словарных работах, описывая их задачи, состав, источники, картотеки: Н.П. Колесников "Словари – лексикографический источник (к проблеме составления словаря слов с удвоенными согласными)", Л.А. Введенская и Б.Н. Проценко «Принципы составления картотеки "Словаря языка произведений М.А. Шолохова"», В.А. Паршина "Указатель слов в поэтических произведениях Н.А. Некрасова" – свидетельство некоторых особенностей словарей картотеки одного автора" и другие. Следует сказать, что Н.П. Колесников в 1995 г. издал свой словарь [Колесников 1995].

Представляет интерес еще одна группа статей, которые посвящены словарным картотекам национальных языков бывших республик Советского Союза. В эту группу входят статьи, отражающие особенности формирования картотек украинского, белорусского, казахского языков: Л.С. Паламарчук "Лексическая картотека украинского языка: этапы формирования, использование и проблемы", Л.И. Журавский "Источники картотеки Исторического словаря белорусского языка", Б.К. Калиев "Картотечный фонд казахского языка и его использование". Основные принципы подбора материала в картотеку раскрываются в статье Л. Ваба "Этимологическая картотека эстонского языка (предпосылки создания и принципы подбора материала)". В статье М. Лепик сообщается о лексическом фонде водского языка, имеющего важное значение для изучения прибалтийско-финских языков, особенно эстонского.

В целом ряде статей рецензируемого сборника ставятся важные проблемы автоматизации лексикографических работ, освещаются методики работы с ЭВМ и компьютерами при сборе и обработке лексико-фразеологического материала. Обзорная статья Р.П. Рогожниковой, А.В. Черны-

шевой и Е.Ж. Кузнецовой "Некоторые вопросы автоматизации лексикографических работ" дает общее представление об основных путях применения ЭВМ в лексикографии и лексикологии. В статье Л.В. Бондарко, Т.В. Алексеевой и др. авторов "Морфемный словарь как база автоматизации лингвистических исследований" сообщается об автоматической картотеке, раскрываются ее возможности, описываются основные виды характеристик при подготовке материала для такой картотеки и сообщается об опыте коллективной работы над морфемным словарем распознавания. А.С. Герд в статье "Картотеки русской диалектной лексики и Машинный фонд русского языка" считает нецелесообразным включение лексики диалектных картотек в Общий машинный фонд и предлагает создать с помощью ЭВМ единую топонимическую картотеку. Таким образом, рецензируемый сборник статей "Национальные лексико-фразеологические фонды" дает представление о состоянии словарных картотек, их пополнении, большой работе с лексико-фразеологическими материалами, хранящимися в картотеках. Статьи сборника показывают большую работу в области лексикографии, которая велась во многих городах бывшего Советского Союза. Известные лексикогра-

фы поделились своими наблюдениями и мыслями о важности картотек при создании разных типов словарей, теоретических работ в области лексикографии и лексикологии. Рецензируемый труд, несомненно, станет своеобразным руководством при создании картотек и словарей. Следует выразить сожаление, что не все желающие смогут приобрести этот сборник, так как он издан тиражом 410 экз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Колесников Н.П.* 1995 – Слова с удвоенными согласными: Словарь – справочник. Ростов-на-Дону, 1995.
- Рогожникова Р.П.* 1971 – Некоторые вопросы организации словарной картотеки // Русский язык. Источники для его изучения. М., 1971.
- Рогожникова Р.П.* 1989 – Практическая лексикография. 100 лет словарной картотеке. М., 1989.
- Рогожникова Р.П.* 1990–1991 – Сводный словарь современной русской лексики: В 2-х томах. Т. 1: А–О. М., 1991; Т. 2: О–Я. М., 1990.
- Сергеев В.Н.* 1987 – Хроникальные заметки // ВЯ. 1987. № 5.
- Скляревская Г.Н.* 1994 – Новый академический словарь. Проспект. СПб, 1994.

В.Д. Бояркина

Л.П. Комягина. Лексический атлас Архангельской области. Архангельск, 1994. 234 с. + 198 карт.

Выход в свет "Лексического атласа Архангельской области" (далее – Атлас) представляет собой отрадное явление в тяжелое для российской науки время.

Публикация этого Атласа является чрезвычайно важным событием и в собственно лингвистическом плане, поскольку архангельские говоры принадлежат, как известно, к одной из архаических зон Славии. Здесь до сих пор можно встретить эксклюзивные для русских говоров лексемы, которые находят неожиданное продолжение в других славянских диалектах (об этом красноречиво свидетельствуют материалы Общеславянского лингвистического атласа: см., например, карты первого лексико-словообразовательного тома "Животный мир" № 11 'заяц': Zaj-ĕ-s-ь; № 15 'летучая мышь': NE/T-o-PY-rj-ь; № 20 'дятел': Žyl-n-a; № 23 'куропатка': kur-o-ryt-ь; № 26 'сеница' Sĕn-ъk-a и др. подробнее см. [Вендина 1995]).

Чрезвычайно важным обстоятельством является и тот факт, что Атлас существенно

восполняет материалы русского национального атласа, причем как территориально (в ДАРЯ, как известно, не вошла большая часть архангельских говоров), так и в содержательном отношении (поскольку предметом картографирования в ДАРЯ были прежде всего фонетические и грамматические диалектные различия).

В этом смысле публикация Атласа расширила наши представления о диалектных границах русских говоров. Материалы Атласа позволили впервые наметить диалектные границы русских говоров на этой территории и соотнести выделенные диалектные различия с фактами диалектной противопоставленности других русских говоров.

Материалы Атласа представляют особую ценность еще и потому, что они дают возможность пространственной интерпретации явлений субстрата (поскольку в архангельских говорах до сих пор сохраняются следы финского населения, вытесненного и

ассимилированного русскими поселенцами) и адстрата (следы длительных контактов на западе и востоке с нерусским населением). На картах атласа отчетливо выделяются и ареалы различных колонизационных потоков русских переселенцев, осваивавших Север. Особенно хорошо здесь сохранились следы новгородской культуры (иногда даже значительно лучше, чем на исконных землях).

Базой для создания Атласа послужил прежде всего материал многолетних полевых экспедиций автора, дополненный и обогащенный материалом картотек Архангельского областного словаря кафедры русского языка МГУ и архангельского педагогического университета. В этом отношении Атлас является прекрасной иллюстрацией этих материалов, публикация которых, к сожалению, затянулась на неопределенно долгое время.

Лингвогеографическое изучение автором лексики архангельских говоров имеет давнюю историю. Впервые оно было начато более тридцати лет назад, когда Л.П. Комягина обследовала первые 15 опорных пунктов Архангельской области и выявила диалектные различия. В дальнейшем личные полевые исследования автор сочетал с широко распространенным в диалектологии и этнографии стационарным методом (когда практикуется "вживание" собирателя в быт исследуемого говора) и методом анкетирования. Использование анкетного метода позволило Л.П. Комягиной за два года заполнить вопросник Атласа (который содержал более пятисот вопросов) на всей территории Архангельской области. Таким образом был получен материал, относящийся к одному синхронному срезу и отвечающий требованиям сопоставимости.

Работая над вопросником атласа и отбором материала, Автор поставил перед собой задачу "проследить на большом лексическом материале, удастся ли установить в области лексических явлений, относящихся к разным тематическим группам, постоянные, повторяющиеся границы распространения большого числа слов, а потом сопоставить, как соотносятся наши выводы о диалектном членении региона на основе лексического материала с данными смежных наук (антропологии, фольклора и т.д.)" [Комягина 1992: 32]. И надо сказать, что с этой задачей Л.П. Комягина справилась блестяще.

В решении этой задачи немаловажную роль сыграл удачный выбор сетки Атласа, насчитывающей 185 пунктов: в некоторых

случаях расстояние между пунктами не превышает 5 км, иногда же одному пункту на карте соответствует несколько деревень, находящихся на расстоянии 1–2 км, что повышает не только плотность обследования территории, но и степень достоверности материала (см., например, пункты 9а, 9б, 9в, 9г или 107а, 107б, 107в, 107г). Особенности расселения русского населения на территории Архангельской области (которое не образует сплошного массива, поскольку в северной части области население сосредоточено главным образом вдоль больших рек и по побережью Белого моря, тогда как в междуречьях и тундре сохранились огромные незаселенные пространства) определили выбор пунктов, предназначенных для картографирования. "Для обследования выбирались деревни с коренным русским населением, расположенные в стороне от промышленных предприятий, где в меньшей степени сказалось влияние литературного языка и других диалектов и где сохранился коллектив, для которого средством общения является родной говор" (с. 3). Территориальная привязанность населенных пунктов, входящих в сетку Атласа, к водным артериям дала возможность наглядно проиллюстрировать известное положение диалектологии о роли географического ландшафта, и в частности, рек в процессе формирования диалектных групп и распространения языковых явлений.

Атлас содержит 198 карт, большую часть которых составляют лексические и семантические. Две карты обозначены автором как фонетические (карта № 40 'произношение слова *дрова*' и № 168 'произношение слова *сковорода*'). Число их, однако, можно увеличить за счет карт №№ 107, 136, 163, поскольку на них эксплицируются различия, связанные, по сути дела, с фонетическими вариантами картографируемых лексем (ср. *сери* ~ *цери* ~ *чери* карта № 107; *улиця* ~ *улиць* карта № 105; *зядворки* ~ *зядвѳрки* карта № 136; *кряшка* ~ *кряпка* карта № 163); две карты – собственно словообразовательные (карта № 4, где эксплицируются различия в территориальной дистрибуции словообразовательных гнезд лексем *коч* и *клоч* в значении 'кочка', а также карта № 24 'зимняя дорога', репрезентирующая ареальное противопоставление суффиксов *-ник* и *-арь* в названиях зимней дороги: *зимник* ~ *зимарь*); несколько карт могли бы быть лексико-словообразовательными, но, к сожалению, остались только лексическими, поскольку словообразовательные различия не получили на них последовательного картографического выражения (см. карты

№ 39 'козлы, подставка для пилки дров': одним картографическим знаком передаются такие названия с корнем *кобыл-*, как *кобылка*, *кобылина*, *кобылица*: № 46 'лопатка с зубьями для сбора ягод': ср. названия с корнем *граб-*: *грабилка*, *грабуля*, *грабулька* или *бир-*: *набируха*, *набирушка*, которые картографически не дифференцируются и др.); около 10 карт – лексико-этнографические, предметом которых являются либо изопрагмы (см., например, карту № 56, где изопрагмой обозначена юго-западная граница сплошного распространения косы с короткой изогнутой ручкой), либо реалемы и репрезентирующие их лексемы (см. карту № 66, где с помощью знаковых средств передано распространение различных способов переноски сена на лугу с помощью двух жердей и названия самих жердей); завершают Атлас обобщающие карты, синтезирующие материал всего тома и репрезентирующие диалектные ареалы (см., например, карту № 192 'онежский ареал' или № 194 'северо-восточный ареал' с вычленением ядра и периферии) или пучки изоглосс (см., например, карты № 197 и № 198, посвященные Двинским и Важским изоглоссам).

В тематическом отношении карты Атласа распределяются на несколько неравноценных групп. Поскольку большинство карт имеет такую формулировку, как "распространение слова..." (см. карты №№ 1, 2, 4, 5, 9, 14, 16–20, 22, 23 и др.) или "распространение и значение слова" (см. карты №№ 3, 6, 7, 8, 10–13, 15, 21, 33, 34 и др.), то семантическая ориентированность той или иной карты часто четко не обозначена, в связи с чем невозможно однозначно решить вопрос о ее тематической принадлежности (см. например, карту № 21 'распространение и значение слова *тайбола*': картографируются значения 'густой дремучий лес' (растительный мир?), 'трясина', 'место покоса' (*nomina loci*?) или карту № 25 'распространение слова *пашина*': 'настил для проезда по болоту' (предметы, связанные с хозяйственной деятельностью человека?) и 'низкорослый лес' (растительный мир?), карту № 51 'распространение и значение слова *шалга*': 'лес' (растительный мир?), 'колодка грабель с зубьями' (*nomina instrumenti*?) и т.д.). Проведенный нами анализ показал, однако, что большинство карт (~100) посвящены названиям предметов, так или иначе связанных с крестьянским бытом, хозяйственной деятельностью человека: среди них особенно много *nomina instrumenti* (ср. карту № 113 'распространение и название цепа',

№ 115 'орудие для разминания стеблей льна', № 120 'ручное орудие окучивания' и др.), названий корзин (ср. карту № 150 'сплетенная из дранки большая корзина для переноски травы, сена', № 151 'заплетенная корзина из бересты с крышкой', № 153 'распространение слова *нагрузка* "ручная корзина"', № 158 'распространение слова *крошни* "заплетенная корзина"' и др.), различного рода сосудов (ср. карту № 149 'берестяной сосуд цилиндрической формы', № 154 'распространение слова *бурак* "берестяной сосуд цилиндрической формы"', № 163 'глиняный широкий сосуд для хранения молока' и др.), а также снопов, стогов, скошенной травы, сена (ср. карту № 109 'верхний сноп в малой кладке', № 110 'большая кладка снопов', № 64 'сено, испортившееся на верху стога', № 65 'распространение слова *одонок*, *оденок* "нижняя часть стога", "испортившееся сено в нижней части стога"' и др.).

Значительно скромнее представлена группа имен, связанных с самим человеком (см. карты № 93 'няня', № 99 'распространение слов *тата*, *тата*, *тятя* 'отец', № 100 'работать', № 94 'играть в прятки', № 96 'играть в жмурки').

Небольшой блок карт посвящен названиям пищи и ее приготовлению (см. карты № 178 'кислое тесто', № 179 'распространение слова *волоза* 'сдоба', 'съестные припасы', 'жидкая пища', № 176 'картофельные очистки'), а также названиям одежды человека (см. карты № 181 'распространение слова *оболочка* "верхняя одежда"', № 183 'часть брюк, надеваемая на одну ногу', № 189 'вязанные варежки', № 191 'верхние рукавицы').

В названиях большинства остальных карт (~40) имплицитно или эксплицитно выражена сема 'место', причем это могут быть как названия ландшафта (ср., например, карту № 1 'распространение слова *угор*', где картографируются значения 'холм', 'гора', 'склон горы', 'высокий берег реки', 'склон по берегу реки' или карту № 5 'распространение слова *веретья* в значениях "возвышенное сухое место" и "удлиненная возвышенность"), так и названия мест, обработанных человеком (ср. карту № 37 'распространение и значение слова *репище* "участок, засеянный репой", "участок, очищенный в лесу под пашню", "огород" или карту № 104 'распространение слова *обод* "огороженное поле", "огороженный луг", № 119 'огород' и др.).

Остальные тематические группы лексики

представлены единичными картами: *растительный мир* репрезентируют в основном карты, посвященные общим названиям леса (см., например, карту № 9 'распространение слова *рем* "густой дремучий лес", "лес на болоте" или карту № 23 'распространение слова *согра* "перелесок", "заболоченный лес"; № 26 'распространение слова *кореньга* "нестроевой лес" и др.) и лишь одна карта – отдельно виду деревьев (см. карту № 29 'распространение слова *негла* "лиственница"); названия ягод, цветов, трав в Атласе отсутствуют, названия грибов представлены лишь двумя картами – № 44 'значение слова *волнуха*' и № 45 'распространение и значение слова *волденица*'; *животный мир* репрезентируют только две карты – № 70 'стрекоза' и № 71 'паук'; немногим лучше представлена и *метеорологическая лексика* (см., например, карты № 82 'хорошая погода летом', № 83 'распространение слова *морок*' "грозовая туча", "мелкий дождь", "плохая погода", № 84 'иней', № 86 'распространение слова *торок, торох*' "сильный ветер, ураган", № 89 'распространение слов *север, северик*' "северный ветер").

Чувствуется, что при отборе лексики для картографирования автор руководствовался не системным, а дифференцированным подходом (что, кстати, находит отражение и в картографическом решении некоторых карт, см., например, карту № 118 'кочан капуста', где картографируются слова *кочень, клуб, клубок, вилок* и не картографируется слово *кочан* или карту № 126 'охотиться в лесу': картографируются слова *лесовать, полесовать, промышлять* и не картографируется слово *охотиться*, карту № 161 'скалка': картографируются слова *скало, скально, пиржник, валец, сочельник*, а слово *скалка* не картографируется и т.д.), стремлением представить в Атласе только регионализмы, причем нередко лишь эксклюзивные.

Такой подход к картографируемому материалу во многом обедняет Атлас, причем как в содержательном отношении, так и в лингвоареальном: общерусские изоглоссы часто искусственно обрываются, что не позволяет рассмотреть архангельские говоры в общерусском и шире – в общеславянском контексте.

Неудачным представляется и картографическое решение ряда карт. Карты, входящие в Атлас, сам автор определяет как "карты символов", "карты изоглосс", "карты площадей", "комбинированные карты", "сводные карты изоглосс" и "сводные карты

площадей". Карты символов показывают распространение того или иного явления при помощи пунсонов, условных значков у каждого населенного пункта". На карте изоглосс "обозначены границы явлений", на картах площадей – "территория распространения какого-либо явления", которая, как правило, закрашивается или заштриховывается, на комбинированных картах "заштрихованная площадь показывает ареал интенсивного распространения языковых черт, а за пограничной линией такие же факты, не имеющие сплошного распространения, обозначены при помощи пунсонов", сводные карты изоглосс "позволяют сравнивать приблизительные радиусы проявления диалектных черт, их скрещение и соотношение", на сводных картах площадей показаны "ареалы, определяемые по пучкам изоглосс разного радиуса" (с. 4–5). "Основное противопоставление (т.е. единственное или главное для данной карты) обозначается цветом, дополнительные противопоставления (чаще всего это название одного корня, но с различными словообразовательными элементами) передаются разными фигурами" (с. 5).

Несмотря на такую, четко выраженную, позицию автора, картографическое решение ряда карт вызывает возражения.

Нам уже приходилось писать о системном подходе к выбору картографических средств и в связи с работой над "Лексическим атласом русских народных говоров" и в рецензии на "Лексический атлас Московской области" А.Ф. Войтенко (см. [Вендина 1992; 1993]). Такой подход к картографическому решению карт позволяет не только представить структурную интерпретацию материала, но и отразить на карте многоплановые противопоставления (второй, третьей и последующей ступени), а также их иерархию, поскольку сама система знаков на карте определенным образом иерархизирована (о способах установления иерархии диалектных противопоставлений см. [Вендина 1994]). Одним из требований при выработке знаков, репрезентирующих выявленные диалектные различия, является соблюдение типологической соотнесенности графических средств как в рамках одной, так и на различных картах, поскольку выбор обозначения первого члена ареальной оппозиции предопределяет все последующее решение карты. Только в этом случае технические средства, используемые на карте, будут подчинены раскрытию ее лингвистического содержания.

К сожалению, этот принцип автором

часто не выдерживается (возможно, это связано с тем, что он ограничил арсенал используемых картографических средств: на большинстве карт Атласа основным картографическим знаком является круг). Так, например, на карте № 50 'распространение слова *ластега*' одним картографическим средством (●) переданы два значения слова: 'планка в ткацком станке' и 'сосновая дранка для плетения корзин'; такая же ситуация на карте № 1 'распространение слова *угор*', которое бытует в архангельских говорах в следующих значениях: 'холм', 'склон горы', 'высокий берег реки', 'склон по берегу реки', причем если на карте № 50 в комментарии расшифровывается территориальная дистрибуция значений картографируемой лексемы, то в комментарии к этой карте об этом ничего не сообщается. Неясным остается и картографическое решение карты № 6 'распространение и значение слова *корга*': одним картографическим знаком (кругом с разными заливками) передаются следующие значения слова: 'отмель', 'каменистый остров', 'овраг', тогда как производное *коржича* в значении 'отмель' передается уже треугольником. Думается, что все эти погрешности во многом объясняются неудачными формулировками темы карты: в заглавие одних карт выносятся название 'распространение и значение слова...', в названии других – только 'распространение слова...' или только 'значение слова...'. В связи с этим читателю остается неясным, почему в одних случаях значение слова элиминируется автором при картографировании, а в других получает картографическое выражение (ср., например, карту № 9 'распространение слова *рем*', где разными картографическими средствами переданы значения 'густой дремучий лес' и 'лес на болоте' и карту № 83 'распространение слов *морок*, *морочить*', где одним картографическим знаком переданы такие разные значения, как 'грозовая туча', 'мелкий дождь', 'плохая погода').

Неудовлетворительным является и решение ряда семантических карт. Составление семантических карт является, как известно, достаточно сложным процессом. К числу наиболее распространенных способов относится способ маркирования отдельным символом каждого значения (или лексико-семантического варианта) слова (см. [Вешторт 1971; Клепикова 1968; Коннова 1974]). Этот способ нередко ведет к перегрузке карты, поскольку у одного населенного пункта может стоять от одного до пяти

картографических знаков (см., например, карту № 7 'распространение и значение слова *рада*, *райда*, *сурадок*' или карту № 51 'распространение и значение слова *шалга*', где у большинства населенных пунктов стоит два, а в некоторых три знака). Поэтому в картографической практике нередко используется иной способ, когда ставится один знак, имеющий в разных своих частях, каждая из которых соответствует определенному лексическому значению слова, разные заливки. Чтение знака по часовой стрелке позволяет не только выявить семантический объем картографируемой лексемы, но и определить иерархию ее значений в каждом населенном пункте (общее значение, выступающее на значительной части территории, нередко передается штриховкой).

Неудачным является и решение ряда лексических и лексико-словообразовательных карт: например, на карте № 38 'кол для корчевания пней' одним картографическим знаком (○), имеющим лишь разные заливки, переданы разнокорневые лексемы *вага* (○), *стяг* (●), *анишуг* (⊙) (то же на картах №№ 68, 80) – способ, использующийся обычно в системной картографии для передачи структурно связанных лексем; или на карте № 39 'козлы' используется не только один и тот же картографический знак (круг), но и одинаковая его заливка для передачи разноструктурных элементов, ср. *кобылка*, *кобылина*, *кобылица* (⊙). Список карт с подобной ситуацией можно продолжить (см., например, карты №№ 46, 52, 54 и др.). И наоборот, однокоренные элементы, связанные отношениями производности, нередко передаются разными знаками: см., например, карту № 53 'распространение слов *волгоса* (●), *волгосина* (▲)' – на отношения производности этих лексем указывает не только словообразовательная связь, но и ареальная, поскольку лексема *волгосина* фиксируется лишь в тех населенных пунктах, где отмечена *волгоса*. Сходная ситуация наблюдается на картах №№ 55, 70, 71, 81, 110, 119, 120, 128 и др.

Чтение карт серьезно усложняет и отсутствие в легенде указаний на условные обозначения (а также встречающиеся иногда пропуски знаков в легенде: см., например, карту № 149 'берестяной сосуд цилиндрической формы', в легенде к которой не расшифровывается знак Δ). Они, к сожалению, даются отдельно от карт, в так называемых комментариях к картам, которые, по сути дела, сводятся к дублированию

легенды. Между тем комментарии к карте представляют собой "особое произведение", цель которого дать читателю полное представление о картографируемых лексемах (их значении, фонетических вариантах, происхождении, характере распространения, причем не только в архангельских, но и других русских говорах с тем, чтобы определить хотя бы общее направление изоглосс и т.д.).

Своеобразие архангельских говоров, как указывает и сам автор, заключается в их неоднородности, в наличии следов субстрата и адстрата. В этой связи представляется, что Атлас бы только выиграл, если бы Л.П. Комягина представила на одной сводной карте или на нескольких обобщающих центральные и периферийные ареалы финского субстрата, а в комментариях дала бы характеристику картографируемым лексемам, выделив явления субстрата или адстрата.

Несмотря на эти неудачи, автор, несомненно, справился с поставленной задачей. Материалы Атласа убедительно свидетельствуют о лексической неоднородности архангельских говоров, существовании их диалектного членения. На сводных картах атласа, обобщающих материал всех карт, входящих в том, отчетливо выделяются **онежские** говоры (см., например, карты № 74 'мелкий лед в воде при ледоставе', № 82 'хорошая погода летом', № 115 'орудие для разминания льна' и др.), **юго-западные** (см., например, карты № 56 'юго-западная граница распространения косы с короткой изогнутой ручкой', № 137 'бревенчатый настил для въезда на второй этаж хозяйственной постройки', № 169 'приспособление, употребляемое для передвижения больших чугунов в русской печи', № 174 'распространение слов *наблюдник* и *заблюдник*' и др.), **пинежские** и шире **северо-восточные** (см., например, карты № 19 'распространение слова *няша*', № 52 'колодка граблей с зубьями', № 131 'сиденье прялки', № 143 'сверхъестественное существо, которое, по народным поверьям, обитает в бане' и др.), **северо-западные** (см., например, карты № 54 'небольшой участок на краю поля или луга', № 57 'деревянная часть косы', № 97 'качели', № 117 'зеленые листья лука' и др.), **поморские** (см., например, карты № 81 'черпак в лодке', № 84 'иней', № 93 'няня', № 98 'качаться на качелях', и др.), **двинские** (см., например, карты № 39 'козлы, подставка для шилки дров', № 46 'лопатка для сбора ягод', № 71 'паук', № 118 'кочан капусти' и др.),

важские (см., например, карты № 25 'распространение слов *пашина*, *пашинник*', № 116 'брюква', № 149 'берестяной сосуд цилиндрической формы', № 161 'скалка' и др.). Такое лингвоареальное распределение архангельских говоров вносит существенные коррективы в существовавшее ранее представление об их диалектной дифференциации (см., например, "Опыт диалектологической карты русского языка в Европе" Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколова, Д.Н. Ушакова, М., 1915, на которой совпадение наблюдается лишь в юго-западных и поморских говорах). Причем, наиболее четко выделяется граница, проходящая по водоразделу Онеги и Северной Двины. Здесь изоглоссы образуют самый густой и плотный пучок. Материалы Атласа, таким образом, свидетельствуют о существовании в пределах региона двух основных зон – западной (бассейн Онеги и поморье) и восточной (бассейн верховьев Двины с притоками). Эти данные определенным образом коррелируют и с материалами этнографов (см. [Витов 1964]), которые западный ареал традиционно связывают с древненовгородской колонизацией XII–XVII вв., а восточный – с ростово-суздальской.

"Лексический атлас архангельской области" является, несомненно, крупным успехом русской школы лингвистической географии. Богатейшие лексические данные Атласа, существенно дополняющие материалы ДАРЯ, позволяют читателю впервые составить общее представление об ареалогической картине диалектного ландшафта Архангельской области. Думается, что дальнейшее изучение архангельских говоров (их лексического, грамматического и фонетического своеобразия) приведет к публикации новых фундаментальных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вендина Т.И. 1992 – К проблеме ареального изображения в Лексическом атласе русских народных говоров // Проблемы русской лингвистической географии. СПб., 1992.
- Вендина Т.И. 1993 – А.Ф. Войтенко "Лексический атлас Московской области". М., 1991 // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 1988–1990. М., 1993.
- Вендина Т.И. 1994 – К систематизации картографических знаков в Лексическом атласе русских народных говоров // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования 1992. СПб., 1994.
- Вендина Т.И. 1995 – Русские говоры в общесла-

- вянском диалектном контексте // Русские говоры в восточнославянском континууме. М., 1995.
- Вейторг Г.Ф.* 1971 – Проблема семантического микрополя и картографирование лексики // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1971.
- Витов М.В.* 1964 – Этнические компоненты русского населения Севера (в связи с историей колонизации). М., 1964.
- Клепикова Г.П.* 1968 – Из опыта картографирования славянской лексики (в связи с проблемой семантического микрополя) // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1968.
- Комягина Л.П.* 1992 – Об изучении лексики Архангельских говоров методами лингвистической географии // Проблемы русской лингвистической географии. СПб., 1992.
- Коннова В.Ф.* 1974 – Некоторые замечания об ответах на вопросы семантической части Вопросника ОЛА и возможности картографирования лексико-семантических различий в Общеславянском лингвистическом атласе // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1974.

Т.И. Вендина

C O N T E N T S

Yu.S. S t e p a n o v (Moscow). Non-paradigmatic accent shifts in Indo-European (I. Around the laws of Wackernagel and Leskien); A.E. K i b r i k (Moscow). Hierarchies, roles, zeroes, markedness and "anomalous" package of grammatical semantics; V.M. Ž i v o v (Moscow). Some remarks on the historical syntax of the Russian language (On the book: G. Hüttl-Folter. Syntaktische Studien zur neueren Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen. Wien; Köln; Weimar, 1996); L. J a s a i (Budapest). On the principles of determining aspect pairs in Russian; E.Yu. F i l i m o n o v a (Moscow). The hierarchical ordering of grammatical persons. The second person. Hypothesis of linguistic correlation; E. P i i r a i n e n (Münster). "The field of metaphorical representation"—metaphor—metaphorical model (founded on phraseological material of the Münsterland German dialect); R.K. P o t a p o v a, S.V. P r o k o p e n k o (Moscow). The study of semantic-syntactical rhythmization of texts taken from the belles-lettres; S.G. V o r k a č e v (Krasnodar). Indifference as an ethno-semantic feature of personality: an essay in comparative paremiology; **Reviews:** E.V. Š e l e s t j u k (Moscow). On the linguistic study of the symbol (a survey of literature); V.G. G a k (Moscow). T.A. R e p i n a. Comparative typology of the Romance languages (French, Italian, Spanish, Portuguese, Rumanian); A.N. T i x o n o v (Moscow). Contactological encyclopaedic dictionary. I. The Northern region. The languages of peoples of the North, Siberia and the Far East in their contacts with the Russian language; V.D. B o j a r k i n a (St.-Petersburg). The national lexico-phraseological card-indices; T.I. V e n d i n a (Moscow). L.P. K o m i a g i n a. Lexical atlas of the Archangelsk region. .

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.04.97. Подписано к печати 06.06.97. Формат бумаги 70 × 100 ¹/₁₆

Офсетная печать. Усл.печ.л. 13,0. Усл.кр.-отт. 19,6. Уч.-изд.л. 15,7. Бум.л. 5,0

Тираж 1479 экз. Зак. 1826.

А д р е с р е д а к ц и и : 121019 Москва, Г-19, Волхонка 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-74-42

Московская типография № 2 РАН, 121099 Москва, Г-99, Шубинский пер., 6